ФРАНЦ КАФКА

ЗАМОК



ЛЕНИЗДАТ

Замок

Франц Кафка

Аннотация
Франц Кафка. ЗАМОК
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ГЛАВА ВТОРАЯ
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ГЛАВА ПЯТАЯ
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Аннотация

Франц Кафка (1883–1924), «некоронованный король немецкой прозы» (по выражению Германа Гессе), завещал уничтожить все им написанное и запретил переиздавать то немногое, что было опубликовано при жизни. Однако вопреки воле автора его произведениям суждено было увидеть свет и занять особое место в истории мировой литературы. «Замок» — самый известный роман писателя. При абсолютной простоте сюжетной канвы и жизненных реалий он считается самым загадочным сочинением Кафки и требует неспешного чтения и размышления, а отсутствие концовки усиливает чувство абсурдности и обреченности этого причудливого повествования. Альбер Камю писал, что «Замок» можно назвать теологией в действии и что это «описание странствий души человека в поисках спасения, который пытается выведать у предметов мира их верховную тайну, а в женщинах найти печать Бога, который сокрыт в них».

Франц Кафка
ЗАМОК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Был уже поздний вечер, когда К. добрался до места. Деревня утопала в глубоком снегу. Гор***ы***, на которой стоял Замок, словно и не бывало, туман и темнота скрывали ее, и нигде ни пятнышка света, ни малейшего намека на присутствие большого замка. Долго стоял К. на деревянном мосту, через который шла дорога от тракта к деревне, и, подняв голову, вглядывался в обманчивую пустоту.

Потом пошел отыскивать ночлег. В деревенском трактире еще не спали, и хотя свободных комнат у хозяина не оказалось, но появление позднего гостя так его поразило и привело в такое замешательство, что он предложил К. лечь в общей зале на мешке соломы. К. не имел ничего против. Несколько крестьян еще сидели за пивом, но ему не хотелось ни с кем разговаривать, он сам принес с чердака мешок соломы и улегся около печки. В зале было тепло, крестьяне сидели молча, некоторое время он еще следил за ними сонными глазами, потом заснул.

Однако вскоре он уже был разбужен. Над ним стоял какой-то молодой, по-городскому одетый человек с актерским лицом, узкими глазами и

густыми бровями; рядом стоял хозяин. Крестьяне тоже еще были здесь, некоторые из них, чтобы лучше видеть и слышать, повернули свои стулья. Молодой человек очень вежливо извинился за то, что разбудил К., представился сыном кастеляна Замка и затем сказал:

— Эта деревня является собственностью Замка; тот, кто в ней живет или ночует, — в известном смысле живет или ночует в Замке. Никто не имеет на это права без соответствующего графского разрешения. Вы, однако, такового разрешения не имеете или, по крайней мере, вы его не предъявили.

К. приподнялся на мешке, пригладил растрепавшиеся волосы, посмотрел снизу на стоявших и сказал:

— В какую это деревню я попал? Здесь что, какой-то замок?

— Разумеется, — медленно произнес молодой человек, а кое-кто из зрителей удивленно покачал головой. — Замок графа Вествеста.

— И для того, чтобы переночевать, нужно иметь разрешение? — спросил К., словно не был уверен, не приснились ли ему предыдущие сообщения, и хотел удостовериться.

— Разрешение нужно иметь, — был ответ, и

когда вслед за тем молодой человек, обведя рукой присутствующих, обратился к ним с вопросом: — Или, может быть, разрешение иметь не нужно? — это прозвучало едкой насмешкой.

— Ну, значит, придется получить разрешение, — сказал К. зевая и скинул с себя одеяло, как будто собирался встать.

— Вот как, от кого же? — спросил молодой человек.

— От графа, — сказал К., — ничего другого не остается.

— Сейчас, среди ночи, получать разрешение от господина графа? — воскликнул молодой человек и отступил на шаг назад.

— А что, это невозможно? — равнодушно спросил К. — Зачем же вы тогда меня разбудили?

Но тут уже молодой человек вышел из себя.

— Вы ведете себя как проходимец! — закричал он. — Я требую уважения к графской власти! Я разбудил вас для того, чтобы сообщить вам, что вы должны немедленно покинуть графские владения.

— Эта комедия мне надоела, — произнес К. подчеркнуто тихо, лег и натянул на себя одеяло. — Вы, молодой человек, многовато себе позволяете, и завтра мы еще вернемся к вашему

поведению. Хозяин и те господа будут свидетелями — если мне вообще понадобятся свидетели. А пока да будет вам известно, что я — землемер, приглашенный сюда графом. Мои помощники с аппаратурой отстали и приедут завтра на телеге. Я не хотел отказывать себе в удовольствии пройтись по снежку, но, к сожалению, несколько раз сбивался с дороги и поэтому прибыл так поздно. А что сейчас уже слишком поздно докладывать о себе в Замке, я знал сам и без ваших поучений. Поэтому-то, кстати, я и удовольствовался этой постелью для своего ночного отдыха, которому вы так, мягко говоря, невежливо помешали. На этом объяснения мои закончены. Спокойной ночи, господа.

И К. отвернулся к печке.

«Землемер?» — услышал он за спиной недоуменный вопрос, затем наступила полная тишина. Но молодой человек быстро опомнился и голосом, достаточно приглушенным, чтобы могло считаться, что он уважает покой К., и достаточно громким, чтобы К. мог услышать, сказал хозяину: «Я запрошу по телефону». Как, в этом деревенском трактире есть даже телефон? Отменно устроились. Как частность, это было для К. поразительно, но в общем он чего-то такого и

ожидал. Оказалось, что телефон висит почти над его головой: ложась спать, он от усталости его не заметил. Но теперь — если молодому человеку звонить, то он при всем желании не сможет сделать это, не разбудив К.; вопрос заключался только в том, должен ли К. позволить ему звонить. К. решил позволить. Но тогда уже и не имело смысла разыгрывать из себя спящего, и К., повернувшись, снова лег на спину. Он заметил, что крестьяне, пугливо сбившись в кучу, тихо переговариваются: приезд землемера — дело нешуточное. Отворилась дверь кухни, и в проеме, заполнив его, возникла мощная фигура хозяйки; хозяин, ступая на цыпочках, подошел к ней рассказать, что тут происходит. И вот начался телефонный разговор. Кастелян спал, но младший кастелян — один из младших кастелянов, некий господин Фриц — был на месте. Молодой человек, назвавшийся Шварцером, рассказал, как он нашел К.: мужчина лет тридцати с лишним, весьма оборванный с виду, преспокойно спит на мешке соломы, вместо подушки — тощий заплечный мешок, а рядом под рукой — суковатая палка. Ну, естественно, он показался ему подозрительным, и поскольку хозяин явно пренебрег своими обязанностями, то он, Шварцер, посчитал выяснение

этого дела своей обязанностью. К тому, что его разбудили — равно как и к допросу, и к продиктованной служебным долгом угрозе высылки из графства, — К. отнесся с крайним раздражением, быть может, как это выяснилось позже, — по праву, ибо он утверждает, что является землемером, которого выписал господин граф. Само собой разумеется, что они даже и просто формально обязаны проверить это утверждение, поэтому Шварцер просит господина Фрица справиться в центральной канцелярии, действительно ли ожидается такого рода землемер, и по получении ответа незамедлительно ему телефонировать.

После этого наступила тишина: Фриц там наводил справки, а здесь ждали ответа. К. продолжал все так же лежать, даже не повернулся, казалось, что все происходящее его совершенно не интересует, он безучастно смотрел в потолок. Рассказ Шварцера, в котором смешались злость и осторожность, дал ему некоторое представление о той в определенной мере дипломатической подготовке, которую в Замке имели даже такие маленькие люди, как Шварцер. И в усердии им там не откажешь, в центральной канцелярии — ночное дежурство. И справки выдают, очевидно, очень быстро: Фриц уже звонил. Правда, сообщение его,

по-видимому, было очень коротким, потому что Шварцер тут же яростно швырнул трубку.

— Что я говорил! — закричал он. — Никакого намека на землемера, обычный проходимец, шарлатан, а может быть, и кое-что похуже.

На какое-то мгновение К. показалось, что все они — Шварцер, крестьяне, хозяин с хозяйкой — все сейчас бросятся на него, и, чтобы избежать хотя бы первой атаки, он с головой спрятался под одеяло. Но тут телефон зазвонил снова, и как показалось К., особенно громко. Он потихоньку высунул голову наружу. Хотя было маловероятно, что это опять касается К., все застыли, а Шварцер вернулся к аппарату. На этот раз он слушал дольше и потом тихо сказал: «Значит, ошибка? Это ставит меня в крайне неприятное положение. Сам начальник бюро звонил? Весьма странно, весьма. Как я объясню это господину землемеру?»

К. насторожился. Значит, Замок пожаловал его в землемеры. С одной стороны, это было ему невыгодно, ибо означало, что в Замке о нем все, что нужно, знали, сопоставили силы и, усмехаясь, вступили в борьбу. Но, с другой стороны, это было и выгодно, так как, по его мнению, доказывало, что его недооценивают, и, значит, он будет иметь

больше свободы, чем поначалу мог надеяться. А если они думали, что этим уверенно-пренебрежительным признанием его землемерства будут держать его в постоянном страхе, то они ошиблись: его слегка перетряхнуло, но не больше.

От робко приблизившегося Шварцера К. отмахнулся, переселяться в комнату хозяина, к чему его настойчиво склоняли, он отказался, принял только стаканчик, предложенный хозяином «на сон грядущий», а от хозяйки — умывальный таз, мыло и полотенце, — и ему даже не пришлось требовать, чтобы очистили залу, потому что все затеснились к выходу, отворачивая на всякий случай лица, чтобы завтра он не смог их опознать. Лампу потушили, и К. мог наконец отдохнуть. Он спал глубоким сном до самого утра — разве что временами его слегка тревожили шнырявшие вокруг крысы.

После завтрака, за который — как и за весь постой К. — заплатить, по словам хозяина, должен был Замок, он хотел сразу же идти в деревню. Но хозяин, с которым он, помня его вчерашнее поведение, разговаривал только о самом необходимом, все крутился около него с немой просьбой в глазах, и К. сжалился над ним и позволил ему подсесть на минутку к столу.

— Я еще не знаю графа, — сказал К., — он ведь за хорошую работу должен хорошо заплатить, верно? Когда уезжаешь так далеко от жены и детей, как я, так не с пустыми же руками возвращаться.

— Насчет этого господин может не беспокоиться, на плохую оплату жалоб никогда не слыхали.

— Ну, — сказал К., — я-то не из робких, я и графу могу сказать все, что думаю, но если можно мирно с господами разобраться — это, конечно, куда лучше.

Хозяин сидел напротив К. на краешке подоконника — удобнее сесть он не решался — и все смотрел на К. большими карими испуганными глазами. Только что он сам навязывался К., а теперь, казалось, с радостью убежал бы прочь. Боится, что его станут расспрашивать о графе? Боится, что «господин» — он относил К. к господам — неблагонадежен? Нужно было его отвлечь. К. взглянул на часы и сказал:

— Ну, скоро прибудут мои помощники — сможешь разместить их здесь?

— Конечно, господин, — ответил тот, — но разве они не будут жить с тобой в Замке?

Так легко и охотно отказываться от постояльцев, в особенности от К., которого он безоговорочно определял в Замок?

— Это еще не решено, — сказал К., — сначала я должен узнать, что за работу мне там приготовили. Если мне, к примеру, придется работать здесь, внизу, то разумнее будет здесь же, внизу, и жить. И потом, я боюсь, что эта жизнь там у них, наверху, в Замке, мне не подойдет. Я хочу всегда быть свободным.

— Ты не знаешь Замка, — тихо проговорил хозяин.

— Само собой, — сказал К., — не следует судить раньше времени. Пока что я действительно знаю о Замке только то, что они умеют подыскать настоящего землемера. Но, быть может, у них найдутся и другие достоинства.

И он поднялся, чтобы освободить от своего присутствия беспокойно кусавшего губы хозяина. Завоевать доверие этого человека было непростым делом.

К. уже уходил, когда его внимание привлек висевший на стене темный портрет в темной раме. Он заметил его, еще лежа на мешке, но тогда издали не различил деталей и решил, что сам портрет вынут из рамы и видна только черная задняя доска. Теперь оказалось, что это все-таки был портрет, — поясной портрет мужчины примерно лет пятидесяти. Голова его так низко

склонялась на грудь, что уже почти не видно было глаз; казалось, что решающая роль в наклоне головы принадлежит высокому массивному лбу и мясистому крючковатому носу. Окладистая борода, из-за наклона головы вдавленная у подбородка, ниже начинала топорщиться; левая рука с широко расставленными пальцами утонула в ее густом волосе, но поднять голову все-таки не могла.

— Кто это? — спросил К. — Граф?

К. стоял перед портретом и даже не обернулся к хозяину.

— Нет, — ответил хозяин. — Кастелян.

— Основательный у них в Замке кастелян, что да, то да, — сказал К., — жаль, что у него такой непутевый сын.

— Нет, — сказал хозяин и, тихонько потянув К. за рукав, чтобы К. к нему наклонился, прошептал ему на ухо: — Шварцер вчера хвастался. Его отец всего лишь младший кастелян, да и то — из последних.

К. в этот момент почудилось, что с ним разговаривает ребенок.

— Вот негодяй! — воскликнул К. смеясь, но хозяин не засмеялся вместе с ним, а сказал:

— Его отец — тоже могущественный человек.

— А! — отмахнулся К. — Для тебя все могущественные. Я, наверное, тоже?

— Ты, — робко, но с серьезностью в голосе ответил хозяин, — для меня не могущественный.

— В таком случае ты просто отменно наблюдателен, — сказал К., — да, по правде говоря, могущественным меня действительно не назовешь. И по этой причине я питаю к могущественным, пожалуй, не меньше почтения, чем ты, только я не так откровенен, как ты, и не всякий раз готов в этом признаваться.

И чтобы утешить его и расположить к себе, К. потрепал хозяина по щеке. Тот наконец слегка улыбнулся. Он действительно был еще мальчик, с нежной кожей, с едва пробивающимися усиками. Откуда взялась у него эта тучная, старообразная жена? Сквозь маленькое окошко в стене было видно, как она, растопырив локти, возится там, на кухне. Но сейчас К. побоялся продолжать расспросы, побоялся спугнуть добытую наконец улыбку. Поэтому он только кивнул, чтобы тот открыл ему дверь, и вышел в яркое зимнее утро.

Теперь он видел вверху Замок, его контуры отчетливо рисовались в ясном воздухе, подчеркивала их и тонкая кайма лежавшего везде и повторявшего все очертания снега. Впрочем,

кажется, наверху, на горе, снега было намного меньше, чем в деревне, где К. пробивался вперед почти с таким же трудом, как вчера на тракте. Здесь снег поднимался под самые окна хижин — и тут же снова наваливался на низкие крыши, а вверху, на горе, все было высоким, свободным и легким, по крайней мере, так это выглядело отсюда.

В целом Замок — весь его вид, открывавшийся отсюда, издали, — соответствовал ожиданиям К. Это был не древний рыцарский замок и не современное роскошное здание, а некое вытянутое сооружение, состоявшее из нескольких двухэтажных и множества низких, тесно прижатых друг к другу построек; не зная, что это Замок, его можно было принять за маленький городок. К. увидел только одну башню; принадлежала ли она жилому дому или церкви, различить было невозможно. Вокруг нее летали тучи ворон.

К. шагал не отрывая глаз от Замка, ничто другое его не интересовало. Но по мере приближения Замок все более разочаровывал его: это был просто какой-то убогий городишко, слепленный из деревенских домов и отличавшийся только тем, что все, по-видимому, было каменное, хотя краска давно облезла и камень, похоже, крошился.

На миг К. вспомнил свой родной городок, едва ли в чем-то уступавший этому так называемому Замку. Если бы К. пришел сюда только посмотреть, было бы жаль долгого пути, и он поступил бы разумнее, снова посетив родные свои места, где так давно не бывал. И он мысленно сравнил колокольню церкви у себя на родине с этой замковой башней. Та колокольня, прямо и твердо, без колебаний сужавшаяся к вершине, увенчанная широкой красной черепичной крышей, была земной постройкой (что же другое можем мы построить?), но предназначением своим была выше толпы низких домишек, и ясным обликом — светлее хмурых рабочих дней. А эта башня наверху — только ее и было видно, — башня жилого, как теперь выяснялось, дома, возможно — центрального в Замке, была однообразным круглым сооружением, отчасти милостиво прикрытым плющом, с маленькими окнами, которые вдруг (в этом было что-то сумасшедшее) вспыхнули на солнце, и с чем-то вроде огражденной стеной площадки на самом верху; зубцы стены, неуверенные, неравные, шаткие, тянулись в голубое небо, будто нарисованные пугливой или небрежной детской рукой. Казалось, какой-то мрачный жилец, которого по заслугам следовало

держать взаперти в самой дальней комнате дома, проломил крышу и поднялся, чтобы показать себя миру.

К. снова остановился, как будто, стоя неподвижно, обладал большей способностью рассуждать. Но ему помешали. За деревенской церковью, возле которой он стоял, — это была, собственно, всего лишь часовня, расширенная амбарного вида пристройкой, чтобы вместить всю общину, — находилась школа. Низкое вытянутое здание, в облике которого удивительным образом сочетались черты старинного строения и времянки, стояло в глубине обнесенного решетчатой изгородью сада, теперь превратившегося в заснеженное поле. Только что оттуда вышла группа детей с учителем, дети окружали его со всех сторон, смотрели на него во все глаза и беспрерывно болтали; в их скороговорке К. не мог понять ни единого слова. Учитель, молодой низкорослый, узкоплечий человечек, державшийся чрезвычайно прямо, однако так, что это не вызывало усмешки, высмотрел К. еще издали, — правда, кроме К., вокруг, не считая детей, не было ни одной живой души. К. как приезжий поздоровался первым — тем более что маленький человечек имел такой начальственный вид.

— Добрый день, господин учитель, — сказал он.

Дети разом умолкли, эта внезапная тишина, как бы подготавливавшая слова учителя, должна была, наверное, ему понравиться.

— Рассматриваете Замок? — спросил он благодушнее, чем К. ожидал, но таким тоном, словно не одобрял того, что делает К.

— Да, — сказал К., — я приезжий, только со вчерашнего вечера здесь.

— Не нравится Замок? — быстро спросил учитель.

— Что? — переспросил К., несколько озадаченный, и повторил в смягченной форме вопрос учителя: — Нравится ли мне Замок? Почему вы считаете, что он мне не нравится?

— Он никому из приезжих не нравится, — ответил учитель.

Чтобы не сказать тут что-нибудь неудачное, К. повернул разговор и спросил:

— Вы, наверное, знаете графа?

— Нет, — сказал учитель и хотел отвернуться, но К. не отставал.

— Как? Вы не знаете графа? — снова спросил он.

— Как я могу его знать? — тихо сказал учитель

и громко прибавил по-французски: — Примите во внимание, что здесь присутствуют невинные дети.

К. решил, что это дает ему право спросить:

— Могу я, господин учитель, как-нибудь навестить вас? Мне придется здесь задержаться, а я уже сейчас чувствую себя несколько одиноко: к крестьянам я не принадлежу и к Замку, пожалуй, тоже нет.

— Между крестьянами и Замком не такая уж большая разница, — сказал учитель.

— Возможно, — согласился К., — но в моем положении это ничего не меняет. Могу я как-нибудь навестить вас?

— Я живу на Лебединой улице в доме мясника.

Это было скорее адресной справкой, чем приглашением, тем не менее К. сказал:

— Хорошо, я зайду.

Учитель кивнул и вместе с толпой снова затараторивших детей двинулся дальше. Вскоре они исчезли в какой-то круто уходившей под гору улочке, а К., раздраженный разговором, все не мог собраться с мыслями.

Впервые со времени своего прихода сюда он почувствовал настоящую усталость. Долгий путь вначале как будто совсем не утомлял его

— как он шагал тогда, спокойно, день за днем, шаг за шагом! Но теперь последствия огромного перенапряжения все-таки сказались, и, конечно, не вовремя. Его непреодолимо тянуло к новым знакомствам, но каждое новое знакомство увеличивало усталость. Если он в своем теперешнем состоянии заставит себя доплестись хотя бы до входа в Замок, будет сделано более чем достаточно.

И он снова двинулся вперед, но дорога оказалась какой-то очень длинной. Потому что улица, по которой он шел, главная улица деревни, не вела к замковой горе, она только приближалась к ней, но затем, как нарочно, отворачивала в сторону, и если и не удалялась от Замка, то и ближе к нему тоже не подходила. К. все ждал, что вот уже эта улица должна наконец свернуть к Замку, — и только потому, что он этого ждал, шел дальше; видимо, из-за своей усталости он не решался покинуть эту улицу; удивлялся он и длине деревни, которая никак не кончалась: все одни и те же маленькие домики, и замерзшие окна, и снег, и безлюдье; в конце концов он вырвался из этой цепкой улицы, его приняла какая-то узкая улочка, снег — еще глубже, вытаскивать увязающие ноги стало тяжелой работой, его прошиб

пот, неожиданно он остановился и идти дальше уже не мог.

Ну, он ведь не в пустыне, справа и слева стоят крестьянские домишки. Он слепил снежок и швырнул в какое-то окно. Сразу же открылась дверь — первая за все время его пути по деревне; в дверном проеме стоял старый крестьянин в бурой меховой тужурке, голова его дружелюбно и немощно склонялась набок.

— Можно зайти к вам на минутку? — спросил К. — Я очень устал.

Он даже не услышал, что сказал старик, и только с благодарностью понял, что к нему подтолкнули какую-то доску, что его спасают из этого снега, и, сделав несколько шагов, очутился в комнате.

Большая комната, тусклый сумрачный свет. Вошедшему с улицы сначала вообще ничего не видно. Пошатнувшись, К. налетел на какое-то корыто с бельем, женская рука удержала его. Откуда-то из угла неслись детские крики. Из другого угла валил пар, превращая сумерки в непроглядный мрак. К. стоял словно окутанный облаками. «Да он пьяный», — сказал кто-то.

— Кто вы? — крикнул повелительный голос, потом, очевидно обращаясь к старику, спросил:

— Зачем ты его впустил? Мало ли кто там по улицам шатается — всех впускать?

— Я графский землемер, — сказал К., пытаясь таким образом оправдаться перед все еще невидимым хозяином.

— Так это землемер, — произнес женский голос, и наступила полная тишина.

— Вы меня знаете? — спросил К.

— Конечно, — коротко отозвался тот же голос. Кажется, то, что К. знали, говорило не в его пользу.

Пар наконец немного рассеялся, и К. постепенно смог оглядеться. Был, по-видимому, всеобщий банный день. Около дверей стирали белье. Пар, однако, шел из другого угла, где в деревянном чане (таких К. еще не видел: он был размером почти с две кровати) в клубящейся воде купались двое мужчин. Но еще большее изумление — хотя и трудно было бы сказать, что именно изумляло, — вызывал правый угол. Там из большого отверстия, единственного в правой стене, лился, очевидно, со двора белесый от снега свет, и в этом свете платье женщины, которая устало полулежала в высоком, стоявшем в самом углу кресле, мерцало, как шелк. На руках у женщины лежал грудной ребенок. Вокруг нее на полу игра-

ло несколько детей, явно крестьянских, но она, казалось, принадлежала к другому миру, впрочем, болезнь и усталость делают утонченными и крестьянские лица.

— Садитесь! — сказал один из мужчин, бородатый и к тому же с большими усами над пыхтящим ртом, который он все время держал раскрытым, показал рукой через край бадьи — забавно выглядело — на какой-то сундук и при этом забрызгал К. все лицо теплой водой.

На сундуке уже сидел, погрузившись в полузабытье, впустивший К. старик. К. испытывал благодарность за то, что смог наконец сесть. Никто уже не обращал на него внимания. Женщина у корыта, светловолосая, молодая и крепкая, тихо напевала за работой; мужчины в чане топтались и ворочались, дети пытались к ним подобраться, но их каждый раз отгоняли мощными снопами брызг, не щадившими и К.; женщина в кресле лежала словно неживая, и даже взгляд ее был устремлен не на ребенка у ее груди, а куда-то вверх.

По-видимому, К. долго смотрел на эту неменяющуюся, прекрасную, печальную картину, но потом, должно быть, заснул, потому что, когда он вздрогнул от испуга при звуке окликнувшего

его громкого голоса, голова его лежала на плече старика. Мужчины закончили купание (в чане теперь под присмотром светловолосой женщины возились дети) и стояли одетые перед К. Оказалось, что крикливый бородач был помельче второго. Этот второй — не выше бородатого и с бородой намного меньшей — был молчаливый, медленно соображавший, широкий в плечах мужчина (и лицо тоже было широкое), голову он держал опущенной.

— Господин землемер, — начал он, — нельзя вам здесь оставаться. Простите за невежливость.

— Я и не собирался оставаться, — сказал К., — хотел только отдохнуть немного. Это мне удалось, и теперь я ухожу.

— Вы, наверное, удивляетесь, что мало гостеприимства, — продолжал этот человек, — но гостеприимство у нас не в обычае, нам гостей не требуется.

Несколько освеженный сном, несколько более восприимчивый, чем раньше, К. был обрадован этой прямотой. Двигаясь уже свободнее, он потыкал там и сям своей палкой, приблизился к женщине в кресле; впрочем, и сложением он был крупнее всех в комнате.

— Конечно, — сказал К., — на что вам гости? Но

иногда все-таки бывает и нужен кто-нибудь, к примеру, — я, землемер.

— Этого я не знаю, — медленно проговорил человек, — если вас позвали, значит, вы, наверное, нужны, но это будет исключение, а мы — люди маленькие, мы правило соблюдаем, вы нас за это винить не можете.

— Нет-нет, — сказал К., — я должен только поблагодарить вас, — вас и всех здесь.

И неожиданно для всех, чуть ли не прыжком развернувшись, К. оказался перед той женщиной. На К. смотрели ее голубые усталые глаза, шелковая прозрачная косынка была спущена до середины лба, на руках у нее спал младенец.

— Кто ты? — спросил К.

Презрительно — было неясно, относилось ли это презрение к К. или к ее собственным словам, — она сказала:

— Девочка из Замка.

Все это продолжалось лишь одно мгновение — и вот уже один из мужчин был справа, второй — слева от К., и, словно нельзя было договориться иначе, его молча, но изо всех сил тащили к дверям. Старик вдруг чему-то обрадовался и захлопал в ладоши, засмеялась и прачка, смотревшая за детьми, которые вдруг подняли умопомрачи-

тельный шум. И вскоре К. уже стоял на улице, а двое мужчин с порога следили за ним. Опять шел снег, но, несмотря на это, казалось, что стало чуть светлее. Бородач нетерпеливо крикнул:

— Куда вы хотите идти? К Замку будет сюда, к деревне — сюда.

Ему К. не ответил, но другому, который, хоть и был сильнее, казался более обходительным, он сказал:

— Кто вы? Кого мне благодарить за приют?

— Я — кожевник Лаземан, — был ответ, — а благодарить вам тут некого.

— Ладно, — сказал К., — может быть, мы еще встретимся.

— Я думаю, нет, — сказал человек.

В этот момент бородач закричал, подняв руку:

— Добрый день, Артур! Добрый день, Иеремия!

К. обернулся — значит, все-таки люди в этой деревне еще появляются на улице! Со стороны Замка приближались двое молодых людей, оба среднего роста, очень гибкие, в облегающей одежде и внешне очень похожие друг на друга. Цвет лица у обоих был темно-коричневый, и тем не менее остренькая бородка выделялась на лице своей особенной чернотой. Они шагали в ногу, легко, пружинисто и удивительно быстро для

такого состояния дороги.

— Чего вы? — крикнул бородач. Они не останавливались и шли так быстро, что объясняться с ними можно было только криком.

— Дела! — прокричали они, смеясь.

— Где?

— В трактире.

— Я туда тоже иду! — заорал вдруг громче их всех К., ему очень захотелось, чтобы эти двое взяли его с собой; хотя знакомство с ними не выглядело многообещающим, но то, что они хорошие, бодрые попутчики, было ясно. Они услышали слова К., но только кивнули — и уже исчезли.

К. по-прежнему стоял в снегу, не было никакого желания вытаскивать из снега ногу только для того, чтобы тут же снова утопить ее; кожевник и его товарищ, довольные тем, что наконец выпроводили К., медленно, все время оглядываясь на него, боком протиснулись через едва приоткрытую дверь в дом, и К. остался один среди окружавшего его снега. «Повод для некоторого отчаяния, — подумалось ему, — если бы только я оказался здесь случайно, а не намеренно».

В этот момент в избе слева отворилось крошечное окошко; закрытое, оно казалось темно-синим,

может быть, из-за отблесков снега, и было такое крохотное, что, когда оно теперь открылось, даже нельзя было увидеть все лицо выглядывавшего, — только глаза, старые карие глаза. «Стоит там», — услышал К. слова, сказанные дрожащим женским голосом. «Это землемер», — произнес мужской голос. Затем мужчина подошел к окну и спросил — не то чтобы враждебно, но все же так, словно для него было важно, чтобы на улице перед его домом был порядок:

— Вы кого ждете?

— Саней, которые бы меня подвезли, — ответил К.

— Здесь сани не ездят, — сказал мужчина, — здесь нет движения.

— Но ведь эта улица ведет к Замку, — возразил К.

— Все равно, — с какой-то непреклонностью в голосе сказал человек, — все равно здесь нет движения.

Оба помолчали. Но мужчина явно что-то обдумывал, потому что все не закрывал окошка, из которого валил дым.

— Плохая дорога, — заметил К., чтобы помочь ему.

Но тот сказал только:

— Да, конечно.

Однако, подождав еще, он все же прибавил:

— Если хотите, я вас отвезу на моих санях.

— Сделайте это, пожалуйста, — обрадовался К., — сколько вы за это возьмете?

— Ничего, — сказал мужчина.

К. очень удивился.

— Вы же землемер, — пояснил тот, — и принадлежите к Замку. Вы вообще-то куда хотите ехать?

— В Замок, — быстро сказал К.

— Тогда я не поеду, — тут же заявил мужчина.

— Я ведь принадлежу к Замку, — повторил К. мужчине его собственные слова.

— Может быть, — отозвался тот равнодушно.

— Ну тогда везите меня в трактир, — сказал К.

— Хорошо, — согласился мужчина, — я сейчас выйду с санями.

Во всем этом не ощущалось особого дружелюбия, напротив, скорее это было очень своекорыстное, опасливое, почти педантское стремление убрать куда-нибудь К., чтоб тот не стоял перед домом.

Открылись ворота, и выехали маленькие сани для легкой поклажи, совсем плоские, без какого бы то ни было сиденья, тянула их слабосильная

лошаденка, а за санями шел сгорбленный, тщедушный, прихрамывающий человечек с худым болезненно-красным лицом, которое казалось совсем маленьким из-за туго обмотанного вокруг головы шерстяного платка. Он был явно болен и все-таки вылез из дому — только для того, чтобы спровадить отсюда К. К. вскользь высказал что-то в этом роде, но человек отрицательно покачал головой. К. узнал от него только, что он — возница Герштеккер и что взял он эти неудобные сани, потому что они как раз стояли наготове, а вытаскивать другие заняло бы слишком много времени.

— Садитесь, — сказал Герштеккер и указал кнутом назад, на сани.

— Я сяду рядом с вами, — ответил К.

— Я не буду садиться, — сказал Герштеккер.

— Но почему? — спросил К.

— Я не буду садиться, — повторил Герштеккер, и тут на него напал кашель, который так сотрясал его, что ему пришлось расставить для устойчивости ноги, а руками ухватиться за край саней.

К. больше ничего не сказал, сел сзади на сани, кашель понемногу утих, и они поехали.

Этот Замок там, наверху (удивительно уже потемневший), до которого К. надеялся добраться

еще сегодня, вновь удалялся. И словно подавая ему какой-то знак к их временному расставанию, там зазвонил колокол — радостный, торопливый колокольный звон, от которого, пусть на одно только мгновение, так сжималось сердце, словно угрожало ему — ибо и боль была в этом звоне — исполнение того, о чем неясно оно тосковало. Но вскоре большой колокол умолк и его сменил маленький, звонивший слабо и однообразно, — может быть, еще наверху, а может быть, уже и в деревне. Этот перезвон, впрочем, больше подходил к медленному движению саней и к жалкому, но непреклонному вознице.

— Эй, — неожиданно крикнул К.; они были уже рядом с церковью, до трактира было теперь недалеко, и К. мог на что-то отважиться, — я все удивляюсь, что ты на свой страх и риск отваживаешься меня раскатывать, тебе это что — разрешено?

Герштеккер не обращал на него внимания, он все так же мерно шагал рядом со своей лошадкой.

— Эй, ты! — крикнул К., загреб с саней снегу, слепил снежок и бросил Герштеккеру точно в ухо.

Тот наконец остановился и повернулся, но, уви-

дев теперь вблизи, совсем рядом (сани проехали еще немного вперед) сгорбленную фигуру этого человека, над которым, можно сказать, надругались, его красное, усталое, худое лицо с какими-то разными щеками (одна — плоская, другая — впалая) и его настороженно открытый рот, в котором оставалось лишь несколько одиноких зубов, — К. невольно повторил уже из сострадания то, что раньше сказал со зла: не накажут ли Герштеккера за то, что он возил К.?

— Что тебе надо? — бессмысленно спросил Герштеккер, но никаких объяснений в действительности не ожидал, прикрикнул на лошаденку, и они снова поехали.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда они подъезжали к трактиру — К. узнал это по изгибу дороги, — к его удивлению, было уже совершенно темно. Неужели он так долго отсутствовал? Нет, по его расчетам, всего час, может быть — два, а вышел он утром, и есть совсем не хотелось, и только что вокруг был ровный дневной свет, и вот теперь — темнота. «Короткие дни, короткие!» — сказал он себе, соскользнул с саней и пошел к трактиру.

На верхней ступеньке маленького крыльца стоял — К. рад был его видеть — хозяин и, подняв фонарь, светил ему навстречу. На мгновение вспомнив о вознице, К. остановился; где-то кашляли в темноте, это — он. Ну его он еще увидит. Только когда К. был уже на крыльце около смиренно приветствовавшего его хозяина, он заметил, что по обе стороны от двери кто-то стоит. Он взял из рук хозяина фонарь и осветил их, это были те двое, которых он уже встречал и которых тогда назвали Артуром и Иеремией. Теперь они отсалютовали ему. Это напомнило К. его военную службу, те счастливые времена, и он засмеялся.

— Кто вы? — спросил он, переводя глаза с одно-

го на другого.

— Ваши помощники, — ответили они.

— Это помощники, — тихо подтвердил хозяин.

— Как? — спросил К. — Вы — мои старые помощники, которым я позволил отстать, которых я жду?

Они подтвердили.

— Это хорошо, — сказал К., немного подумав, — это хорошо, что вы пришли. Впрочем, — добавил К., еще немного подумав, — вы очень задержались, вы очень нерадивы.

— Далеко было идти, — сказал один.

— Далеко идти, — повторил К., — однако, когда я вас встретил, вы шли из Замка.

— Да, — сказали они без каких-либо объяснений.

— Где у вас аппаратура? — спросил К.

— У нас нет, — ответили они.

— Аппаратура, которую я вам доверил, — пояснил К.

— У нас нет, — повторили они.

— Ну что за люди! — сказал К. — В землемерском деле что-нибудь понимаете?

— Нет, — ответили они.

— Но если вы — мои старые помощники, так вы же должны в этом понимать.

Они молчали.

— Ладно, пошли, — сказал К., подтолкнул их в дом и вошел после них.

Вскоре они сидели в общей зале втроем за маленьким столиком (К. — посредине, справа и слева — помощники), преимущественно молчали и пили пиво. Кроме них, только за одним из столов сидели крестьяне — как и накануне вечером.

— Тяжело с вами, — сказал К., сравнивая уже не в первый раз их лица. — Как, собственно, прикажете вас различать? У вас различаются только имена, в остальном вы похожи друг на друга… как, — он запнулся, затем невольно продолжил, — в остальном вы действительно похожи друг на друга, как змеи.

Они усмехнулись.

— Вообще-то нас хорошо различают, — сказали они, оправдываясь.

— По-видимому, да, — согласился К., — я и сам был свидетелем этого, но у меня есть только мои глаза, и ими различить вас я не могу. Поэтому я буду обращаться с вами как с одним-единственным человеком и обоих называть Артур, тем более что так зовут одного из вас. Тебя, что ли? — спросил К. у одного.

— Нет, — ответил тот, — меня зовут Иеремия.

— Ну, это не важно, — сказал К., — я буду вас обоих называть Артур. Если я посылаю куда-нибудь Артура, вы идете оба, если я даю Артуру какую-то работу, вы оба делаете ее; правда, для меня это большое неудобство, что я не смогу использовать вас для разных работ, но зато и преимущество, поскольку за все, что я вам ни поручу, вы несете безраздельно общую ответственность. Как вы будете делить работу между собой, мне все равно, но после не вздумайте сваливать друг на друга: вы для меня один-единственный человек.

Они подумали и сказали:

— Так нам было бы очень неприятно.

— Еще бы, — подтвердил К., — разумеется, это должно быть вам неприятно, но так это и будет.

Уже некоторое время К. наблюдал за крестьянином, который все крутился возле их стола; наконец крестьянин решился, подошел к одному из помощников и теперь собирался что-то шепнуть ему на ухо.

— Прошу прощения, — сказал К., ударил ладонью по столу и встал, — это мои помощники, мы сейчас кое-что обсуждаем, и никто не имеет права нам мешать.

— О, пожалуйста, пожалуйста, — испуганно проговорил крестьянин и, пятясь, вернулся к

своей компании.

— Это вам следует запомнить прежде всего, — продолжил К., снова усевшись. — Без моего разрешения вы не имеете права ни с кем разговаривать. Я здесь чужой, и если вы — мои старые помощники, то и вы — чужие. Мы, трое чужаков, должны поэтому держаться вместе, в знак этого дайте мне ваши руки.

Чересчур охотно протянули они их К.

— Уберите лапы, — сказал он, — а мой приказ выполнять. Я сейчас иду спать и вам советую сделать то же. Сегодня мы один рабочий день потеряли, завтра работа должна быть начата очень рано. Вам надо будет достать сани для поездки в Замок и в шесть часов утра быть с ними здесь, перед домом, наготове.

— Хорошо, — сказал один. Но второй вмешался:

— Ты говоришь «хорошо», хотя отлично знаешь, что это невозможно.

— Тихо, — прикрикнул К., — вы, кажется, начинаете отличаться друг от друга.

Но тут уже заговорил и первый:

— Он прав, это невозможно, без разрешения никому из чужих нельзя в Замок.

— У кого нужно запрашивать разрешение?

— Я не знаю, наверное, у кастеляна.

— Тогда мы запросим его по телефону, быстро звоните кастеляну — оба!

Они побежали к аппарату, попросили соединить (как они там толкались — внешне они были смехотворно послушны) и спросили, можно ли К. прийти с ними завтра в Замок. Ответное «нет!» было слышно и у стола К. Но ответ был более обстоятельным, он звучал: «Ни завтра, ни когда-либо еще».

— Я сам позвоню, — сказал К. и встал.

Если до этого на К. и его помощников мало обращали внимания — не считая мелкого происшествия с крестьянином, то последнее его замечание возбудило всеобщее любопытство. Все встали вместе с К. и, хотя хозяин и пытался сдержать их, столпились возле аппарата, окружив К. тесным полукольцом. Среди них преобладало мнение, что К. вообще отвечать не станут. К. вынужден был попросить их замолчать: их мнение его не интересует.

Из трубки послышалось гудение, какого К. еще никогда в телефонах не слышал, впечатление было такое, словно из гудения бесчисленных детских голосов… — хотя и гудения-то не было, а было пение очень далеких, бесконечно далеких

голосов, — словно из этого гудения каким-то попросту невозможным способом образовался один-единственный тонкий, но сильный голос, который сверлил перепонки так, словно намеревался, минуя жалкий слух, проникнуть глубже. К. вслушивался и ничего не говорил; левой рукой он оперся на аппарат и так слушал.

Он не знал, сколько это длилось, — это длилось до тех пор, пока хозяин не потянул его за рукав: к нему пришел посыльный. «Прочь!» — закричал, не сдержавшись, К., наверное, прямо в телефонную трубку, потому что теперь там кто-то ответил. Произошел следующий разговор.

— Освальд слушает, кто говорит? — прокричал строгий, высокомерный голос с небольшой, как показалось К., картавостью, которую голос изо всех сил старался скомпенсировать еще большей строгостью.

К. медлил назвать себя, против телефона он был беззащитен, тот, на другом конце, мог его изругать, мог бросить трубку — и один, быть может, немаловажный канал будет для К. закрыт. Молчание К. вызвало на том конце нетерпение.

— Кто говорит? — повторил голос и добавил: — Я был бы очень доволен, если бы от вас не так много звонили, только минуту назад был звонок.

К. не стал ничего по этому поводу объяснять и с внезапной решимостью доложил:

— Говорит помощник господина землемера.

— Какой помощник? Какого господина? Какого землемера?

К. вспомнился вчерашний разговор.

— Спросите Фрица, — сказал он коротко.

К его собственному удивлению, это помогло. Но еще больше, чем то, что это помогло, удивило его единство тамошних служб. Ответ был:

— Да-да. Я уже знаю. Этот вечный землемер. Что дальше? Какой помощник?

— Йозеф, — сказал К.

Ему немного мешало бормотание крестьян за его спиной; по-видимому, они были несогласны с тем, что он не представился правильно. Но у К. не было времени разбираться с ними, так как разговор требовал от него очень большого внимания.

— Йозеф? — спросили в трубке. — Помощников зовут… — небольшая пауза, очевидно, он запрашивал у кого-то имена, — Артур и Иеремия.

— Это новые помощники, — сказал К.

— Нет, это старые.

— Это новые, а я — старый, который только сегодня догнал господина землемера.

— Нет! — уже заорала трубка.

— Кто же я тогда? — по-прежнему спокойно спросил К.

И после паузы тот же самый голос, с той же самой картавостью — и в то же время как будто другой, более глубокий, более достойный голос сказал:

— Ты — старый помощник.

К. вслушивался в звучание голоса и чуть было не прослушал вопрос:

— Чего ты хочешь?

Охотнее всего он теперь повесил бы трубку. От этого разговора он ничего больше не ждал. Только по необходимости, скороговоркой он задал еще вопрос:

— Когда мой господин может прийти в Замок?

— Никогда, — был ответ.

— Хорошо, — сказал К. и повесил трубку.

Крестьяне за его спиной придвинулись уже почти совсем вплотную. Помощники, все время косясь на него, усиленно старались сдерживать крестьян. Но похоже было, что они только притворяются, да и крестьяне, удовлетворенные результатом разговора, понемногу отступали. В этот момент их группу быстрым шагом прорезал какой-то человек; он поклонился К. и вручил ему письмо. Держа в руке письмо, К. рассматривал

человека, который в данный момент казался ему важнее письма. Было очень большое сходство между ним и этими помощниками, он был такой же гибкий, как они, точно так же в обтяжку одет и такой же подвижный и юркий, — но все же совсем другой. К. уж лучше согласился бы иметь помощником его! Чем-то он напоминал К. ту женщину с младенцем, которую К. видел в доме кожевника. Одет он был во что-то почти белое, одежда была, очевидно, не из шелка, это была зимняя одежда, как у всех прочих, но у нее была легкость и праздничность шелковой одежды. Лицо его было ясным и открытым, глаза огромными. У него была необыкновенно светлая улыбка; он провел рукой по лицу, как будто хотел прогнать эту улыбку, но ему это не удалось.

— Кто ты? — спросил К.

— Барнабас мое имя, — сказал он. — Посыльный я.

Мужественно и в то же время мягко шевелились его губы, когда он говорил.

— Как тебе это нравится? — спросил К. и показал на крестьян с их прямо-таки страдальческими лицами (казалось, будто какие-то удары приплюснули сверху их черепа и боль от побоев сформировала черты этих лиц); К. все еще не

потерял к ним интереса, так как они, раскрыв свои толстогубые рты, следили за ним, но в то же время как будто и не следили, ибо взгляды их глаз частенько убегали в сторону и, прежде чем возвратиться, надолго прилипали к совсем посторонним предметам; потом показал К. и на помощников, которые стояли в обнимку, щека к щеке, и усмехались, то ли приниженно, то ли насмешливо — нельзя было понять, — он показал ему всех, будто представляя некую, особыми обстоятельствами навязанную ему свиту и ожидая (в этом была доверительность, на которую К. рассчитывал), что Барнабас всегда будет отличать его от них. Но Барнабас — правда, без всякого умысла, это было видно — совершенно не понял вопроса, пропустил его мимо ушей, как хорошо вышколенный слуга пропускает слова господина, лишь по видимости обращенные к нему, поглядел только, как того требовал вопрос, по сторонам, помахал рукой знакомым из крестьян и перебросился парой слов с помощниками, все это — свободно, естественно, не смешиваясь с остальными. Отвергнутый, но не смущенный, К. вернулся к письму, которое держал в руке, и вскрыл его. Там было написано следующее: «Глубокоуважаемый господин! Вы приняты, как

Вы знаете, на графскую службу. Ваш непосредственный начальник — староста общины, он же сообщит Вам все, что нужно, о Вашей работе и условиях оплаты, ему же Вы будете отчитываться. Однако и я постараюсь не выпускать Вас из поля зрения. Барнабас, который принесет Вам это письмо, будет время от времени расспрашивать Вас с тем, чтобы узнавать Ваши желания и сообщать мне. Вы всегда можете рассчитывать на мою готовность по мере возможности быть Вам полезным. Я придаю значение тому, чтобы мои работники были довольны». Подпись была неразборчива, но рядом было подпечатано: «Управляющий Х канцелярией».

— Подожди! — сказал К. поклонившемуся Барнабасу и подозвал хозяина, чтобы тот отвел его в какую-нибудь комнату, ему хотелось уединиться на время с этим письмом. Одновременно он вспомнил, что при всей его симпатии к Барнабасу тот все же не более чем посыльный, и велел дать ему пива. К. пронаблюдал, как тот примет это; тот принял пиво явно очень охотно и сразу выпил. Тогда К. пошел с хозяином. Во всем трактире для К. не нашли ничего лучше маленькой комнатки на чердаке, да и то с затруднениями, так как пришлось двух служанок, которые рань-

ше там спали, переселять куда-то в другое место. Собственно, кроме того, что удалили служанок, ничего больше не сделали, в остальном комната, по-видимому, не претерпела изменений: никакого постельного белья на единственной кровати, только несколько подушек и конская попона — все в таком виде, в каком осталось с прошлой ночи. На стене — несколько образков и фотографий солдат. Комнату даже не проветрили; очевидно, надеялись, что новый постоялец не задержится надолго, и ничего не делали для того, чтобы его удержать. Но К. был на все согласен; он завернулся в попону, сел к столу и при свете свечи начал заново читать письмо.

В нем отсутствовало единство; были места, где с ним говорили как со свободным человеком, за которым признается право иметь свою волю, таким было обращение, таким было то место, где говорилось о его желаниях. Но были и места, где с ним явно или скрыто обращались как с мелким работником, едва заметным с высокого кресла этого управляющего: управляющий должен напрягаться, чтобы «не выпустить его из поля зрения»; его начальник — всего лишь деревенский староста, которому он еще и обязан отчетом, его единственным коллегой будет, наверное, де-

ревенский полицейский. Это были несомненные противоречия, они были столь очевидны, что не могли не быть преднамеренными. Нелепые в отношении подобной инстанции мысли о том, что тут проявилась какая-то нерешительность, почти не приходили К. в голову. Напротив, он видел в этом явно предложенный ему выбор; ему самому предоставлялось определить, как он истолкует содержавшиеся в письме распоряжения: захочет ли он стать деревенским работником с некоей все же отличающей его, однако лишь кажущейся связью с Замком или же быть лишь по видимости деревенским работником, а на деле согласиться с тем, чтобы все связанные с его службой отношения определялись сообщениями Барнабаса. К. не колебался в выборе, и даже не имей он того опыта, который уже успел приобрести, он и тогда не стал бы колебаться. Только сделавшись деревенским работником и держась как можно дальше от господ из Замка, мог он чего-то в Замке достичь; эти люди в деревне, которые пока так недоверчивы к нему, разговорились бы, если бы он стал для них — пусть не другом, но все же одним из сограждан, и когда он станет неотличим от Герштеккера и Лаземана (а это должно произойти очень скоро, от этого все зависело), тогда наверняка перед ним

разом откроются все те пути, которые, поставь он себя в зависимость от этих господ наверху и от их милости, остались бы для него не только закрытыми, но просто невидимыми. Правда, тут была одна опасность, в письме она достаточно подчеркивалась и даже изображалась с некоей радостью, как будто ее нельзя было избежать. Это была опасность стать работником. «Служба», «начальник», «работа», «условия оплаты», «отчитываться», «работник» — письмо кишело этим, и даже когда говорилось о чем-то другом, более личном, это говорилось с той же точки зрения. Если К. желает стать работником, он может им стать, но только это будет уже страшно всерьез, без каких-либо видов на что-то другое. К. знал, что ему не грозит непосредственное принуждение, этого он не боялся; где угодно, только не здесь, — но воздействия угнетающего окружения, привыкания к неудачам, силы незаметных ежесекундных воздействий — этого он боялся больше всего, и на борьбу с этой опасностью ему нужно было решиться. Письмо ведь не скрывало, что если дойдет до борьбы, то К. должен иметь смелость начать: высказано это было тонко, и лишь неспокойная совесть («неспокойная» не значит «нечистая») могла уловить эти три слова:

«как Вы знаете» по поводу его принятия на службу. К. доложил о себе — и с этого момента он, как выразилось письмо, «знал, что он принят».

К. снял со стены картинку и повесил письмо на гвоздь, в этой комнате он, очевидно, будет жить, здесь и должно висеть письмо.

Потом он спустился в залу. Барнабас сидел за одним столиком с помощниками.

— Ах вот ты где, — сказал К. без всякого повода, просто потому, что был рад увидеть Барнабаса.

Тот сразу вскочил. Не успел К. войти, как крестьяне поднялись и направились к нему: бегать за ним уже стало у них привычкой.

— Что вы все время лезете ко мне? — закричал К.

Они не обиделись и медленно повернули обратно к своим столам. Отходя от К., один крестьянин сказал для объяснения (вскользь, с какой-то неопределенной усмешкой, которая перебежала и на лица других):

— Все что-нибудь новое услышишь, — и облизнул губы, словно это новое было каким-то лакомством.

Ответных слов примирения К. говорить не стал: неплохо, если они будут испытывать к нему некоторое почтение, однако не успел он подсесть

к Барнабасу, как уже почувствовал на затылке дыхание крестьянина; тот, по его словам, подошел взять солонку, но К. в ярости топнул ногой, и крестьянин, позабыв о солонке, убежал. Да, справиться с К. действительно было легко; к примеру, достаточно было всего лишь напустить на него крестьян, их упорное внимание казалось ему еще более злобным, чем замкнутость других, и потом, это была та же замкнутость, потому что, подсядь К. к их столику, они бы наверняка не остались там сидеть. Только присутствие Барнабаса помешало К. поднять шум. Но он все-таки еще разок угрожающе обернулся на них — они тоже сидели повернувшись к нему. И когда он увидел, как они там сидят: каждый на своем месте, не переговариваясь, без видимой связи между собой, связанные лишь тем, что все они уставились на него, — ему вдруг показалось, что совсем не злоба заставляет их преследовать его; может быть, они в самом деле чего-то от него хотят и только высказать не могут, и если это не злоба, то, может быть, это всего лишь детскость, — та детскость, которая, кажется, просто поселилась здесь; разве не ребенок этот хозяин: остановился как вкопанный, держит двумя руками стакан пива, который нес какому-то посетителю, смотрит на К. и не слышит окрика

высунувшейся из кухонного окошка хозяйки?

Несколько успокоившись, К. повернулся к Барнабасу. От помощников он с удовольствием бы избавился, но не находил повода; впрочем, они мирно глядели в свое пиво.

— Письмо, — начал К., — я прочитал. Ты содержание знаешь?

— Нет, — сказал Барнабас, его взгляд, казалось, говорил больше, чем его слова.

Может быть, К. ошибался в нем так же, как в крестьянах, и он был не более добр, чем они — злы, но присутствие его действовало благотворно.

— О тебе в письме тоже говорится: ты должен будешь время от времени передавать мои сообщения управляющему и — обратно, поэтому я думал, что ты знаешь содержание.

— Мне, — сказал Барнабас, — было только поручено передать письмо, подождать, пока его прочтут, и, если тебе покажется, что это нужно, принести назад устный или письменный ответ.

— Хорошо, — сказал К., — писать тут нечего, передай господину управляющему — как, кстати, его зовут? Я не мог разобрать подпись.

— Кламм, — помог Барнабас.

— Стало быть, передай господину Кламму мою

благодарность за то, что меня приняли, равно как и за его необычайное дружелюбие, которое я, как человек, здесь еще себя не проявивший, ценю по достоинству. Мои действия будут полностью соответствовать его планам. Особых пожеланий пока не имею.

Барнабас, слушавший с пристальным вниманием, попросил разрешения повторить задание. К. разрешил, и Барнабас повторил его слово в слово. Затем он встал, собираясь уходить.

Все это время К. изучал его лицо, теперь он вгляделся в него последний раз. Барнабас был примерно одного с К. роста, тем не менее казалось, что он смотрит на К. сверху вниз, но это был взгляд почти смиренный, невозможно было представить, чтобы этот человек хотел кого-то пристыдить. Он, правда, был всего лишь посыльный, не знавший содержания письма, которое ему дали отнести, но его взгляд, его улыбка, его походка сами уже казались посланием, даже если он об этом и не знал. И К. протянул ему руку, что того явно удивило, ибо он собирался только поклониться.

Когда Барнабас вышел (перед тем как открыть дверь, он еще на мгновение прислонился к ней плечом и окинул залу взглядом, не относившимся

ни к кому в отдельности), К. сказал помощникам:

— Я сейчас возьму в комнате мои чертежи, и мы обсудим ближайшую работу.

Они хотели идти с ним.

— Останьтесь! — сказал К.

Они все-таки хотели идти. К. пришлось еще строже повторить приказ. В коридоре Барнабаса уже не было. Но ведь он же только что вышел. Однако и перед домом (по-прежнему шел снег) К. его тоже не увидел. Он крикнул:

— Барнабас!

Никакого ответа. Может, он еще в доме? Иной возможности, кажется, не было. Тем не менее К. изо всех сил прокричал в пустоту имя. Имя загрохотало в ночи. И издалека пришел-таки слабый ответ: так далеко, значит, был уже Барнабас. К. крикнул, чтобы тот вернулся, и сам пошел ему навстречу; место, где они встретились, из трактира уже нельзя было увидеть.

— Барнабас, — сказал К. и не смог удержать дрожи в голосе, — я хотел тебе еще что-то сказать. И потом, я подумал, ведь это очень плохо устроено, что я должен ждать только твоих случайных приходов, если мне что-нибудь понадобится из Замка. Если бы я тебя сейчас чудом не успел пе-

рехватить — как ты носишься, я думал, ты еще в доме, — кто знает, сколько бы мне пришлось ждать твоего следующего появления.

— Ты же можешь, — предложил Барнабас, — попросить управляющего, чтобы я приходил всегда в определенное, назначенное тобой время.

— И этого тоже недостаточно, — сказал К., — может быть, мне целый год ничего не понадобится передать, а как раз через четверть часа после твоего ухода — что-нибудь неотложное.

— Так что же, — не понял Барнабас, — доложить управляющему, что между ним и тобой должна быть установлена другая связь, не через меня?

— Нет-нет, — сказал К., — совсем нет, я упомянул об этом только так, между прочим, в этот раз я же тебя, к счастью, еще успел перехватить.

— Вернемся в трактир, — спросил Барнабас, — чтобы ты мог там дать мне новое задание?

И он уже сделал шаг по направлению к дому.

— Барнабас, — сказал К., — это не обязательно, я пройдусь немного с тобой.

— Почему ты не хочешь вернуться в трактир? — спросил Барнабас.

— Там люди, они мешают мне, — объяснил К., — ты сам видел, какие эти крестьяне настырные.

— Мы можем пойти в твою комнату, — предло-

жил Барнабас.

— Это комната служанок, — сказал К., — грязная и душная, чтобы там не сидеть, я и хотел немного с тобой пройтись, только тебе придется, — добавил К., чтобы окончательно победить его колебания, — разрешить мне взять тебя под руку, потому что ты идешь увереннее.

И К. повис на его руке. Было совсем темно, лица Барнабаса К. вообще не видел, фигуру — смутно, и руку его он нашел не сразу, а некоторое время ловил наугад.

Барнабас уступил, они удалялись от трактира. Однако К. чувствовал, что, несмотря на крайнее напряжение, он не в состоянии идти с такой же скоростью, как Барнабас, что он сковывает его движения и что в обыкновенных обстоятельствах уже из-за этой мелочи все бы сорвалось, особенно если бы встретился переулок вроде того, в котором К. утром тонул в снегу: оттуда его могли вытащить только руки Барнабаса. Но сейчас он отгонял от себя эти тревожные мысли; успокаивало его и молчание Барнабаса: раз они оба молчали, значит, и для Барнабаса смысл того, что они идут вместе, мог быть только в самом продолжении их пути.

Они шли, но К. не знал куда, он ничего вокруг

не узнавал. Он не знал даже, прошли ли они уже церковь или нет. Из-за тех усилий, которые приходилось затрачивать на ходьбу, он никак не мог собраться с мыслями, и они, вместо того чтобы все время устремляться к цели, блуждали. Снова и снова всплывали видения родины, воспоминания о ней переполняли его. Там тоже на главной площади стояла церковь, почти со всех сторон ее окружало старое кладбище, а его — высокая стена. Лишь очень немногие из мальчишек могли забраться на эту стену, К. это пока не удавалось. Их толкало к этому не любопытство: на кладбище для них давно уже не было тайн, сквозь маленькую решетчатую калитку в стене они не раз пробирались туда. Но вот эту гладкую, высокую стену им хотелось покорить. И однажды утром (тихая пустая площадь была вся залита светом, никогда еще — ни до этого, ни после — он не видел ее такой!) ему удалось это поразительно легко; на том месте, где немало его атак уже захлебнулось, он, зажав в зубах маленький флаг, вскарабкался на стену с первой же попытки. Еще струились под ним осыпи, а он уже был наверху. Он воткнул флаг, ветер натянул лоскут, он посмотрел вниз и вокруг, и через плечо назад, на вжавшиеся в землю кресты; в этот миг никого там не было

выше его. Потом случайно прошел мимо учитель и сердитым взглядом согнал К. вниз. Спрыгивая, К. ушиб колено и с трудом добрался до дому, но все-таки он был на стене. Ему казалось тогда, что это ощущение победы будет служить ему опорой всю жизнь — и это было не так уж глупо, ибо сейчас, через много лет, в эту снежную ночь, когда он повисал на руке Барнабаса, оно пришло ему на помощь.

Он вцепился крепче, Барнабас почти тащил его; молчание не прерывалось. Про направление К. знал только то, что, судя по состоянию дороги, они еще не сворачивали на боковые улицы. Он похвалил себя за то, что ни трудности пути, ни даже беспокойство об обратной дороге не удержали его и он продолжает идти. В конце концов, на то, чтобы его могли волочить дальше, его сил, наверное, еще хватит. И не может же эта дорога тянуться бесконечно? Днем до Замка было рукой подать, а посыльный, конечно, знает кратчайший путь.

Вдруг Барнабас остановился. Где они? Дальше это не пройдет? Может быть, Барнабас хочет отделаться от К.? Ему это не удастся. К. вцепился в Барнабасову руку так, что чуть не заболела своя. Или все-таки невероятное произошло, и они

уже в Замке или перед его воротами? Но они же, насколько К. помнил, совсем не поднимались в гору. Или Барнабас провел его по такой незаметно поднимавшейся дороге?

— Где мы? — спросил К. тихо, скорей себя, чем его.

— Дома, — так же тихо ответил Барнабас.

— Дома?

— Но теперь осторожней, господин, не поскользнись. Дорога идет вниз.

— Вниз?

— Тут всего несколько шагов, — прибавил тот, уже стуча в какую-то дверь.

Открыла девушка; они стояли на пороге большой комнаты, почти в темноте, так как только в дальнем левом углу над столом висела жалкая керосиновая лампа.

— Кто с тобой, Барнабас? — спросила девушка.

— Землемер, — сказал он.

— Землемер, — повторила девушка громче в сторону стола.

В ответ там поднялись двое стариков — мужчина и женщина — и еще одна девушка. С К. поздоровались, Барнабас всех ему представил; это были его родители и его сестры, Ольга и Амалия. К. едва взглянул на них; с него стали снимать

мокрую накидку, чтобы высушить у печи, К. позволил снять.

Итак, не оба они дома, а только Барнабас дома. Но почему они здесь? К. отвел Барнабаса в сторону и спросил:

— Почему ты пошел домой? Или ты живешь в пределах Замка?

— В пределах Замка? — повторил Барнабас, будто не понимая К.

— Барнабас, — сказал К., — ты же хотел из трактира идти в Замок.

— Нет, господин, — сказал Барнабас, — я хотел идти домой, я только утром пойду в Замок, я там никогда не ночую.

— Так, — проговорил К., — значит, ты хотел идти не в Замок, а только сюда. — Менее светлой показалась К. его улыбка, менее значительным он сам. — Почему ты мне этого не сказал?

— Ты меня не спрашивал, господин, — ответил Барнабас, — ты хотел мне только дать еще одно поручение, но не в зале и не в твоей комнате, тогда я подумал, что ты мог бы без помех дать мне это поручение здесь, у моих родителей. Они все сейчас же уйдут, если ты прикажешь, и, если тебе у нас больше нравится, ты мог бы здесь и переночевать. Я неправильно сделал?

У К. не было сил отвечать. Так, значит, недоразумение, пошлое, низкое недоразумение, а К. целиком доверился этому человеку. Позволил заворожить себя Барнабасовой узкой, блестящей, как шелк, курткой, которую этот сейчас расстегнул, и под ней показалась грубая, грязно-серая, в многочисленных пятнах рубашка, прикрывавшая могучую квадратную грудь слуги. И все вокруг ему не только соответствовало, но в чем-то даже превосходило его: и старый подагрик-отец, передвигавшийся больше при помощи своих все ощупывавших рук, чем на ногах, которые он медленно подтаскивал не сгибая, и мать со сложенными на груди руками, которая из-за своей толщины тоже могла делать только самые крохотные шажки. Оба, отец и мать, с тех самых пор, как К. вошел, двигались к нему из своего угла, но все еще никак не могли добраться. Сестры, блондинки, похожие друг на друга и на Барнабаса, но с более твердыми, чем у Барнабаса, чертами, высокие, крепкие девушки, обступили пришельца. Они ожидали от К. какого-нибудь приветствия, но он ничего не мог сказать; хотя он считал, что здесь, в деревне, каждый может быть ему полезен — и, по-видимому, так это и было, — но вот именно эти, окружавшие его сейчас люди его со-

вершенно не интересовали. Будь он в состоянии в одиночку одолеть дорогу до трактира, он тут же ушел бы. Возможность пойти с Барнабасом в Замок утром его нисколько не привлекала. Сейчас, ночью, он хотел бы незамеченным проникнуть в Замок вместе с Барнабасом, но с тем Барнабасом, каким он ему представлялся до сих пор, с самым близким ему человеком из всех, кого он здесь встретил и о котором он в то же время думал, что тот куда более важная птица, чем кажется, и гораздо теснее связан с Замком. Но с отпрыском этой семьи, к которой он вполне принадлежал (он уже сидел среди них за столом), с человеком, который — показательная деталь — даже не имел права переночевать в Замке, с ним под руку средь бела дня идти в Замок было невозможно, это была бы смехотворно безнадежная попытка.

К. сел на подоконник с решимостью провести на нем всю ночь и никаких услуг от этой семьи больше не принимать. Люди в деревне, которые его прогоняли или боялись его, казались ему безопаснее, ибо они, по существу, помогали ему держать себя собранным, заставляли его рассчитывать только на свои силы, а такие вот мнимые доброхоты, которые с помощью маленького маскарада приводили его вместо Замка в свою

семью, морочили его — все равно, вольно или невольно, — подтачивали его силы. Его окликнули, приглашая к семейному столу, он даже не повернулся и продолжал сидеть, опустив голову, на своем подоконнике.

Тогда встала Ольга — она была отзывчивее сестры, заметно в ней было и что-то вроде девического смущения, — подошла к К. и попросила его пойти к столу: хлеб и сало уже поданы, а пиво она еще принесет.

— Откуда? — спросил К.

— Из трактира, — сказала она.

Это было К. очень кстати. Он попросил ее пива не приносить, а проводить в трактир его, у него там еще осталась важная работа. Но оказалось, что она собирается идти не так далеко, не в его трактир, а в другой, много ближе, в трактир для господ. Несмотря на это, К. попросил разрешения сопровождать ее; быть может, думал он, там удастся как-нибудь переночевать — что бы ни подвернулось там, он предпочел бы это лучшей кровати здесь, в этом доме. Ольга не ответила сразу, а обернулась назад, к столу, ее брат уже встал, кивнул с готовностью и сказал: «Раз господин этого желает». Его согласие чуть было не заставило К. отказаться от своей просьбы: этот

мог согласиться только на бесполезное. Но так как тут же стал обсуждаться вопрос, пустят ли К. в тот трактир, и все засомневались в этом, то он стал решительно настаивать на том, чтобы тоже пойти, не давая себе труда подыскать для своей просьбы какую-нибудь вразумительную причину: пусть эта семья принимает его таким, какой есть, перед ними он почти не испытывал стыдливости. Немного смущала его только Амалия с ее строгим, прямым, неподвижным, несколько, может быть, даже тупым взглядом.

Во время недолгого пути в трактир (К. висел на Ольге — иного выхода у него не было, и она тащила его почти так же, как до этого ее брат) он узнал, что трактир этот вообще-то предназначен только для господ из Замка, которые, когда у них случаются дела в деревне, там едят и нередко даже ночуют. Ольга говорила с К. негромко и как бы доверительно, идти с ней было приятно, почти как с ее братом. К. боролся с этим уютным ощущением, но оно не проходило.

Трактир по виду был очень похож на тот, в котором жил К. Больших внешних различий в деревенских домах, наверное, вообще не было, но зато маленькие различия замечались сразу: крыльцо было с перилами, над дверью был

прикреплен красивый фонарь. Над их головами, когда они входили, колыхалось какое-то полотнище — это был флаг, покрашенный в графские цвета. В коридоре они сразу же наткнулись на хозяина, очевидно совершавшего обход помещений; маленькими глазками, то ли испытующе, то ли сонно, он посмотрел, проходя мимо, на К. и сказал:

— Господину землемеру можно только до пивной.

— Конечно, — отозвалась Ольга, сразу же вступаясь за К., — он просто меня провожает.

Но К. вместо благодарности освободился от Ольги и отвел хозяина в сторону. Ольга осталась терпеливо ждать в конце коридора.

— Я бы охотно здесь переночевал, — сказал К.

— Это, к сожалению, невозможно, — ответил хозяин. — Вы как будто этого еще не знаете. Наш дом предназначен исключительно для господ из Замка.

— Такова, по-видимому, инструкция, — возразил К., — но оставить меня спать где-нибудь в уголке, конечно же, возможно.

— Я с исключительным удовольствием пошел бы вам навстречу, — сказал хозяин, — но, даже не касаясь строгости инструкции, о которой вы

судите как человек посторонний, это неосуществимо уже потому, что господа до крайности чувствительны, я убежден, что они неспособны, во всяком случае — не готовы вынести вид постороннего человека; поэтому если бы я разрешил вам переночевать здесь и вас из-за какой-нибудь случайности — а случайности всегда на стороне господ — обнаружили, то не только я пропал бы, но и вы тоже. Звучит это смехотворно, но это правда.

Этот высокий, наглухо застегнутый господин, который стоял, уперев одну руку в стену, другую — в бок, скрестив ноги и слегка наклонившись к К., и доверительно с ним беседовал, казался почти не имеющим отношения к этой деревне, несмотря на свою одежду, выглядевшую всего лишь празднично-крестьянской.

— Я вам всецело верю, — заверил К., — и недооценивать значение инструкции — если даже я и выразился неудачно — совсем не собираюсь. Только на одно я хочу еще обратить ваше внимание: у меня есть в Замке весьма полезные связи и будут еще более полезные, они защитят вас от любой опасности, которая могла бы возникнуть из-за моего ночлега здесь, и служат ручательством в том, что я в состоянии полной мерой

отплатить за маленькое одолжение.

— Я знаю, — сказал хозяин и повторил еще раз: — Это я знаю.

К. мог бы сейчас выразить свое желание энергичнее, но именно такой ответ хозяина отвлек его, поэтому он только спросил:

— Сегодня здесь ночует много господ из Замка?

— В этом отношении сегодня довольно благоприятно, — сказал, словно заманивая, хозяин. — На сегодня остался только один господин.

К. все еще не решался настаивать, да и надеялся теперь, что уже почти принят, так что он спросил еще только имя господина.

— Кламм, — небрежно бросил хозяин, оборачиваясь к своей жене, которая подходила, шурша до странности поношенным, старомодным, перегруженным рюшами и сборками, но изысканно городским платьем.

Она пришла за хозяином: господину управляющему что-то понадобилось. Но прежде чем уйти, хозяин обернулся еще раз к К., словно теперь уже не ему, а самому К. предстояло решать вопрос о ночлеге. Но К. ничего не мог сказать; больше всего его смутило то обстоятельство, что здесь оказался именно его начальник. Не будучи в состоянии вполне объяснить это самому себе, он тем не ме-

нее чувствовал, что в отношении Кламма он не так свободен, как в отношении Замка вообще; если бы Кламм застал его здесь, это явилось бы для К. — хоть и не такой трагедией, как изображал хозяин, но все же — некоей болезненной нелепостью, примерно так, как если бы он кому-нибудь, кому он обязан благодарностью, причинил по легкомыслию боль; тяжело угнетало его и то, что в подобных раздумьях уже явно сказывались — он это видел — те последствия подчиненного положения, положения работника, которых он так боялся, и что даже сейчас, когда они выступили так явно, он не в состоянии был справиться с ними. И К. стоял, кусал губы и ничего не говорил. Еще раз перед тем, как исчезнуть за дверью, хозяин обернулся к нему. К. смотрел ему вслед и не двигался с места, пока не подошла Ольга и не утащила его.

— Чего ты хотел от хозяина? — спросила Ольга.

— Я хотел здесь переночевать, — сказал К.

— Ты же у нас ночуешь, — удивленно сказала Ольга.

— Да, разумеется, — отозвался К. и предоставил ей самой истолковать смысл этих слов.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В пивной, большой, совершенно пустой посередине комнате, вдоль стен стояли бочки; вокруг бочек и на них сидели крестьяне, которые, однако, выглядели иначе, чем люди в трактире К. Одежда их была чище и единообразнее: серо-желтые куртки из грубой материи в складках, штаны в обтяжку. Это были низкорослые на первый взгляд, очень похожие друг на друга люди с плоскими, костистыми и в то же время полными лицами. Они молчали и почти не двигались, только их взгляды медленно и равнодушно следовали за вошедшими. Но все же их было так много, и стояла такая тишина, что все это угнетающе действовало на К. Он снова взял руку Ольги, объясняя им таким образом свое присутствие. В углу поднялся какой-то знакомый Ольги и хотел подойти к ней, но К., шедший с ней под руку, повернул ее в другую сторону. Никто, кроме нее, не мог этого заметить, она позволила это, искоса насмешливо взглянув на него.

Пиво разливала молодая девушка по имени Фрида. Невзрачная, маленькая, светловолосая девушка с худощавым лицом и печальными

глазами, но взгляд ее глаз был поразителен — в нем было какое-то особенное превосходство. Она взглянула на К., и ему показалось, что ее взгляд уже проник в такие касавшиеся К. вещи, о существовании которых он сам еще даже не подозревал, но в существовании которых его убеждал этот взгляд. К. не отрываясь смотрел сбоку на Фриду, она в это время уже говорила с Ольгой. Подругами Ольга и Фрида, по-видимому, не были, разговаривали немногословно и холодно. К. захотелось им помочь, и он без вступлений спросил:

— Вы знаете господина Кламма?

Ольга рассмеялась.

— Чего ты смеешься? — сердито спросил К.

— Я вовсе не смеюсь, — сказала она и снова засмеялась.

— Ольга просто еще ребенок, — сказал К. и далеко перегнулся через стойку, чтобы еще раз притянуть к себе взгляд Фриды.

Но она опустила глаза и тихо спросила:

— Вы хотите видеть господина Кламма?

К. подтвердил это. Она указала на дверь, которая была рядом, слева от нее.

— Здесь есть маленький глазок, вы можете туда заглянуть.

— А эти люди? — спросил К.

Она выпятила нижнюю губу и необычайно мягкой рукой потянула К. к двери. Сквозь маленький глазок, просверленный явно для наблюдения, ему была видна почти вся соседняя комната. В центре комнаты, у письменного стола на удобном круглом стуле, резко освещенный свисавшей перед ним электрической лампочкой, сидел господин Кламм. Среднего роста, толстый, грузный господин. Лицо было еще гладкое, но щеки под тяжестью возраста уже немного обвисли. Черные усы торчали в стороны. Косо надетое, поблескивающее пенсне скрывало глаза. Если бы господин Кламм совсем придвинулся к столу, К. видел бы только его профиль, но так как Кламм был сильно развернут к нему, К. смотрел ему прямо в лицо. Левый локоть Кламма лежал на столе, правая рука, в которой у него была виргинская сигара, покоилась на колене. На столе стоял стакан пива; по краю стола шел высокий бортик, и К. не мог разглядеть, лежат ли на столе какие-нибудь бумаги, тем не менее ему казалось, что стол должен быть пустым. Для надежности он попросил Фриду поглядеть в глазок и уточнить, так ли это, но поскольку Фрида недавно была в комнате, то она смогла не глядя подтвердить К., что никаких бумаг там нет. К. спросил Фриду,

должен ли он уже отойти, но она сказала, что он может смотреть, пока ему это не надоест. Они остались теперь с Фридой вдвоем; Ольга, как он мельком отметил, нашла все же дорогу к своему знакомому и теперь сидела на высокой бочке и болтала ногами.

— Фрида, — спросил К. шепотом, — вы господина Кламма очень хорошо знаете?

— О да, — сказала она, — очень хорошо.

Она стояла рядом с К., прислонившись к стене, и игриво — К. только сейчас это бросилось в глаза — оправляла свою легкую, кремового цвета блузку с глубоким вырезом, которая висела как чужая на ее худых плечах. Потом она сказала:

— Разве вы не слышали, как Ольга тут смеялась?

— Да, невежа, — кивнул К.

— Ну, повод смеяться был, — примирительно сказала она. — Вы спросили, знаю ли я Кламма, а я ведь… — здесь она невольно чуть-чуть выпрямилась, и снова ее самоуверенный, совершенно не соответствовавший тому, что говорилось, взгляд скользнул по К., — а я ведь его возлюбленная.

— Возлюбленная Кламма, — повторил К.

Она кивнула.

— Тогда, — сказал К., улыбаясь, чтобы разговор

не сделался слишком уж серьезным, — вы для меня — внушающая почтение персона.

— Не только для вас, — дружелюбно, но не отвечая на его улыбку, сказала Фрида.

У К. было оружие против ее заносчивости — и он применил его; он спросил:

— Вы уже бывали в Замке?

Это, однако, не подействовало, ибо она ответила:

— Нет, но разве не достаточно того, что я здесь, в пивной?

Тщеславие ее было явно несуразно, и, кажется, именно К. должен был послужить его удовлетворению.

— Еще бы, — подтвердил К. — здесь, в пивной, вы ведь исполняете работу хозяина.

— Вот именно, — сказала она, — а начинала я работницей в хлеву, в трактире «У моста».

— С такими нежными руками, — полувопросительно произнес К., не зная сам, только ли он льстит или и в самом деле она привлекает его. Руки у нее были действительно маленькие и нежные, но точно так же их можно было назвать слабыми и безжизненными.

— На это тогда никто не обращал внимания, — вздохнула она, — да и сейчас-то…

К. вопросительно взглянул на нее. Она покачала головой и продолжать не хотела.

— У вас, разумеется, есть свои тайны, — сказал К., — и вы не станете говорить о них с кем-то, кого вы знаете всего полчаса и у кого еще не было случая рассказать вам, что он, собственно, собой представляет.

Но это, как оказалось, было неудачное замечание: он словно пробудил Фриду от какого-то благоприятного для него полусна. Она вынула из кожаного карманчика, висевшего у нее на поясе, маленькую деревяшку, заткнула ею глазок, сказала К. (видно было, как она старается, чтобы он не заметил перемены в ее настроении):

— Что касается вас, то я как раз знаю все, вы — землемер, — потом еще прибавила: — но теперь мне нужно работать, — и пошла к своему месту за стойкой, в то время как в зале то там, то здесь кто-нибудь из сидящих поднимался, чтобы наполнить у нее свой стакан.

К. захотелось, не привлекая внимания, поговорить с ней еще; он взял с какой-то подставки пустой стакан и подошел к ней.

— Еще только одно, фрейлейн Фрида, — сказал он, — это ведь редчайший случай, и исключительная сила нужна для того, чтобы работнице

из хлева выбиться в служанки в пивной; но для такого человека разве достигается тем самым конечная цель? Нелепый вопрос. Ваши глаза — не надо смеяться, фрейлейн Фрида, — говорят не столько о прошлой, сколько о предстоящей борьбе. Но сопротивление мира велико, оно будет тем большим, чем большей будет цель, и нет ничего зазорного в том, чтобы заручиться поддержкой пусть маленького, не имеющего влияния, но, как и вы, борющегося человека. Может быть, мы с вами могли бы как-нибудь поговорить в спокойной обстановке, чтобы на нас не пялились все эти глаза?

— Я не понимаю, чего вы хотите, — сказала она, и на этот раз, казалось, в звуке ее голоса помимо ее воли прозвучала не гордость достигнутыми успехами, а боль бесконечных разочарований. — Или, может быть, вы хотите отбить меня у Кламма? О господи! — и она всплеснула руками.

— Вы видите меня насквозь, — проговорил, словно устав от такого упорного недоверия, К., — именно это было сокровеннейшим моим намерением. Вы должны были оставить Кламма и стать моей возлюбленной. Да, теперь я действительно могу уходить. Ольга! — крикнул К. — Мы идем домой.

Ольга послушно соскользнула с бочки, но не сразу смогла освободиться от окруживших ее друзей. И тогда тихим голосом, с угрозой взглянув на К., Фрида сказала:

— Когда я могу с вами поговорить?

— Можно здесь переночевать? — спросил К.

— Да, — сказала Фрида.

— Можно сразу здесь остаться?

— Уходите с Ольгой, мне надо выставить отсюда этих людей. Потом, через некоторое время, можете прийти.

— Хорошо, — сказал К. и с нетерпением стал ждать Ольгу.

Но крестьяне не отпускали ее, придумав танец, центром которого была Ольга: они устроили вокруг нее хоровод, и при общем крике один из них выскакивал к Ольге, крепко обхватывал ее за талию и несколько раз быстро кружил; хоровод все убыстрялся, крики — жадные, хриплые — постепенно почти слились в один. Ольга, вначале со смехом пытавшаяся прорвать круг, теперь только перелетала с разметавшимися волосами от одного к другому.

— Вот каких людей посылают ко мне, — сказала Фрида и в гневе прикусила тонкие губы.

— Кто они? — спросил К.

— Слуги Кламма, — ответила Фрида. — Каждый раз он приводит с собой этот сброд, одно присутствие которого меня бесит. Я едва понимала, что говорила вам сегодня, господин землемер, — если что-нибудь злое, то простите: это все из-за этих людей, они — самое презренное, самое отвратительное, что я знаю, и я еще должна наливать им пиво в их стаканы. Сколько раз уже я просила Кламма, чтобы он оставлял их дома, хватит с меня слуг других господ, мог бы все-таки считаться со мной, но все просьбы впустую, за час до его появления они уже вваливаются сюда, как скотина в хлев. Но теперь им действительно пора в хлев, где им и место. Не было бы тут вас, я раскрыла бы эту дверь, и Кламму пришлось бы выгонять их самому.

— Разве он их не слышит? — спросил К.

— Нет, — ответила Фрида. — Он спит.

— Как! — воскликнул К. — Он спит? Когда я заглядывал в комнату он же еще не спал и сидел у стола.

— Он и сейчас сидит, — сказала Фрида, — и когда вы на него смотрели, он уже спал. Разве иначе я позволила бы вам заглядывать? Он вообще в таком положении спит; господа очень много спят, это даже трудно понять. Впрочем, если бы он не

спал так много, как бы он мог выносить этих людей? Но теперь мне самой придется их выгонять.

Она схватила из угла кнут и одним высоким, не совсем уверенным прыжком, немного похожим на скачок барашка, прыгнула на танцующих. Они вначале повернулись к ней так, словно появилась новая танцорка, — и в самом деле, одно мгновение казалось, что Фрида сейчас выпустит кнут из рук, но затем она вновь взмахнула им.

— Именем Кламма, — крикнула она, — в хлев! Все — в хлев!

Теперь они увидели, что это всерьез; с каким-то непонятным К. страхом, теснясь, они начали отступать назад, под напором первых распахнулась какая-то дверь, потянуло ночным холодом — и все пропали вместе с Фридой, которая, видимо, погнала их через двор в хлев.

Но теперь в наступившей вдруг тишине К. услыхал шаги в коридоре. Чтобы как-то обезопасить себя, он прыгнул за стойку, под которой было единственное место, где можно было спрятаться. Находиться в пивной ему не было запрещено, но так как он хотел здесь переночевать, то не следовало лишний раз попадаться на глаза. Поэтому, когда дверь в самом деле открылась, он нырнул под стойку. Правда, его могли здесь обнаружить,

и это тоже было небезопасно, но на этот случай у него была не такая уж неправдоподобная отговорка, что он спрятался от обезумевшего стада крестьян. Это был хозяин.

— Фрида, — крикнул он и несколько раз прошелся по комнате.

К счастью, Фрида вскоре пришла, о К. промолчала, пожаловалась только на крестьян и, стремясь защитить К., прошла за стойку. К. мог там коснуться ее ноги и с этого времени чувствовал себя в безопасности. Так как Фрида не упоминала о К., то в конце концов это должен был сделать хозяин.

— А где этот землемер? — спросил он.

Он, по-видимому, вообще был вежливым и, благодаря длительному и сравнительно свободному общению с высокопоставленными лицами, хорошо воспитанным человеком, но с Фридой он разговаривал в каком-то особенно уважительном тоне, это бросалось в глаза прежде всего потому, что, несмотря на уважение, он в разговоре не переставал быть работодателем, говорящим с работником, причем с довольно-таки дерзким работником.

— Про этого землемера я совсем забыла, — сказала Фрида и поставила свою маленькую ногу К.

на грудь. — Он, наверное, уже давно ушел.

— Однако я его не видел, — возразил хозяин, — а был почти все время в коридоре.

— Но здесь его нет, — холодно сказала Фрида.

— Может быть, он спрятался, — предположил хозяин, — судя по впечатлению, которое он на меня произвел, от него можно многого ожидать.

— Ну уж на такую дерзость он, наверное, не решится, — сказала Фрида и сильнее придавила ногой К.

Что-то озорное, вольное было в ее натуре, чего К. сначала совсем не заметил, и это совершенно неожиданно проявилось, когда она вдруг, смеясь, со словами «может быть, он здесь внизу спрятался» нагнулась к К., быстро поцеловала его, снова выпрямилась и огорченно сказала:

— Нет, здесь его нет.

Но повод к удивлению дал и хозяин, сказав:

— Мне очень неприятно, что я не знаю наверное, ушел ли он. Дело не только в господине Кламме, дело в инструкции. А инструкция распространяется на вас, фрейлейн Фрида, в той же мере, что и на меня. За пивную отвечаете вы, остальной дом я еще осмотрю. Спокойной ночи! Желаю хорошо отдохнуть!

Он наверняка не успел еще выйти из комнаты,

а Фрида уже выключила свет и оказалась рядом с К. под стойкой.

— Любимый мой! Любимый, сладкий мой! — шептала она, но даже не прикасалась к К., словно обессилев от любви, лежала она на спине, раскинув руки; наверное, время было бесконечным для ее счастливой любви, она пела — не столько голосом, сколько дыханием — какую-то песенку. Потом вдруг испугалась молчания К., погруженного в свои мысли, и начала теребить его, как ребенок:

— Ну пойдем, тут внизу можно задохнуться!

Они обнялись, маленькое тело горело в руках К.; в беспамятстве, от которого К. непрерывно, но тщетно пытался спастись, они перекатились несколько раз, глухо ударились о дверь Кламма и потом лежали там в лужицах пива и разном мусоре, которым был закидан пол. Там протекли часы — часы, когда соединялось дыхание и соединялись удары сердца, часы, когда К. все время чудилось, будто он или заблудился, или ушел в такую даль чужой страны, где до него не бывал ни один человек, — страны, где даже в воздухе нет ни единой составляющей воздуха родины, где все чужое настолько, что от этого задыхаешься, и где из-за немыслимых соблазнов все же ничего не

можешь сделать и уходишь еще дальше, чтобы заблудиться еще больше. И потому он испытал не страх — по крайней мере сначала, — а утешительное чувство пробуждения, когда глубокий, повелительно-равнодушный голос из комнаты Кламма позвал Фриду.

— Фрида, — сказал К. в ухо Фриды и тем самым передал дальше этот вызов.

Следуя какой-то прямо-таки врожденной привычке к покорности, Фрида хотела вскочить, но потом, очнувшись, вспомнила, где она, потянулась, тихо засмеялась и сказала:

— Но ведь я же не пойду, никогда к нему не пойду.

К. хотел возразить, хотел настоять, чтобы она пошла к Кламму, стал собирать остатки ее блузки, но ничего не смог сказать, слишком счастлив он был, держа Фриду в своих руках, — слишком и счастлив, и испуган, ибо ему казалось, что, если Фрида уйдет от него, с ней уйдет все, что у него есть. И Фрида, словно став сильней от согласия К., сжала руку в кулак, заколотила в дверь и закричала:

— Я с землемером! Я с землемером!

Кламм, разумеется, промолчал, но К. поднялся, встал на колени возле Фриды и в тусклом предут-

реннем свете огляделся вокруг. Что произошло? Где все его надежды? Чего ему ждать от Фриды теперь, когда все раскрыто? Вместо того чтобы осторожнейшими шагами, учитывая масштабы противника и цели, продвигаться вперед, он тут целую ночь катался в пивных лужах; запах пива теперь казался одуряющим.

— Что ты наделала, — пробормотал он. — Мы оба пропали.

— Нет, — сказала Фрида, — только я пропала, зато я получила тебя. Не переживай. Но ты посмотри, как смеются эти двое.

— Кто? — спросил К. и обернулся.

На стойке сидели оба его помощника, немного невыспавшиеся, но очень довольные: это была веселость, которую рождает сознание хорошо исполненного долга.

— Что вам здесь надо! — заорал К. так, как будто это они были во всем виноваты. Он поискал глазами кнут, который был вчера у Фриды.

— Нам же пришлось тебя искать, — ответили помощники, — потому что ты не спустился к нам в залу; мы потом искали тебя у Барнабаса и наконец нашли здесь. Мы сидим здесь всю ночь. Ей-богу, нелегкая служба.

— Вы мне нужны днем, а не ночью, — сказал

К., — вон отсюда.

— Сейчас и есть день, — сказали они и не двинулись с места.

Действительно, уже был день, отворилась дверь, ведущая во двор, и крестьяне с Ольгой, о которой К. совершенно забыл, устремились внутрь. Ольга была так же оживлена, как и накануне, и не обращала внимания на беспорядок в своей одежде и прическе; она была еще в дверях, а ее глаза уже искали К.

— Почему ты не пошел со мной домой? — спросила она, чуть не плача. Потом сказала: — Из-за этой бабы! — и повторила это несколько раз.

Фрида, на минуту исчезнув, возвратилась с маленьким узелком белья. Ольга печально отступила в сторону.

— Ну вот, мы можем идти, — сказала Фрида; было вполне понятно, что она имеет в виду трактир «У моста», в который они должны идти.

Впереди К. с Фридой, за ними — помощники, такова была процессия. Крестьяне всячески выказывали Фриде свое презрение, что было вполне понятно, так как прежде она сурово правила ими; один даже взял палку и сделал вид, что не собирается выпускать ее, пока она через эту палку не перепрыгнет, но одного ее взгляда было

достаточно, чтоб он убрался. На улице в снегу К. вздохнул немного свободнее. Счастье оказаться на воле было так велико, что на этот раз можно было преодолеть и тяготы пути; будь К. один, он шел бы еще бодрее. В трактире он прошел прямо в свою комнату и лег на кровать; Фрида устроила себе постель рядом на полу. Помощники тоже ввалились, были выставлены, но вскоре снова вернулись через окно. К. был слишком утомлен, чтобы выставлять их еще раз. Хозяйка специально пришла наверх поприветствовать Фриду и была ею названа «мамочкой»; произошел обмен непонятно сердечными приветствиями с поцелуями и долгими объятиями. Вообще в этой комнатушке не очень-то давали отдохнуть: то и дело заходили, топая своими мужскими сапогами, выселенные служанки, чтобы что-нибудь принести или взять. Когда им нужно было что-то с заваленной разными вещами кровати, они бесцеремонно выдергивали это из-под К. С Фридой они поздоровались как с равной. Несмотря на эти беспокойства, К. все-таки оставался в кровати весь день и всю ночь. Фрида заботливо оказывала ему мелкие услуги. Когда на следующее утро он, очень посвежевший, наконец встал, шел уже четвертый день его пребывания в деревне.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ему хотелось откровенно поговорить с Фридой, но помощники, с которыми, впрочем, Фрида время от времени шутила и смеялась, мешали ему уже одним своим назойливым присутствием. Правда, они были нетребовательны: устроились в углу, постелив на пол две старые юбки. Они гордились (и неоднократно принимались обсуждать это с Фридой) своим стремлением не мешать господину землемеру и занимать как можно меньше места; для этого они предпринимали разнообразные попытки, сопровождавшиеся, правда, бесконечным перешептыванием и хихиканьем, поджимали руки и ноги, сплетались вместе, и в сумерках в их углу можно было разглядеть только один большой клубок. Однако из опыта событий, происшедших при дневном свете, было, к сожалению, известно, что это очень внимательные наблюдатели, которые все время смотрят в сторону К., — и когда они вроде бы по-детски балуются, например составляют руки в виде подзорной трубы или вытворяют еще что-нибудь столь же бессмысленное, и когда только взглядывают в его сторону, а в основном,

кажется, поглощены уходом за своими бородами, о которых они очень заботились и которые бесчетное число раз сравнивали по длине и густоте, призывая в судья Фриду. К. со своей кровати часто наблюдал за возней этих троих, оставаясь совершенно равнодушным.

Когда он наконец почувствовал себя достаточно сильным, чтобы покинуть кровать, все бросились его обслуживать. Защищаться от их услуг он не мог, столь сильным он еще не был; он понимал, что из-за этого попадает в определенную зависимость от них и это может иметь плохие последствия, но ничего не мог поделать. К тому же это не было так уж совсем неприятно — пить хороший кофе, принесенный Фридой, греться у печки, затопленной Фридой, по десять раз гонять вниз и вверх по лестнице усердных и косоруких помощников за водой для умывания, за мылом, гребнем, зеркалом и, наконец, — поскольку К. всего лишь негромко высказал некое пожелание, которое могло быть так истолковано, — еще и за стаканчиком рома.

Среди всего этого повелевания и обслуживания К. скорее в приливе благодушия, чем надеясь на какой-то результат, сказал:

— Вы теперь убирайтесь, оба, мне пока больше

ничего не нужно, и я хочу поговорить с фрейлейн Фридой наедине. — И, не увидев на их лицах немедленного протеста, добавил еще, вознаграждая их: — Мы потом втроем пойдем к старосте общины, ждите меня внизу, в зале.

Они, как ни странно, подчинились и только перед тем, как выйти, сказали:

— Мы могли бы и здесь подождать.

И К. ответил:

— Я это знаю, но я этого не желаю.

К. было досадно — но в некотором смысле все-таки и приятно, когда Фрида, которая сразу же после ухода помощников села к нему на колени, сказала:

— Что ты имеешь против этих помощников, любимый? Нам незачем иметь от них тайны. Они — верные.

— Ах, верные, — повторил К. — Они подглядывают за мной каждую минуту, это бессмысленно, но отвратительно.

— Мне кажется, я понимаю тебя, — сказала она, и повисла у него на шее, и хотела еще что-то сказать, но не могла больше говорить.

И так как стул стоял совсем рядом с кроватью, они качнулись в ту сторону и упали на кровать. Они лежали там, но не было того самозабвения,

как тогда, ночью. Она чего-то искала, и он чего-то искал — яростно, с искаженными лицами, вжимаясь головой в грудь другого, искали они, и их объятия, и их корчившиеся тела не только не заставляли забыть, но напоминали им об обязанности искать; как собаки отчаянно роются в земле, так рылись они в телах друг друга, и — беспомощно, разочарованно, подбирая последние крохи счастья, пробегал временами язык одного из них по лицу другого. Лишь усталость принесла им покой и благодарность друг другу. А потом опять наверх пришли служанки. «Смотри, как лежат тут эти», — сказала одна и из жалости набросила на них какой-то платок.

Когда позднее К. выбрался из-под платка и огляделся, помощники — это его не удивило — были снова в своем углу; указывая на К. пальцами, они призывали один другого к серьезности и отдавали честь, но, кроме этого, у самой кровати сидела хозяйка и вязала чулок — мелкая работа, мало ей подходившая при ее гигантской, почти затемнявшей комнату фигуре.

— Я уже давно жду, — сказала она и подняла свое широкое, изрезанное старческими морщинами, но в основной своей массе все-таки еще гладкое, возможно, когда-то красивое лицо.

Слова прозвучали как упрек — и упрек неуместный, ибо К. совсем не просил, чтобы она приходила. Поэтому он только покивал головой, подтверждая ее слова, и сел на кровати. Фрида тоже поднялась, но оставила К. и прислонилась к стулу хозяйки.

— Нельзя ли, госпожа хозяйка, — проговорил К. рассеянно, — то, что вы хотите мне сказать, отложить до моего возвращения от старосты общины. У меня там важный разговор.

— Этот — важнее, поверьте мне, господин землемер, — сказала хозяйка, — там, видимо, речь пойдет только о какой-то работе, а здесь речь идет о человеке, о Фриде, о моей любимой девочке.

— Ах вот как, — сказал К., — тогда — конечно; я только не знаю, почему бы не оставить это дело нам двоим.

— Потому что люблю, потому что забочусь, — объяснила хозяйка и притянула к себе голову Фриды, которая стоя доставала лишь до плеча сидящей хозяйке.

— Раз Фрида питает к вам такое доверие, — сказал К., — то мне тоже ничего другого не остается. И поскольку Фрида совсем недавно назвала моих помощников верными, то все мы здесь просто друзья. Следовательно, я могу вам, госпожа хо-

зяйка, сказать, что считал бы за лучшее, если бы я и Фрида поженились, и причем в ближайшее время. К сожалению, к большому сожалению, я не смогу этим возместить Фриде то, что она из-за меня потеряла, — ее положение в господском трактире и дружбу Кламма.

Фрида подняла голову, глаза ее были полны слез, ни следа победоносного выражения не было в них.

— Почему я? Почему именно я выбрана для этого?

— Как? — спросили К. и хозяйка одновременно.

— Она запуталась, бедный ребенок, — сказала хозяйка, — запуталась, оттого что свалилось сразу слишком много счастья и несчастья.

И Фрида, словно в подтверждение этих слов, бросилась к К., стала неистово целовать его, как будто никого, кроме них, в комнате не было, и потом, плача и все еще обнимая его, упала перед ним на колени. К., обеими руками гладя волосы Фриды, спросил хозяйку:

— Вы, кажется, одобряете мои намерения?

— Вы — человек чести, — сказала хозяйка. В ее голосе тоже дрожали слезы, она выглядела несколько поникшей и тяжело дышала; тем

не менее она еще нашла в себе силы сказать: — Теперь осталось только обсудить некоторые гарантии, которые вы должны дать Фриде, потому что, как бы ни было теперь велико мое уважение к вам, вы все же человек чужой, поручиться за вас никто не может, ваше семейное положение здесь неизвестно. Гарантии, таким образом, нужны, вы с этим согласитесь, дорогой господин землемер, вы ведь сами заметили, сколько Фрида из-за связи с вами все-таки и теряет.

— Конечно, гарантии, естественно, — сказал К., — гарантии, которые, видимо, лучше всего будет дать в присутствии нотариуса, но, уж наверное, вмешаются и другие графские инстанции. Впрочем, у меня тоже есть кое-что, что я обязательно должен сделать еще до свадьбы. Я должен поговорить с Кламмом.

— Это невозможно, — сказала Фрида, приподнялась немного и прижалась к К., — что за мысль!

— Это необходимо, — заявил К. — Если мне самому невозможно этого добиться, тогда это должна устроить ты.

— Я не могу, К., я не могу, — сказала Фрида, — никогда Кламм не будет говорить с тобой. Как ты только мог подумать, что Кламм будет с тобой говорить!

— А с тобой бы он стал говорить? — спросил К.

— Тоже нет, — сказала Фрида, — ни с тобой, ни со мной — это заведомо невозможно. — Она повернулась к хозяйке и развела руками: — Вы только подумайте, госпожа хозяйка, чего он требует.

— Своеобразный вы человек, господин землемер, — проговорила хозяйка; ужасно было то, как прямо она теперь сидела, расставив ноги с выпиравшими под тонкой юбкой могучими коленями. — Вы требуете невозможного.

— Почему это невозможно? — спросил К.

— Это я вам объясню, — сказала хозяйка таким тоном, словно ее объяснение было не столько последней любезностью, сколько уже первым наказанием, которое она ему определяла, — это я вам охотно объясню. Я, правда, не принадлежу к Замку, я всего лишь женщина, и всего лишь хозяйка — здесь, в трактире последнего разряда (он не последнего разряда, но недалеко от этого), так что, может быть, вы моим объяснениям не придадите большого значения, но я всю жизнь держала глаза раскрытыми, и сталкивалась со многими людьми, и всю тяжесть хозяйства несла одна, потому что мой муж, хотя он и хороший мальчик, но — не хозяин, и что такое ответ-

ственность — ему никогда не понять. Вы вот, например, обязаны только его небрежности (я тогда к вечеру уже устала так, что с ног валилась) тем, что находитесь здесь, в деревне, что сидите здесь, на кровати, в тепле и покое.

— Как? — спросил, очнувшись от некоторой задумчивости, К., разбуженный скорей любопытством, чем раздражением.

— Только его небрежности обязаны вы этим! — крикнула еще раз хозяйка, наставив на К. указательный палец.

Фрида пыталась ее успокоить.

— Что тебе надо? — сказала хозяйка, круто поворачиваясь всем телом. — Господин землемер меня спросил, я должна ему ответить. Как же иначе он поймет то, что для нас само собой понятно, — что господин Кламм никогда не станет говорить с ним — что я говорю «не станет», никогда не сможет говорить с ним. Послушайте, господин землемер! Господин Кламм — это господин из Замка, одно это само по себе, даже независимо от его положения, уже означает очень высокий ранг. Ну а что такое вы, чьего согласия на брак мы так униженно домогались! Вы — не из Замка, вы — не из деревни, вы — ничто. К сожалению, вы все-таки нечто: чужак, который вечно путается у

всех под ногами, от которого постоянно неприятности, из-за которого нужно выселять служанок, намерения которого неизвестны, чужак, который совратил нашу маленькую любимицу Фриду и которому приходится, к сожалению, отдавать ее в жены. В сущности, за все это я вас и не упрекаю. Вы такой, какой вы есть, а я за свою жизнь слишком много всякого повидала, чтобы не суметь выдержать еще и это. Но вы хоть представляете себе, чего вы на самом деле требуете? Чтобы такой человек, как Кламм, говорил с вами! Мне больно было слышать, что Фрида позволила вам в глазок-то заглянуть; уже когда она это делала, она была совращена вами. Да скажите, как вы вообще выдержали вид Кламма? Можете не отвечать, я знаю, вы очень хорошо его выдержали. Вы ведь даже не способны по-настоящему увидеть Кламма — это не мое преувеличение, потому что я и сама на это не способна. Чтобы Кламм разговаривал с вами, когда он не разговаривает даже с людьми из деревни: еще никогда не случалось, чтобы он сам разговаривал с кем-нибудь из деревни. Это же было истинно великим отличием для Фриды, — отличием, которым я буду гордиться до конца моих дней, — что он регулярно произносил по крайней мере имя Фриды, и что она могла

обращаться к нему когда хотела, и разрешение на глазок получила, но разговаривать — он и с ней не разговаривал. А что он иногда звал Фриду, так это совсем не обязательно должно иметь то значение, которое хотелось бы этому приписать; он называл просто имя «Фрида» — кто знает его намерения? Что Фрида, естественно, немедленно приходила — это было ее дело, а что она без возражений допускалась к нему — это была доброта Кламма, но что он ее именно звал, утверждать нельзя. Правда, теперь и то, что было, ушло навсегда. Может быть, Кламм еще будет называть имя «Фрида», это возможно, но допущена к нему она, девушка, которая путалась с вами, уже наверняка не будет. И только одного, только одного не может понять бедная моя голова: чтобы девушка, про которую говорят, что она — возлюбленная Кламма (я, впрочем, считаю, что это очень преувеличенное обозначение), разрешила вам хотя бы только дотронуться до себя.

— Конечно, это удивительно, — сказал К. и привлек Фриду к себе на колени (Фрида, не поднимая, правда, головы, тотчас подчинилась), — но это, я полагаю, доказывает, что и в остальном не все обстоит в точности так, как вы полагаете. Так, например, вы, конечно, правы, говоря,

что в сравнении с Кламмом я — ничто, и если я теперь и настаиваю на разговоре с Кламмом, и если даже ваши объяснения не заставили меня отказаться от этого намерения, то это еще не значит, что я способен хотя бы выдержать — без разделяющей двери — вид Кламма и что я не удеру из комнаты уже при его появлении. Но подобное, пусть даже оправданное опасение еще не является для меня настолько существенным, чтобы я не отважился тем не менее на это дело. Если же мне удастся устоять перед ним, то уже совершенно необязательно, чтобы он со мной говорил, — мне достаточно увидеть впечатление, которое произведут на него мои слова; если же они не произведут на него никакого впечатления или он вообще не станет их слушать, то все-таки моим достижением будет то, что я свободно говорил перед лицом могущественного человека. Вы же, госпожа хозяйка, с вашим обширным знанием жизни и людей, и Фрида, еще вчера бывшая возлюбленной Кламма, — я не вижу причин отказываться от этого слова — конечно же, легко сможете организовать мне этот разговор с Кламмом; если нет другого варианта — то прямо в господском трактире, может быть, он и сегодня еще там.

— Это невозможно, — сказала хозяйка, — и я вижу, что вы просто не способны постичь это. Но о чем, скажите на милость, хотите вы говорить с Кламмом?

— О Фриде, естественно, — сказал К.

— О Фриде? — недоуменно спросила хозяйка и повернулась к Фриде: — Ты слышишь, Фрида, он, *он* хочет говорить с Кламмом, с *Кламмом* о тебе.

— Ах, — сказал К., — госпожа хозяйка, вы такая умная, такая внушающая почтение женщина — и пугаетесь всякой мелочи. Ну да, я хочу говорить с ним о Фриде, и это отнюдь не что-то такое сверхчудовищное, а напротив, нечто само собой разумеющееся. Потому что вы, кстати, наверняка заблуждаетесь, если думаете, что Фрида с того самого момента, как появился я, потеряла для Кламма всякое значение. Вы недооцениваете его, если вы так думаете. Я прекрасно понимаю, что пытаться поучать вас в этом отношении с моей стороны самонадеянно, но я все же вынужден делать это. Из-за меня в отношениях Кламма и Фриды ничего не могло измениться. Либо никаких серьезных отношений вообще не существовало (это, собственно, и говорят те, которые отказывают Фриде в почетном звании возлюбленной), ну тогда их и сегодня не существует,

либо они все-таки существовали, и как мог бы тогда я, ничто — как вы правильно заметили — в глазах Кламма, как мог бы тогда я нарушить их. В такие вещи веришь в первый момент испуга, но если хоть чуть-чуть задуматься, все станет на свои места. Впрочем, пусть и Фрида выскажет все-таки свое мнение по этому поводу.

Прижимаясь щекой к груди К. и устремив блуждающий взгляд вдаль, Фрида сказала:

— Все, конечно, так, как говорит мамочка: Кламм не захочет больше меня знать. Но, правда, не из-за того, что ты, любимый, появился, ничто такое не могло бы его потрясти. Я даже думаю, что это, наверное, его работа, — что мы соединились там под стойкой, не проклят — благословен будь тот час.

— Если это так, — медленно проговорил К., ибо сладки были слова Фриды, и он на несколько секунд прикрыл глаза, чтобы проникнуться ими, — если это так, то еще меньше оснований бояться беседы с Кламмом.

— Ей-богу, — сказала хозяйка и посмотрела на К. сверху вниз, — вы иногда напоминаете мне моего мужа: он упрямый ребенок, и вы такой же. Вы здесь несколько дней и уже хотите все знать лучше, чем те, кто здесь родился, лучше, чем я,

старая женщина, и лучше, чем Фрида, которая столько видела и слышала в господском трактире. Я не отрицаю, что возможно иногда чего-то достичь и вопреки инструкциям и обычаям — мне ничего подобного пережить не довелось, но как будто есть такие примеры, — может быть; но тогда делают это, конечно, не так, как вы, и этого не добиваются, если говорят только «нет, нет», и все своим умом хотят, и самых добрых советов не слушают. Вы что думаете, что мои заботы — о вас? Беспокоилась я о вас, пока вы один были? — хотя, пожалуй, стоило бы, многого можно было бы избежать. Единственное, что я тогда сказала о вас моему мужу, было: «Держись от него подальше». Я бы и по сей день так и поступала, если бы в вашу судьбу не оказалась впутана Фрида. Ей вы обязаны — нравится вам это или нет — моей заботливостью, да и вообще тем, что я обратила на вас внимание. И вы не смеете просто отмахиваться от меня, потому что вы передо мной, единственной, кто с материнской заботой присматривает за маленькой Фридой, строго ответственны. Возможно, Фрида права, и все, что произошло, произошло по воле Кламма, но о Кламме я сейчас ничего не знаю, я никогда не буду с ним разговаривать, он мне

совершенно недоступен, а вот вы сидите здесь и держите мою Фриду, и вас — почему я должна это замалчивать? — содержать буду я. Да, я буду содержать, потому что попробуйте-ка, молодой человек, если я вот выставлю вас за порог, найти где-нибудь в деревне пристанище, хотя бы и в собачьей конуре.

— Спасибо, — поблагодарил К., — сказано откровенно, и я вполне вам верю. Значит, мое положение так ненадежно — и в связи с этим также и положение Фриды.

— Нет! — не слушая дальше, яростно крикнула хозяйка. — Положение Фриды не имеет в этом отношении вообще ничего общего с вашим. Фрида принадлежит к моему дому, и никто не имеет права называть ее положение здесь ненадежным.

— Хорошо, хорошо, — сказал К., — я согласен с вами и в этом, в особенности потому, что Фрида по неизвестным мне причинам, кажется, слишком вас боится, чтобы вмешиваться. Так что остановимся пока только на мне. Итак, мое положение в высшей степени ненадежно, вы не только этого не оспариваете, но, напротив, стараетесь это доказать. Как и все, что вы говорите, это тоже лишь большей частью правильно, но

не целиком. Так, например, я знаю одно вполне хорошее место, где я могу переночевать.

— Где это? Где это? — крикнули Фрида и хозяйка обе одновременно, и так жадно, как будто у них была одна и та же причина задать этот вопрос.

— У Барнабаса, — сказал К.

— Негодяи! — воскликнула хозяйка. — Отъявленные негодяи! У Барнабаса! Вы послушайте, — и она обернулась к углу, но помощники уже давно вышли оттуда и стояли, взявшись за руки, за спиной хозяйки, которая теперь, будто нуждаясь в опоре, схватила руку одного из них, — вы послушайте, где ошивается этот господин, — в семье Барнабаса! Разумеется, там он получит ночлег. Ах, уж лучше бы он там ночевал, чем в господском трактире. Но вы-то где были?

— Госпожа хозяйка, — сказал К. прежде, чем помощники успели ответить, — это мои помощники, вы же обращаетесь с ними так, как если бы они были вашими помощниками, а моими сторожами. Что касается всего прочего, я готов почтительнейшим образом, по крайней мере, обсуждать ваши мнения, в отношении же моих помощников — нет, потому что здесь все даже слишком ясно! Я прошу вас поэтому с моими помощниками не разговаривать, и, если моей

просьбы окажется недостаточно, я запрещу моим помощникам вам отвечать.

— Мне уже нельзя с вами разговаривать, — снова оглянулась хозяйка, и все трое засмеялись; хозяйка — насмешливо, но намного добрее, чем ожидал К., помощники — многозначительно и незначаще, в своей обычной, снимающей всякую ответственность манере.

— Ты только не сердись, — сказала Фрида, — ты должен правильно понять наше беспокойство. Если уж на то пошло, то только благодаря Барнабасу мы теперь принадлежим друг другу. Когда я тебя первый раз увидела в пивной — ты вошел, цепляясь за Ольгу, — я, правда, уже кое-что о тебе знала, но в общем ты был мне совершенно безразличен. Да и не только ты был мне безразличен — почти все, почти все было мне безразлично. Я ведь была уже тогда многим недовольна, и многое злило меня, но что это было за недовольство и что за злость! Меня, например, оскорбляло присутствие одного из посетителей в пивной, они же вечно преследовали меня — ты видел там этих типов, а приходили еще и похуже, слуги Кламма были не самые худшие, — так вот, один из них оскорблял меня, но какое это имело для меня значение? Мне казалось, что это было много

лет назад, или что это было вообще не со мной, или будто я только слышала рассказ об этом, или будто я сама это уже забыла. Но я не могу этого описать, я даже не могу теперь представить себе это, так все переменилось с тех пор, как Кламм меня оставил…

Фрида прервала свой рассказ и печально опустила голову; ее сложенные руки лежали на коленях.

— Видите, — крикнула хозяйка, и сделала это так, как будто говорила не сама, а только одалживала Фриде свой голос; она к тому же пододвинулась и сидела теперь совсем вплотную к Фриде, — видите теперь, господин землемер, последствия ваших поступков? И ваши помощники, с которыми мне уже нельзя разговаривать, пусть тоже полюбуются, им наука будет! Вы вырвали Фриду из счастливейшего состояния, какое ей когда-либо выпадало, и удалось вам это прежде всего потому, что Фрида с ее по-детски преувеличенным состраданием не могла вынести того, что вы так висели на Ольге и, казалось, совсем были отданы в руки барнабасовской семьи. Она спасла вас и при этом пожертвовала собой. И теперь, когда это произошло и Фрида обменяла все, что имела, на счастье сидеть у вас на коленях, — те-

перь являетесь вы и заходите с вашего большого козыря: видите ли, вам один раз могли разрешить переночевать у Барнабаса. Этим вы, очевидно, хотите доказать, что вы от меня независимы. Да уж, если бы вы действительно переночевали у Барнабаса, вы бы стали от меня так независимы, что вам пришлось бы тотчас же и притом самым наибыстрейшим способом покинуть мой дом.

— Я не знаю прегрешений барнабасовской семьи, — сказал К., при этом осторожно приподнял и усадил на кровать Фриду, которая была как неживая, и встал сам, — возможно, вы здесь и правы, но совершенно определенно был прав я, когда я просил оставить наши, мои и Фриды, дела нам двоим. Вы помянули тогда что-то вроде любви и заботы, но потом я этого как-то не очень много заметил — зато в избытке ненависти, и издевок, и разговоров о выселении. Если вы пытались заставить Фриду отказаться от меня или меня от Фриды, то это было довольно-таки ловко сделано, и тем не менее вам это, я полагаю, не удалось; если же это вам все-таки удастся, то вы об этом — позвольте уж и мне разок туманную угрозу — горько пожалеете. Что касается жилья, которое вы мне предоставляете (вы можете при этом подразумевать только эту гнусную дыру),

то совершенно неочевидно, что вы это делаете по собственной воле, отнюдь, — по-видимому, на этот счет имеется указание графских инстанций. Так вот: я сообщу им, что отсюда мне предложено съехать, и если мне тогда предоставят другую квартиру, то вы, вероятно, вздохнете с облегчением, но я — с еще большим. А теперь я иду — по этому и по другим делам — к главе общины; пожалуйста, позаботьтесь по крайней мере о Фриде, которую вы вашими так называемыми материнскими заботами достаточно довели. — Затем он повернулся к помощникам. — Пошли! — сказал он, снял с крючка письмо Кламма и двинулся к выходу.

Хозяйка молча наблюдала за ним; только когда он уже взялся за ручку двери, она сказала:

— Господин землемер, я скажу вам на дорожку еще кое-что, потому что какие бы речи вы тут ни вели и как бы вы меня ни оскорбляли, — меня, старую женщину, все же вы — будущий муж Фриды. Только поэтому я скажу вам, что ваше незнание всего, что касается здешних условий, ужасающе; голова идет кругом, как послушаешь вас, что вы говорите и думаете, и мысленно сравнишь это с действительным положением. Поправить этого сразу нельзя, а может быть, и

вообще нельзя, но многое можно было бы поправить, если бы вы мне хоть чуть-чуть поверили и об этом вашем незнании все время помнили. Вы, например, сразу стали бы справедливее ко мне относиться и начали хотя бы догадываться, какой ужас я испытала (и последствия этого ужаса еще продолжают сказываться), когда я узнала, что моя самая любимая малышка оставила, можно сказать, орла и связалась со слепым котенком; а ведь действительное соотношение еще намного хуже, и я должна все время заставлять себя забывать об этом, иначе я ни одной минуты не могла бы говорить с вами спокойно. Ах, ну вот вы опять злитесь. Нет, не уходите, послушайте еще только одну просьбу: куда бы вы ни пошли, помните все время о том, что вы ничего здесь не знаете, и будьте осторожны; здесь, у нас в доме, присутствие Фриды защищает вас от неприятностей, и вы можете потом болтать все, что вам вздумается, здесь вы можете потом изобразить нам, к примеру, как вы намереваетесь говорить с Кламмом, только на самом деле, только на самом деле, пожалуйста, пожалуйста, не делайте вы этого.

Она встала, подошла, чуть пошатываясь от волнения, к К., схватила его руку и просительно взглянула на него.

— Госпожа хозяйка, — сказал К., — я не понимаю, почему из-за такого дела, как это, вы унижаетесь до того, чтобы просить меня. Если говорить с Кламмом для меня, как вы утверждаете, невозможно, так я этого и не добьюсь, просят меня или нет. Если же это все ж таки возможно, то почему тогда я не должен этого делать, тем более что тогда с отпадением вашего главного возражения и другие ваши опасения станут очень сомнительны. Разумеется, знать — я ничего не знаю, это, во всяком случае, остается справедливым, и это очень печально для меня, но, однако же, в этом есть то преимущество, что незнающий на большее отваживается, и поэтому я охотно готов нести бремя этого незнания и его, конечно, скверных последствий еще некоторое время, пока хватит сил. Но все же последствия эти затрагивают, в сущности, только меня, и это главное, что мешает мне понять, почему вы просите. О Фриде вы ведь, конечно, все так же будете заботиться, и исчезни я с горизонта Фриды совершенно, в вашем понимании это ведь может означать только счастье. Так чего же вы боитесь? Уж не боитесь ли вы, чего доброго, — незнающему ведь все кажется возможным, — тут К. уже открыл дверь, — уж не боитесь ли вы, чего добро-

го, за Кламма?

Хозяйка молча смотрела ему вслед, как он сбегал вниз по лестнице, а за ним следовали помощники.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Предстоящие переговоры со старостой общины мало беспокоили К., чему он сам почти удивлялся. Он пытался найти оправдание в том, что, исходя из предшествующего опыта, официальные отношения с графскими инстанциями были для него очень просты. Это объяснялось, с одной стороны, тем, что относительно обращения с ним была, очевидно, раз и навсегда дана некая, внешне очень для него благоприятная установка, а с другой стороны, это объяснялось достойным удивления единством замковых служб, и в особенности там, где его как будто и не было, оно представлялось особенно совершенным. Временами, когда он размышлял только об этих вещах, К. был недалек от того, чтобы счесть свое положение удовлетворительным, хотя после таких приступов благодушия он всякий раз торопился сказать себе, что именно в этом и заключена опасность.

Непосредственные отношения с инстанциями были действительно не слишком тяжелы, потому что эти инстанции, как бы там хорошо они ни были организованы, должны были во имя

далеких, чуждых им господ защищать далекие, чуждые им интересы, в то время как К. боролся за самое животрепещущее и близкое, за самого себя, да еще — по крайней мере в первое время — по собственной воле, ибо он был нападающей стороной; и не только он один боролся за себя, но, очевидно, еще и другие силы, которых он не знал, но о существовании которых он, судя по мерам, предпринимавшимся инстанциями, мог догадываться. Однако же эти инстанции — тем, что с самого начала они в несущественных вещах (о большем пока речи не было) во многом шли К. навстречу — отнимали у него возможность маленькой, легкой победы, а вместе с этой возможностью также и соответственную удовлетворенность, и вытекающую из нее надежно обоснованную уверенность в себе для дальнейшей, более масштабной борьбы. Вместо этого они позволяли К. — правда, только в пределах деревни — проскальзывать куда он только хотел, и этим изнеживали и ослабляли его, исключали здесь вообще всякую борьбу, зато переносили ее в неофициальную, совершенно невыясненную, смутную, чуждую ему жизнь. При таком положении, если он не будет постоянно начеку, вполне может случиться, что когда-нибудь, несмотря

на все любезности инстанций и несмотря на безупречное исполнение всех (столь чрезмерно легких) служебных обязанностей, он, обманутый выказанной ему мнимой благосклонностью, поведет другую свою жизнь так неосмотрительно, что на чем-нибудь сорвется, и тогда они, все так же мягко и дружелюбно, словно бы против своей воли, а лишь по обязанности, во имя поддержания какого-то неизвестного ему общественного порядка, придут, чтобы убрать его с дороги. Но что это, собственно, такое здесь, эта другая жизнь? Никогда еще К. не видел, чтобы служба и жизнь были переплетены так тесно, как здесь, — так тесно, что иногда могло показаться, будто служба и жизнь поменялись местами. Что значила, к примеру, эта до сих пор лишь формальная власть, которую Кламм осуществлял над К. по службе, в сравнении с той совершенно реальной властью, которую Кламм имел в каморке, где К. спал? И получалось, что легкомысленное в какой-то мере поведение, некая расслабленность были здесь уместны только непосредственно по отношению к инстанциям, тогда как в остальном все время нужно было держаться очень осторожно и оглядываться по сторонам перед каждым шагом.

Посещение старосты поначалу очень укрепило

К. в его мнении о местных инстанциях. Староста, приветливый, толстый, гладковыбритый человек, был болен — у него был тяжелый приступ подагры — и принял К., не вставая с постели.

— Вот, стало быть, и наш господин землемер, — сказал он, хотел приподняться для приветствия, но осуществить намерения не смог и снова рухнул на подушки, извиняющимся жестом указывая на свои ноги.

Тихая женщина (в сумрачном свете, проникавшем сквозь маленькие и еще затемненные занавесками окна, она казалась почти тенью) принесла К. стул и поставила у кровати.

— Садитесь, садитесь, господин землемер, — пригласил староста, — и выскажите мне ваши желания.

К. зачитал вслух письмо Кламма, присовокупив к нему кое-какие замечания. Снова у него появилось ощущение необычной легкости контактов с инстанциями. На них можно валить все на свете, они готовы нести прямо-таки любую ношу, и при этом тебя даже не трогают и ты остаешься на свободе. Староста, как будто тоже по-своему почувствовав это, беспокойно пошевелился в постели. Наконец он сказал:

— Я, господин землемер, как вы, конечно, заме-

тили, обо всем этом знал. То, что я сам еще ничего не предпринял, объясняется, во-первых, моей болезнью и далее тем, что вы так долго не приходили; я уже подумал, что вы все это дело бросили. Но теперь, раз вы оказались столь любезны, что сами разыскали меня, я должен, конечно, сказать вам всю неприятную правду. Вы приняты, как вы говорите, в качестве землемера, но, к сожалению, нам не требуется землемер. Для него здесь не было бы ни малейшей работы. Границы наших маленьких хозяйств размечены, все надлежащим образом зарегистрировано. Переходов владений из рук в руки, можно сказать, не бывает, а маленькие споры из-за границ мы улаживаем сами. Так для чего нам землемер?

Хотя К. и не обдумывал этого заранее, но в глубине души он был убежден, что ему следует ждать подобного сообщения. Именно поэтому он смог сразу сказать:

— Это чрезвычайно поражает меня. Это опрокидывает все мои расчеты. Мне остается только надеяться, что произошло недоразумение.

— К сожалению, нет, — сказал староста, — все обстоит именно так, как я сказал.

— Но как это может быть! — воскликнул К. — Я же не для того проделал это бесконечное путеше-

ствие, чтобы меня теперь отправили обратно!

— Это — другой вопрос, который я решать не уполномочен, но как это недоразумение могло произойти, я, конечно, могу вам объяснить. В таком большом аппарате, как графский, может когда-то случиться, что один отдел отдает одно распоряжение, а другой — другое; ни один не знает о другом, контроль вышестоящих органов, хотя он и предельно строгий, но в силу своей природы осуществляется с опозданием, и таким образом может все-таки возникнуть какая-то маленькая путаница. Правда, это всегда только самые ничтожнейшие мелочи, такие, например, как ваш случай. В серьезных вещах мне пока еще ни одной ошибки не известно, но и мелочи часто бывают достаточно неприятны. Что же касается вашего случая, то я не собираюсь делать из него служебной тайны, я для этого еще не настолько чиновник, я крестьянин, крестьянином и остаюсь, и прямо изложу вам весь ход событий. Много лет назад (я тогда только несколько месяцев как стал старостой) пришло предписание, — уж не помню из какого отдела, — в котором в свойственном этим господам категорическом тоне сообщалось, что должен быть приглашен землемер и что общине вменяется в обязанность

подготовить все необходимые для его работы планы и чертежи. Это предписание, естественно, не может касаться вас, так как это было очень давно, и я бы и не вспомнил о нем, если бы не был сейчас болен и не имел достаточно времени, чтобы, лежа в кровати, размышлять о забавнейших вещах. Мицци, — сказал он, неожиданно перебив свой отчет, женщине, которая все время сновала по комнате, занимаясь чем-то непонятным, — поищи-ка, пожалуйста, в шкафу, может быть, ты найдешь предписание. Это ведь было в первые месяцы службы — пояснил он К., — я тогда еще все сохранял.

Женщина немедленно открыла шкаф; К. и староста наблюдали. Шкаф был до отказа набит бумагами. Когда его открыли, две большие связки документов — они были округлые, как вязанки дров, — выкатились наружу; женщина испуганно отскочила.

— Внизу оно должно быть, внизу, — сказал староста, руководя из кровати.

Женщина, загребая двумя руками охапки документов, начала послушно выбрасывать все из шкафа, чтобы добраться до бумаг внизу. Бумаги устилали уже полкомнаты.

— Много работы проделано, — сказал, кивая,

староста, — и это только малая часть. Основную массу я держу в сарае, впрочем, большая часть уже пропала. Кто все это может сохранить! Но в сарае еще очень много. Ты сможешь найти предписание? — Он снова повернулся к своей жене. — Ты ищи бумагу, на которой подчеркнуто синим слово «землемер».

— Здесь слишком темно, — сказала женщина, — я возьму свечу.

И она по бумагам пошла из комнаты.

— Моя жена, — продолжал староста, — большая опора мне в этой тяжелой служебной работе, которую к тому же приходится выполнять только между делом. У меня, правда, есть для письменных работ еще один подручный — учитель, но справиться все равно невозможно, постоянно остается много несделанного; оно — там, в том ящике собрано, — и он указал на другой шкаф. — Особенно теперь, когда я болен, это совсем разрастается, — сказал он устало, но в то же время и гордо и снова улегся.

— Не могу ли я, — сказал К., когда женщина вернулась со свечой и, встав на колени перед ящиком, принялась искать предписание, — помочь вашей жене в поисках?

Староста, усмехаясь, покачал головой:

— Как я вам уже говорил, у меня нет от вас служебных тайн, но чтобы позволить вам самим рыться в документах — так далеко я все же не могу зайти.

В комнате теперь наступила тишина, слышно было только шуршание бумаги; староста, по-видимому, даже слегка задремал. Легкий стук в дверь заставил К. обернуться. Конечно, это были помощники. Они, однако, были уже немного обучены, не ввалились сразу в комнату, а сперва прошептали сквозь чуть приоткрытую дверь:

— Нам на улице слишком холодно.

— Кто это? — испуганно вскинулся староста.

— Это всего лишь мои помощники, — пояснил К., — не знаю, где мне их оставить ждать меня: на улице слишком холодно, а здесь они помешают.

— Мне они не помешают, — приветливо возразил староста, — вы им скажите, пусть заходят. Кроме того, я ведь их знаю. Старые знакомые.

— Но мне они мешают, — прямо сказал К.

Он перевел взгляд с помощников на старосту, потом снова — на помощников и обнаружил, что усмешки всех троих неразличимо одинаковы.

— Но раз вы все равно уже здесь, — сказал он тогда для пробы, — оставайтесь и помогите там супруге господина старосты найти документ, на

котором подчеркнуто синим слово «землемер».

Староста ничего не возразил. То, что не разрешалось К., помощникам разрешалось, и они сразу же набросились на бумаги, но больше рылись в куче, чем искали, и пока один читал по складам написанное на каком-нибудь листе, другой непременно вырывал этот лист у него из рук. Зато женщина, стоявшая на коленях перед пустым ящиком, кажется, вообще ничего не искала, во всяком случае, свеча стояла очень далеко от нее.

— Помощнички, — сказал староста с такой самодовольной усмешкой, как будто все делалось по его распоряжениям, но никто не был в состоянии хотя бы даже предположить это, — вам, значит, они мешают, но это ведь ваши собственные помощники.

— Нет, — холодно ответил К., — они уже здесь ко мне приблудились.

— Как это «приблудились», — удивился староста, — «были приданы» вы, очевидно, хотите сказать.

— Ну, были приданы, — сказал К., — но с тем же успехом они могли свалиться с неба — настолько это была бездумная придача.

— Бездумно здесь не делается ничего, — сказал староста и сел в постели, забыв даже о боли в

ногах.

— Ничего, — повторил К. — А как с моим приглашением?

— И ваше приглашение было, очевидно, обдумано, — сказал староста, — только вмешались побочные запутывающие обстоятельства, я это вам докажу по документам.

— Документов же не найдут, — предположил К.

— Не найдут? — крикнул староста. — Мицци, ищи, пожалуйста, чуточку быстрее! Но пока что я могу вам рассказать эту историю и без документов. На то предписание, о котором я уже говорил, мы ответили, что благодарим, но в землемере не нуждаемся. Но этот ответ попал, по-видимому, не в первоначальный отдел — я буду обозначать его А, — а по ошибке в другой отдел, Б. Отдел А остался, таким образом, без ответа, но, к сожалению, и Б не получил весь наш ответ: то ли содержимое папки осталось у нас, то ли оно потерялось по дороге (конечно, не в самом отделе — за это я готов ручаться), — как бы там ни было, но и в отдел Б пришла только папка, на которой не было помечено ничего, кроме того, что во вложенном в нее — а в действительности, к сожалению, отсутствовавшем — документе говорится о приглашении

землемера. Между тем отдел А ждал нашего ответа; у них, правда, были записи по этому вопросу, но как это, вполне понятно, нередко случается и, несмотря на всеобщую исполнительность и точность, может случаться, референт понадеялся на то, что мы ответим, и тогда он будет либо приглашать землемера, либо при необходимости продолжит деловую переписку с нами. По этой причине он оставил пометки без внимания, и все дело у него позабылось. Между тем в отделе Б папка ответа попадает к одному славящемуся своей добросовестностью референту, Сордини его зовут, он итальянец (даже для меня, для посвященного, непостижимо, почему человека его способностей держат на положении почти что подчиненного). Этот Сордини, естественно, отправляет нам пустую папку для восполнения. Но теперь с того первого письма отдела А прошло уже много месяцев, если не лет, — вполне понятно, так как, если документ проходит, как это и надлежит, правильный путь, он приходит в свой отдел самое позднее через день и в тот же день уже будет проработан, но если уж он пошел неверно, а при совершенстве их организации он должен этот неверный путь искать прямо-таки с усердием, иначе он его не найдет, тогда — тогда

это длится, конечно, очень долго. Поэтому, когда мы получили записку Сордини, у нас об этом деле уже оставались лишь самые неопределенные воспоминания; мы тогда только вдвоем делали эту работу, Мицци и я; учитель мне в то время еще не был придан, копии мы сохраняли лишь в самых важных случаях, короче, мы могли только очень неопределенно ответить, что мы о такого рода приглашении ничего не знаем и что у нас в землемере потребности нет.

— Но, — перебил тут сам себя староста так, как если бы в пылу рассказа зашел слишком далеко или как если бы было по крайней мере возможно, что он зашел слишком далеко, — вам не надоела эта история?

— Нет, — сказал К., — она меня развлекает.

Староста на это:

— Я рассказываю вам это не для развлечения.

— Она развлекает меня только в том смысле, — сказал К., — что я получаю некоторое представление о забавной путанице, от которой при определенных обстоятельствах зависит жизнь человека.

— Вы еще не получили никакого представления, — серьезно сказал староста, — но я могу рассказать вам дальше. Такого, как Сордини, наш

ответ, конечно, не удовлетворил. Я восхищаюсь этим человеком, хотя он для меня — сущая мука. Дело в том, что он никому не доверяет; даже если, к примеру, он бессчетное число раз убеждался, что такой-то, скажем, человек достоин всяческого доверия, — в следующий раз он не доверяет ему так, словно он вообще его не знает, или, вернее, так, словно он знает его как проходимца. Я считаю это правильным, чиновник так и должен поступать; к сожалению, я по своему характеру не могу следовать этому правилу: вы же видите, как я вам, чужому человеку, прямо все раскрываю, я просто не умею иначе. Сордини, напротив, сразу почувствовал к нашему ответу недоверие. И началась большая переписка. Сордини спрашивал, почему это мне вдруг взбрело в голову, что не надо приглашать землемера; я с помощью Мицци — у нее отличная память — отвечал, что инициатива исходит от самих же служебных инстанций (что это было из другого отдела, мы, естественно, уже давно забыли); Сордини на это: почему я об этом официальном письме только теперь упоминаю; я в ответ: потому что я только теперь о нем вспомнил; Сордини: это очень странно; я: это совсем не странно при таком затянувшемся деле; Сордини: это все-таки странно, поскольку

письма, о котором я вспомнил, не существует; я: конечно, его не существует, раз все документы из папки пропали; Сордини: но ведь должна была остаться запись об этом первом письме, а ее не осталось. Тут я запнулся, потому что не смел не только утверждать, но и поверить, что в отделе Сордини могли допустить ошибку. Вы, господин землемер, возможно, про себя упрекаете Сордини в том, что, мол, мое утверждение должно было привлечь его внимание и заставить его, по крайней мере, справиться об этом деле в других отделах. Но вот это-то и было бы неправильно — я не хочу, чтобы на этого человека ложилось пятно, пусть даже только в ваших мыслях. Таков принцип работы инстанций, что возможность ошибки вообще не принимается в расчет. Этот принцип оправдывается превосходной организацией всего аппарата, и он необходим, когда хотят достичь предельной быстроты исполнения. Таким образом, Сордини вообще не имел права справляться в других отделах, кроме того, эти отделы ему бы попросту не ответили, потому что там бы сразу поняли, что речь идет об установлении возможности ошибки.

— Позвольте, господин староста, я вас перебью вопросом, — сказал К., — не упоминали ли вы

несколько ранее о каком-то контрольном органе? Ведь это хозяйство, как вы его изображаете, такого сорта, что если представить, что, может быть, нет и контроля, так дурно делается.

— Вы очень строги, — заметил староста. — Но умножьте вы вашу строгость в тысячу раз — и это все еще будет ничто в сравнении со строгостью, которую инстанции проявляют по отношению к самим себе. Только совершенно не знающий нашей жизни человек может задавать такие вопросы. Существуют ли контрольные органы? Существуют только контрольные органы. Правда, они не предназначены для того, чтобы отыскивать ошибки в буквальном, грубом смысле этого слова, потому что ошибок ведь не происходит, и даже если когда-то какая-то ошибка и происходит — как в вашем случае, — то кто может окончательно утверждать, что это — ошибка?

— Это уже нечто совершенно новое! — воскликнул К.

— Для меня это нечто очень старое, — сказал староста. — Я убежден — не намного отличаясь в этом от вас самих — в том, что произошла ошибка, и именно поэтому, от отчаяния тяжело заболел Сордини, и первые контрольные службы, благодаря которым был открыт источник

ошибки, тоже признали здесь ошибку. Но кто может поручиться, что вторые контрольные службы считают так же — и третьи, и далее, все остальные?

— Может быть, — сказал К. — Я предпочитаю не вдаваться в подобные рассуждения, кроме того, я вообще в первый раз слышу об этих контрольных службах и, естественно, еще не могу в них разобраться. Я только полагаю, что здесь имеется две стороны, которые следует различать: это, во-первых, то, что происходит внутри служб и что может быть истолковано так или иначе, но опять-таки с точки зрения служебной, и, во-вторых, — моя реальная личность, я, причем этот «я» существует вне ваших служб, этому «я» ваши службы грозят причинить ущерб, и это было бы настолько нелепо, что я все еще не могу поверить в серьезность такой опасности. Что касается первого, то тут, вероятно, все обстоит так, как вы, господин староста, с таким ошеломляющим, незаурядным знанием дела рассказываете, но только я хотел бы теперь услышать что-нибудь и о себе.

— К этому я и перехожу, — сказал староста, — но вы не сможете меня понять, если я не предпошлю этому еще кое-что. Уже даже то, что я упомянул

сейчас контрольные службы, было преждевременно. Я возвращаюсь, следовательно, к разногласиям с Сордини. Как уже было упомянуто, мое сопротивление постепенно ослабевало. Но если Сордини получает в руки хотя бы самое малое преимущество над кем-то, то уже — он победил, потому что тогда еще больше возрастают его внимательность, энергия, находчивость, и он тогда для атакованных — ужасающая, а для врагов этих атакованных — величественная фигура. Это последнее я тоже испытал — в других случаях, только поэтому я могу рассказывать о Сордини так, как я это делаю. Впрочем, мне никогда еще не удавалось увидеть его собственными глазами, он не может спускаться сюда, он слишком завален работой; в его комнате — мне ее так описывали — вдоль всех стен высятся колонны из толстых, сложенных друг на друга папок с документами, причем это только те документы, которые у Сордини непосредственно в работе, и так как документы беспрерывно вынимаются, а другие — добавляются, и все делается в большой спешке, то колонны беспрерывно рушатся, и именно эти постоянные, часто друг за другом следующие обвалы сделались отличительной особенностью комнаты Сордини. Ну, Сордини — работник,

этого у него не отнять, и в самом мелком деле он проявляет такую же тщательность, как и в самом большом.

— Господин староста, — перебил К., — вы постоянно называете мое дело одним из самых мелких, однако же многие чиновники над ним очень серьезно потрудились, и если вначале оно, может быть, и было самым мелким, то теперь, благодаря усердию чиновников вроде господина Сордини, оно стало большим делом. К сожалению. И совсем против моего желания, ибо мое тщеславие не требует, чтобы воздвигались и рушились колонны относящихся ко мне документов, мне достаточно быть маленьким землемером и тихо работать за маленьким столиком.

— Нет, — сказал староста, — дело это не большое. В этом смысле у вас нет оснований для жалоб: ваше дело — одно из мельчайших среди самых мелких. Объем работы не определяет значимость дела — если вы так думаете, то вы еще далеки от понимания инстанций. Но даже если бы все сводилось к объему работы, то и тогда ваше дело было бы одним из ничтожнейших, самых заурядных, потому что по другим делам — без так называемых «ошибок» — работы намного больше, разумеется, она и намного продуктив-

нее. Впрочем, вы же еще ничего не знаете о той работе, которая в действительности привела к возникновению вашего дела, я же только сейчас начинаю о ней рассказывать. Так вот, вначале Сордини оставил меня в покое, но появились его чиновники, и в господском трактире ежедневно шли под протокол допросы авторитетных членов общины. Большинство держалось меня, только некоторые заупрямились; землемерский вопрос крестьянину близок, они заподозрили какие-то тайные сговоры, несправедливости, к тому же нашелся и вождь, — и у Сордини из их показаний должно было составиться убеждение, что если бы я вынес вопрос на совет общины, то не все были бы против приглашения землемера. Таким образом то, что было само собой разумеющимся, а именно: что никакого землемера не нужно — постепенно сделалось по меньшей мере сомнительным. Особенно отличился при этом один такой Брунсвик — вы его, наверное, не знаете, — он, может быть, человек и неплохой, но глуп и с фантазиями; он зять Лаземана.

— Кожевника? — спросил К. и описал бородача, которого он видел у Лаземана.

— Да, это он, — подтвердил староста.

— Я и его жену знаю, — сказал несколько на-

обум К.

— Это возможно, — произнес староста и замолчал.

— Она красивая, — продолжал К., — но немного бледная и болезненная. Она, наверное, из Замка? — сказано это было полувопросительно.

Староста посмотрел на часы, налил в ложку лекарство и поспешно проглотил.

— Вы, наверное, в Замке только канцелярские порядки знаете? — грубо спросил К.

— Да, — сказал староста, иронически и в то же время благодарно усмехнувшись. — Но это и самое важное. А что касается Брунсвика, то если бы мы могли исключить его из общины, почти все мы были бы счастливы, и Лаземан не меньше других. Но тогда Брунсвик приобрел некоторое влияние; он хоть и не оратор, но крикун большой, а многим и этого довольно. И дошло до того, что я был вынужден представить дело совету общины; впрочем, вначале это был единственный успех Брунсвика, так как, естественно, абсолютное большинство совета и слышать не хотело ни о каком землемере. С тех пор уже тоже прошло много лет, но за все это время дело так и не затихло, отчасти из-за добросовестности Сордини, который с помощью тщательнейших расследова-

ний пытался выяснить побудительные мотивы как большинства, так и оппозиции, отчасти из-за глупости и тщеславия Брунсвика, который, имея всякие личные связи с инстанциями, приводил их в действие все новыми выдумками, порожденными его фантазией. Сордини, разумеется, не дал Брунсвику обмануть себя — как мог бы Брунсвик обмануть Сордини? — но именно для того, чтобы не дать обмануть, нужны были новые расследования, а еще прежде, чем они заканчивались, Брунсвик уже опять изобретал что-нибудь новое — он в самом деле очень инициативен, это одна из сторон его глупости. И вот теперь я подхожу к одному особому свойству аппарата наших инстанций. Соответственно своей точности, он в то же время и крайне чувствителен. Если какой-либо вопрос рассматривается очень долго, то может случиться (даже еще до того, как рассмотрение будет окончено), что в каком-то непредсказуемом и впоследствии уже неустановимом месте вдруг молниеносно появляется резолюция, которая этот вопрос — хотя в большинстве случаев и очень правильно, но тем не менее все-таки произвольно — закрывает. Получается так, словно аппарат инстанций больше уже не выдерживает этого напряжения, этого длящегося годами воз-

буждения, вызванного одним и тем же, может быть, незначительным по существу вопросом, и сам по себе без участия чиновников принимает решение. Разумеется, чуда не происходит, и, конечно, какой-то чиновник пишет резолюцию или принимает решение не записывая, но, так или иначе, установить — по крайней мере, нам здесь, да даже и самим службам, — какой чиновник и из каких соображений принял в данном случае решение, невозможно. Только контрольные службы — много позже — установят это, но мы об этом уже не узнаем, да, впрочем, тогда это уже вряд ли кого и заинтересовало бы. Так вот, эти решения, как уже говорилось, большей частью превосходны, неприятно в них только то, что, как обычно в таких делах бывает, узнают об этих решениях слишком поздно, и поэтому в то время, когда вопрос уже давно решен, его все еще горячо обсуждают. Я не знаю, было ли в вашем случае вынесено подобное решение, многое говорит в пользу такого предположения, многое — против, но если бы это случилось, то вам было бы послано приглашение, и вы проделали бы большое путешествие сюда, при этом прошло бы много времени, а здесь пока что Сордини над этим же самым делом все бы еще работал до изне-

можения, Брунсвик интриговал, и оба бы мучили меня. Я только указываю на такую возможность, а вот что я знаю наверняка: за это время одна из контрольных служб обнаружила, что отдел А много лет назад направил в общину запрос, на который до сих пор не получено ответа. Снова запросили у меня, и тут уж все дело, конечно, выяснилось; отдел А удовлетворился моим ответом, что никакого землемера не требуется, а Сордини должен был признать, что он в этом случае был некомпетентен и, хотя его вины в этом нет, проделал много ненужной изнурительной работы. И если бы, как всегда, не стекалась со всех сторон новая работа, и если бы ваше дело не было все-таки очень мелким делом, можно даже сказать — мельчайшим среди мелких, то, наверное, все бы мы наконец облегченно вздохнули, я думаю, даже и сам Сордини. Один Брунсвик злился, но это было только забавно. И вот представьте себе, господин землемер, мое разочарование, когда теперь, после счастливого окончания всего этого дела (а с тех пор уже снова прошло много времени), вдруг появляетесь вы, и, похоже, все может начаться сначала. Вы, очевидно, понимаете, что я твердо намерен — насколько это будет от меня зависеть — ни в коем случае этого не допустить?

— Конечно, — кивнул К., — но еще лучше я понимаю, что здесь в отношении меня и, может быть, даже в отношении законов допущено ужасающее злоупотребление. Однако я свои интересы сумею защитить.

— Как вы собираетесь это делать? — спросил староста.

— Этого я не могу раскрыть, — заявил К.

— Я не хочу быть назойливым, — сказал староста, — я только обращаю ваше внимание на то, что в моем лице вы имеете — я не хочу сказать «друга», так как мы совершенно чужие, но в известном смысле — компаньона. Я лишь не допущу, чтобы вас приняли на службу в качестве землемера, в остальном же вы всегда можете рассчитывать на меня — правда, только в пределах моей власти, которая невелика.

— Вы все время говорите о том, — сказал К., — что я еще должен быть принят в качестве землемера, но ведь я уже принят. Вот письмо Кламма.

— Письмо Кламма, — повторил староста. — Оно ценно и внушает почтение благодаря подписи Кламма, которая кажется подлинной, но в остальном… однако я сам не решусь высказываться о нем. Мицци! — позвал он — и сразу вслед за тем:

— Что это вы там делаете?

Столь долго остававшиеся без надзора помощники и Мицци, очевидно не найдя нужного документа, решили снова запереть все в шкаф, но из-за обилия беспорядочно наваленных бумаг им это не удалось. Тогда, по-видимому, у помощников возникла идея, которую они теперь и осуществляли. Они положили шкаф на пол, свалили в него все документы, затем уселись вместе с Мицци на дверцы и таким способом пытались их постепенно прижать.

— Документ, значит, не нашли, — сказал староста. — Жаль, но всю историю вы ведь уже знаете, так что он нам, собственно, больше и не нужен, впрочем, он, конечно, еще найдется, он, наверное, у учителя — у него там очень много документов. Но иди же сюда со свечой, Мицци, и прочти со мной это письмо.

Мицци подошла. Теперь, сидя на краешке кровати и прижимаясь к сильному, полному жизни мужу, обнимавшему ее за плечи, она казалась еще более седой и невзрачной. Только на ее маленьком лице резко выступили теперь в свете свечи отчетливые, жесткие линии, смягченные лишь старческой дряблостью. Едва заглянув в письмо, она легонько всплеснула руками. «От

Кламма», — сказала она. Потом они вместе прочли письмо, пошептались немножко между собой, и наконец (в это время помощники как раз закричали «ура!» — они дожали все-таки дверцы шкафа, и Мицци молча благодарно на них оглянулась), староста сказал:

— Мицци полностью разделяет мое мнение, и теперь я, пожалуй, решусь высказаться. Это письмо — вообще не официальная бумага, а просто частное письмо. Это ясно можно видеть уже по обращению «глубокоуважаемый господин!». Кроме того, в нем ни одним словом не сказано, что вы приняты в качестве землемера, напротив, там лишь вообще говорится о господской службе, да и это высказано не как обязательство, а лишь так, что вы приняты «как вы знаете», то есть труд доказывания того, что вы приняты, возложен на вас. Наконец, в плане службы вам указывают исключительно на меня, старосту, как на вашего непосредственного начальника, который должен сообщить вам все подробности, что в основном уже и сделано. Для того, кто умеет читать официальные бумаги и, вследствие этого, еще лучше читает неофициальные письма, здесь все более чем ясно. То, что вы, чужак, этого не улавливаете, меня не удивляет. В общем, это письмо означает

только то, что Кламм имеет намерение лично позаботиться о вас в случае, если вы будете приняты на господскую службу.

— Вы, господин староста, — сказал К., — толкуете письмо так хорошо, что в конце концов от него не остается ничего, кроме подписи на пустом листе бумаги. Вы не замечаете, как вы тем самым унижаете имя Кламма, хотя заявляли о своем уважении к нему.

— Это недоразумение, — запротестовал староста. — Я не отрицаю значения письма и не умаляю его своим истолкованием — напротив. Частное письмо Кламма, естественно, имеет намного большее значение, чем какая-то официальная бумага, — вот только того значения, какое вы ему придаете, оно не имеет.

— Вы знаете Шварцера? — спросил К.

— Нет, — сказал староста, — может быть, ты, Мицци? Тоже нет. Нет, мы его не знаем.

— Это странно, — заметил К., — он сын младшего кастеляна.

— Дорогой господин землемер, — проговорил староста, — как я могу знать всех сыновей всех младших кастелянов?

— Хорошо, — сказал К., — значит, тогда вы должны поверить мне, что он сын. С этим Швар-

цером у меня уже в день моего прибытия была неприятная стычка. Но потом он справился по телефону у младшего кастеляна по имени Фриц и получил справку, что я принят в качестве землемера. Как вы себе это объясните, господин староста?

— Очень просто, — сказал староста. — Дело в том, что в действительности вы еще ни разу не вступали в контакт с нашими инстанциями. Все эти контакты лишь кажущиеся, вы же вследствие вашего незнания здешних условий считаете их действительными. Теперь что касается телефона: взгляните, у меня, при том что уж я поистине имею достаточно дел с инстанциями, телефона нет. В трактирах и тому подобных местах — там он может сослужить хорошую службу, так же как, скажем, музыкальный автомат, большего он из себя и не представляет. Вы здесь уже звонили по телефону, да? Прекрасно, тогда вы меня, наверное, поймете. В Замке телефон, по-видимому, функционирует отлично; как мне рассказывали, там по телефону говорят непрерывно, что, естественно, очень ускоряет работу. Эти непрерывные телефонные разговоры мы в здешних телефонах слышим как шорохи и гудение, вы, конечно, их тоже слышали. Ну так вот: одни

только эти шорохи и гудение — истинны и заслуживают доверия из всего, что нам передают здешние телефоны, все остальное обманчиво. У нас нет ни четкой телефонной связи с Замком, ни телефонной станции, которая бы соединяла по вызову; когда отсюда звонишь кому-нибудь в Замке, там звонят все телефоны нижних отделов или, точнее, все бы звонили, если бы почти во всех (я это точно знаю) не были отключены звонки. Но время от времени какой-нибудь переутомившийся чиновник чувствует потребность немного отвлечься, особенно вечером или ночью, и включает звонок — тогда мы получаем ответ, однако такой ответ, который не что иное, как шутка. Да это ведь и очень понятно. Кто же вправе претендовать на то, чтобы из-за своих маленьких частных дел врываться звонками в ход важнейших и всегда бурно протекающих работ? Я также не представляю себе, как может даже и чужак верить, что когда он звонит, к примеру, Сордини, то тот, кто ему отвечает, действительно и есть Сордини. Отнюдь, скорей всего, это какой-нибудь мелкий регистратор совсем из другого отдела. С другой стороны, конечно, может в один прекрасный день случиться и так, что позвонишь мелкому регистратору, а ответит сам Сордини.

Тогда, правда, самое лучшее бежать от телефона прочь, прежде чем услышишь первое слово.

— Так я, конечно, на это не смотрел, — сказал К., — я не мог знать таких деталей, но большого доверия к этим телефонным разговорам у меня не было, и про себя я всегда понимал, что реальное значение имеет только то, что узнаешь или получаешь непосредственно в Замке.

— Нет, реальное значение, — сказал староста, прицепляясь к слову, — эти телефонные ответы обязательно имеют, как же иначе? Как может информация, которую сообщает чиновник из Замка, не иметь значения? Я уже говорил вам по поводу Кламмова письма: все эти высказывания не имеют официального значения, и когда вы приписываете им официальное значение, вы заблуждаетесь, — напротив, их приватное значение в смысле дружественности или враждебности очень велико и, как правило, больше, чем какое-то официальное значение когда-либо могло бы быть.

— Хорошо, — сказал К., — предположим, что все это так, тогда, следовательно, у меня куча добрых друзей в Замке, и если разобраться, то уже тогда, много лет назад, затея этого отдела с приглашением землемера была дружественным

актом в отношения меня, а потом одно пошло цепляться за другое и кончилось тем, что меня, со скверной, разумеется, целью, заманили сюда и теперь угрожают выкинуть на улицу.

— Известная доля истины в ваших рассуждениях есть, — признал староста, — вы правы в том, что сообщения из Замка нельзя понимать дословно. Но ведь осторожность необходима везде, не только здесь, — и тем необходимее, чем важнее сообщение, о котором идет речь. Что же касается ваших слов о заманивании, то они мне совершенно непонятны. Если бы вы лучше следили за моими объяснениями, вы должны были бы уже понять, что вопрос с вашим приглашением сюда слишком сложен, чтобы мы могли здесь, в ходе одной маленькой беседы, его разрешить.

— Значит, остаемся при том, что все очень неясно и неразрешимо, вплоть до того, выкинут меня или нет.

— Кто бы осмелился вас выкинуть, господин землемер? — сказал староста. — Как раз неясность предварительного вопроса гарантирует вам самое вежливое обращение, просто вы, по-видимому, слишком впечатлительны. Никто вас здесь не удерживает, но это еще не значит «выкидывать на улицу».

— О-о, господин староста, — покачал головой К., — уж слишком все для вас, как я посмотрю, просто. Я перечислю вам кое-что из того, что меня здесь удерживает: жертвы, на которые я пошел, уезжая из дома; долгое тяжелое путешествие; небезосновательные надежды, которые я питал в связи с принятием меня здесь; полное отсутствие у меня состояния; невозможность теперь снова найти дома какую-то другую соответствующую работу и, наконец, не в последнюю очередь — моя невеста, потому что она здешняя.

— Ах, Фрида, — ничуть не удивился староста. — Я знаю. Но Фрида пошла бы за вами куда угодно. Что же касается остального, то тут, конечно, нужно кое-что взвесить, и я доложу об этом в Замок. Если будет получено решение или если предварительно возникнет необходимость допросить вас еще раз, я пошлю за вами. Вас это устраивает?

— Нет, нисколько, — отрезал К., — я хочу от Замка не подарков из милости, а того, что мне положено.

— Мицци, — сказал староста жене, которая все еще сидела, прижавшись к нему, и в задумчивости играла с Кламмовым письмом, из которого сделала кораблик; К. испуганно отобрал у нее письмо. — Мицци, нога у меня снова начинает

очень болеть, придется нам заменить этот компресс.

К. поднялся.

— Значит, я тогда буду откланиваться, — сказал он.

— Да, — сказала Мицци, которая уже приготовляла какую-то мазь, — к тому же и тянет слишком сильно.

К. повернулся, помощники с их вечно неуместным служебным рвением сразу после слов К. распахнули обе створки двери. Чтобы предохранить комнату больного от мощно хлынувшего в нее холода, К. мог уже только на ходу поклониться старосте. Вслед за тем, увлекая за собой помощников, он выбежал из комнаты и резко захлопнул двери.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

У дверей трактира его ждал хозяин. Если бы к нему не обратились, он не посмел бы заговорить, поэтому К. сам спросил, чего ему надо.

— У тебя есть уже новая квартира? — спросил хозяин, глядя в землю.

— Ты спрашиваешь по поручению твоей жены, — догадался К., — ты, наверное, от нее очень зависишь?

— Нет, — сказал хозяин, — я спрашиваю не по ее поручению. Но она очень взволнована и несчастна из-за тебя, лежит в постели и все вздыхает и жалуется.

— Мне пойти к ней? — спросил К.

— Да, прошу тебя, — сказал хозяин, — я даже хотел тебя от старосты привести, слушал там за дверью, но вы беседовали, я не хотел мешать, и потом я все беспокоился за жену, побежал опять сюда, но она меня к себе не пустила, и мне ничего больше не оставалось, как только ждать тебя.

— Ну и пошли тогда быстрей, — сказал К., — я ее живо успокою.

— Если бы только это удалось, — вздохнул хозяин.

Они прошли через светлую кухню, где три или четыре служанки, каждая в стороне от остальных с какой-то своей работой, прямо-таки застыли под взглядом К. Уже в кухне слышны были вздохи хозяйки. Она лежала в чулане без окон, отделенном от кухни тонкой дощатой перегородкой. Места там хватало только для большой двуспальной кровати и шкафа. Кровать стояла так, что из нее можно было видеть всю кухню и наблюдать за работой; в то же время из кухни в чулане едва ли можно было что-то разглядеть, там было совершенно темно, и лишь немного высвечивалось бело-розовое постельное белье. Только войдя туда и подождав, пока привыкнут глаза, можно было различить детали.

— Пришли наконец, — слабым голосом сказала хозяйка.

Она лежала, раскинувшись, на спине, видно было, что ей трудно дышать, перина была сброшена. В кровати она выглядела намного моложе, чем в одежде, но ночной чепчик из тонкой кружевной материи, который она надела, хотя он был ей слишком мал и сползал у нее с головы, подчеркивал дряблость лица и вызывал сострадание.

— Откуда я знал, что нужно прийти? — спросил К. мягко. — Вы же не посылали за мной.

— Вы не должны были заставлять меня так долго ждать, — с упрямством больного сказала хозяйка. — Садитесь, — и она указала на край кровати, — а вы все — пошли вон!

(Кроме помощников, в чулан за это время протиснулись и служанки.)

— Я тоже пойду, Гардена, — сказал хозяин.

К. впервые услышал имя этой женщины.

— Конечно, — медленно проговорила она и — рассеянно, как будто ее занимали другие мысли, добавила: — С чего бы именно тебе оставаться?

Однако, когда все вытеснялись в кухню — даже помощники на этот раз сразу подчинились, впрочем, они заигрывали с одной из служанок, — задумчивая Гардена оказалась достаточно предусмотрительной: заметив, что в кухне слышно все, о чем говорится в чулане, потому что двери в чулане не было, она приказала всем уйти и из кухни. Это было немедленно выполнено.

— Пожалуйста, — попросила Гардена, — господин землемер, там, в шкафу, сразу, как откроете, висит шаль, достаньте мне ее, я хочу ею укрыться, я не выношу перины, мне так тяжело дышать. — И когда К. принес ей шаль, продолжила: — Вот видите, какая красивая шаль — правда?

К. она показалась обычной шерстяной шалью,

только из любезности он еще раз пощупал ее, но ничего не сказал.

— Да, это красивая шаль, — повторила Гардена, закутываясь.

Она лежала теперь умиротворенная, казалось, груз ее страданий был снят с нее, она даже вспомнила о своей растрепавшейся от лежания прическе, приподнялась на минутку в кровати и немного поправила волосы вокруг чепчика. Волосы у нее были густые. К. потерял терпение и сказал:

— Вы, госпожа хозяйка, посылали спросить у меня, нашел ли я уже другую квартиру.

— Я посылала спросить у вас? — удивилась хозяйка. — Нет, вы ошибаетесь.

— Ваш муж сейчас только спрашивал меня об этом.

— Очень возможно, — согласилась хозяйка, — я с ним поругалась. Когда я не хотела, чтобы вы здесь были, он вас здесь держал; а теперь, когда я счастлива, что вы здесь живете, он вас прогоняет. Вот так вот он вечно.

— Вы, следовательно, — сказал К., — так сильно изменили свое мнение обо мне? За какие-то пару часов?

— Я свое мнение не изменила, — проговорила

вновь ослабевшим голосом хозяйка, — дайте мне вашу руку. Хорошо. А теперь пообещайте мне, что вы будете со мной совершенно откровенны — и я буду с вами тоже.

— Ладно, — пообещал К., — только кто начнет?

— Я, — сказала хозяйка.

Впечатления, что она хочет пойти К. навстречу, это не производило, скорее — что ей ужасно хочется говорить первой. Она вытащила из-под подушки какую-то фотографию и протянула ее К.

— Взгляните на этот снимок, — попросила она.

Чтобы лучше видеть, К. сделал шаг в кухню, но и там нелегко было разглядеть что-нибудь, так как снимок выцвел от времени, был мятый, в пятнах и во многих местах потрескался.

— Он в не очень-то хорошем состоянии, — заметил К.

— К сожалению, к сожалению, — сказала хозяйка, — когда годами везде носишь с собой, становится таким. Но если вы как следует на него посмотрите, то вы все-таки все разглядите, обязательно. Впрочем, я могу вам помочь, скажите мне, что вы видите, я очень люблю слушать про этот снимок. Ну — что?

— Какого-то молодого человека, — начал К.

— Правильно, — подтвердила хозяйка, — и что

он делает?

— Он лежит, по-моему, на какой-то доске, потягивается и зевает.

Хозяйка засмеялась.

— Ничего подобного, — сказала она.

— Но вот же доска, и вот он лежит, — отстаивал свою точку зрения К.

— Да вы смотрите внимательнее, — раздражительно сказала хозяйка, — разве он лежит?

— Нет, — согласился на этот раз К., — он не лежит, он летит, теперь я это вижу, это совсем не доска, а скорее какая-то веревка, и молодой человек прыгает в высоту.

— Ну вот, — обрадовалась хозяйка, — он прыгает, так тренируют посыльных всех служб. Я же знала, что вы это разглядите. А его лицо тоже видите?

— От лица я тут очень мало что вижу, — заявил К., — он, видимо, очень напрягся: рот раскрыт, глаза зажмурены и волосы разлетелись.

— Очень хорошо, — с уважением сказала хозяйка, — разглядеть больше тому, кто сам его не видел, невозможно. А он был красивый мальчик, я только один раз мельком видела его — и никогда не забуду.

— Кто же это был? — спросил К.

— Это, — сказала хозяйка, — был посыльный, через которого Кламм в первый раз позвал меня к себе.

К. толком не расслышал ответ, его отвлекло дребезжание стекла. Причину помехи он нашел сразу: снаружи, во дворе, прыгая в снегу с ноги на ногу, маячили помощники. Они вели себя так, словно были счастливы снова видеть К., вне себя от счастья они показывали его друг другу и при этом беспрерывно постукивали по стеклу в окне кухни. При угрожающем движении К. они это тотчас прекратили, попытались оттащить один другого, но тут же выскользнули друг у друга из рук и уже снова были у окна. К. поторопился скрыться в чулане, где помощники не могли увидеть его, а он мог не видеть их. Но слабое, словно молящее дребезжание оконного стекла и там долго еще преследовало его.

— Опять эти помощники, — сказал он, извиняясь, хозяйке и показал на двор.

Хозяйка, не обращая на него внимания, забрала у него снимок, посмотрела, разгладила и снова сунула под подушку. Движения ее замедлились, но не от усталости, а под грузом воспоминаний. Она собиралась рассказывать К. — и забыла его за рассказом, и перебирала бахрому своей шали.

Только через некоторое время она подняла голову, провела ладонью по лицу и сказала:

— И эта шаль — от Кламма. И этот чепчик тоже. Снимок, шаль и чепчик — это те три сувенира, которые у меня остались от него. Я не молода, как Фрида, я не так тщеславна, как она, и не так деликатна — она очень деликатна, — короче, я умею приноравливаться к жизни, но в одном я должна признаться: без этих трех вещей я бы здесь не смогла так долго выдержать — да я бы, наверное, и одного дня не смогла здесь выдержать. Эти три сувенира вам, может быть, покажутся мелочью, но заметьте: у Фриды, которая так долго была связана с Кламмом, нет ни одного сувенира, я ее спрашивала; она слишком восторженна, да и слишком требовательна, я же, всего только трижды побывав у Кламма — потом он за мной уже больше не посылал, я не знаю почему, — будто предчувствуя, что мое время будет коротким, запасла себе эти сувениры. Правда, тут надо было приложить старание: Кламм сам ничего не дает, но если увидишь, что там лежит что-нибудь подходящее, то можно это себе выпросить.

К. испытывал неловкость, выслушивая эти истории, как ни близко они его касались.

— И как давно все это было? — спросил он,

вздыхая.

— Больше двадцати лет тому назад, — сказала хозяйка, — намного больше двадцати лет.

— Так долго хранят верность Кламму, — подытожил К. — А вы, госпожа хозяйка, вообще-то понимаете, что подобными признаниями вы меня наводите — когда я думаю о моем будущем браке — на тяжелые размышления?

Хозяйка сочла неприличным, что в такой момент К. вздумал вмешиваться со своими делами, и искоса гневно взглянула на него.

— Зачем же так сердиться, госпожа хозяйка, — сказал К. — Я ведь ни слова не говорю против Кламма. Но в то же время волею обстоятельств я вступил в известные отношения с Кламмом, и этого самый большой почитатель Кламма не может отрицать. Так вот. Вследствие такого положения, при упоминании о Кламме я всегда поневоле думаю и о себе, тут уж ничего не поделаешь. Кстати, госпожа хозяйка, — тут К. схватил ее ослабевшую руку, — вспомните о том, как плохо закончился наш последний разговор и что на этот раз мы хотим разойтись мирно.

— Вы правы, — согласилась хозяйка и опустила голову, — но пощадите меня. Я не чувствительней других — напротив, но у каждого есть свои чув-

ствительные места, у меня — только одно это.

— К сожалению, оно одновременно — и мое, — сказал К., — однако я, безусловно, справлюсь с собой; но теперь объясните мне, госпожа хозяйка, как я должен терпеть в браке эту ужасающую верность Кламму, если предположить, что и Фрида похожа в этом на вас.

— Ужасающую верность? — неприязненно повторила хозяйка. — Разве это верность? Верна я моему мужу, а что — Кламм? Кламм когда-то сделал меня своей возлюбленной, разве могу я это отличие когда-нибудь потерять? И как вам это терпеть с Фридой? Ах, господин землемер, ну кто вы такой, что осмеливаетесь так спрашивать?

— Госпожа хозяйка, — предостерегающе сказал К.

— Я помню, — сказала хозяйка, покоряясь, — но мой муж таких вопросов не задавал. Я не знаю, кого тут надо назвать несчастной, меня тогда или Фриду теперь. Фриду, которая по своей воле оставила Кламма, или меня, за которой он больше уже не посылал. Может быть, все-таки Фриду, хотя она, кажется, в полной мере этого еще не понимает. Зато мое несчастье было тогда беспредельнее и завладело всеми моими мыслями, потому что я вынуждена была все время себя

спрашивать — а в сущности, и сегодня еще не перестала спрашивать: почему так случилось? Три раза Кламм посылает за тобой, а в четвертый раз уже — нет, и уже никогда — в четвертый раз! Что же могло больше занимать меня тогда? О чем еще могла я говорить с моим мужем, с которым мы вскоре после этого поженились? Днем у нас не было времени: мы получили этот трактир в жалком состоянии и должны были попытаться поднять его — но ночью? Годами крутились наши ночные разговоры только вокруг Кламма и причин перемены его настроения. И когда мой муж во время этих разговоров засыпал, я будила его и мы разговаривали дальше.

— Теперь, — сказал К., — я, если разрешите, задам вам один очень грубый вопрос.

Хозяйка молчала.

— Мне, следовательно, не позволено спрашивать, — констатировал К., — уже этого мне достаточно.

— Разумеется, — сказала хозяйка, — вам уже этого достаточно, и этого — в особенности. Вы неверно истолковываете все, даже молчание. Вы просто не можете иначе. Я разрешаю вам спрашивать.

— Если я все неверно истолковываю, — про-

должил К., — то, может быть, я неверно истолковываю и мой вопрос, может быть, он совсем не так уж груб. Я хотел только узнать, как вы познакомились с вашим мужем и как этот трактир перешел в вашу собственность.

Хозяйка поморщилась, но сказала невозмутимо:

— Это очень простая история. Мой отец был кузнецом, а Ганс, мой теперешний муж, был конюхом у одного богатого крестьянина и часто приходил к моему отцу. Это произошло после того, как я последний раз была с Кламмом; я была очень несчастна, хотя, собственно, не имела на это права, так как все ведь шло правильно, и то, что мне больше нельзя было к Кламму, было решением самого Кламма, следовательно, было правильно, только причины были неясны — их я имела право доискиваться, но быть несчастной я права не имела. Не имела, но все равно — была, и не могла работать, и по целым дням просиживала в нашем палисадничке. Ганс видел меня там, иногда он подсаживался ко мне, я ему не жаловалась, но он знал, в чем дело, и так как он хороший мальчик, то, бывало, плакал вместе со мной. И когда однажды мимо нашего садика проходил тогдашний трактирщик (у него умерла

жена, и он поэтому должен был оставить свое дело — впрочем, он был уже и старый человек) и увидел, как мы там сидим, он остановился и, недолго думая, предложил нам трактир в аренду; денег, поскольку он нам доверял, вперед не спросил и плату за аренду назначил очень дешевую. Я не хотела быть отцу обузой, все остальное было мне безразлично, и, подумав о трактире и новой работе, которая, может быть, принесет немного забвения, я протянула Гансу руку. Вот и вся история.

С минуту было тихо, потом К. сказал:

— Трактирщик поступил прекрасно, но неосмотрительно. Или у него были особые причины доверять вам обоим?

— Он хорошо знал Ганса, — пояснила хозяйка, — он был его дядей.

— Тогда конечно, — сказал К. — Следовательно, семья Ганса явно многого ждала от его связи с вами?

— Может быть, — пожала плечами хозяйка, — не знаю, я никогда об этом не задумывалась.

— Но, по-видимому, это все-таки было так, — сказал К., — если семья была готова пойти на такие жертвы и просто так, без гарантий, отдать трактир в ваши руки.

— Как потом оказалось, это не было неосмотрительно, — возразила хозяйка. — Я вовсю принялась за работу, я сильная была, дочь кузнеца, мне не надо было ни слуг, ни служанок, я успевала всюду: в зале, в кухне, на дворе, в конюшне; я готовила так хорошо, что даже у господского трактира посетителей отбивала. Вы у нас в обед еще не были, вы не знаете, кто к нам ходит обедать, а тогда ходило еще больше, за это время уж многие разбежались. И результат был такой, что мы не только смогли аренду вовремя выплачивать, но через несколько лет и весь трактир откупили, и он теперь почти без долгов. Правда, другим результатом было то, что я на этом надорвалась, сердце стало болеть, и вот теперь я старуха. Вы, наверное, думаете, что я намного старше Ганса, но на самом деле он всего на два или на три года моложе меня, да и вообще никогда не состарится, потому что от его работы: покурить трубку, послушать гостей, потом трубку выколотить и когда-нибудь стакан пива принести — от такой работы не старятся.

— Ваши успехи достойны восхищения, — признал К., — это несомненно, но мы говорили о времени до вашего замужества, а тогда все же было бы странно, если бы родственники Ганса,

жертвуя деньгами или, по крайней мере, идя на такой большой риск, как сдача трактира, торопились бы со свадьбой и при этом не имели бы никаких других надежд, кроме как на вашу работоспособность, которой они ведь еще совершенно не знали, и на работоспособность Ганса, в отсутствии которой, наверное, уже должны были убедиться.

— Ну да, — устало сказала хозяйка, — я ведь понимаю, куда вы клоните и как вы при этом заблуждаетесь. Кламм ко всем этим делам не имел отношения. С чего бы он стал обо мне заботиться или, вернее, как он вообще мог бы обо мне заботиться? Он ведь меня уже не знал. То, что он больше не посылал за мной, означало, что он меня забыл. Если он больше не посылает, он забывает полностью. Я не хотела говорить об этом при Фриде, но это не просто забвение, это что-то большее. С тем, кто забыт, можно ведь снова познакомиться. Для Кламма такое невозможно. Если он за тобой больше не посылает, он забывает полностью не только все твое прошлое, но форменным образом и все твое будущее. Я, конечно, могу, если очень постараюсь, вдуматься в ваши рассуждения, в эти, может быть, справедливые в тех краях, откуда вы пришли, но здесь — бессмыс-

ленные рассуждения. Вы еще, пожалуй, дойдете до сумасбродной мысли, что Кламм мог бы дать мне в мужья как раз такого, как Ганс, чтобы я без особенных помех могла прийти к нему, если бы когда-нибудь в будущем он меня позвал. Ну уж дальше никакое сумасбродство завести не может. Да где бы нашелся такой муж, который помешал бы мне побежать к Кламму, если бы Кламм подал мне знак? Чепуха, полнейшая чепуха, это только самому себе голову морочить — заниматься такой чепухой.

— Нет, — сказал К., — морочить себе голову мы не будем, я отнюдь не зашел еще в своих мыслях так далеко, как вы предположили, хотя, по правде говоря, был на пути к этому. Но пока меня удивляет только то, что родня так много ожидала от этой женитьбы и что эти надежды и в самом деле сбылись, — правда, за это было заплачено вашим сердцем, вашим здоровьем. Напрашивающаяся мысль о некоей связи этого факта с Кламмом у меня, разумеется, возникла, но не в такой или пока еще не в такой грубой форме, как вы это изобразили — явно с единственной целью еще раз задеть меня, потому что вы получаете от этого удовольствие. Ладно, получайте ваше удовольствие! Моя же мысль была такой: во-первых,

Кламм, безусловно, явился причиной женитьбы. Без Кламма вы не были бы несчастны, не сидели бы без дела в вашем палисадничке; без Кламма Ганс не увидел бы вас там, не будь вы печальны, робкий Ганс никогда не осмелился бы заговорить с вами; без Кламма вы никогда не стали бы там плакать вместе с Гансом; без Кламма старый добрый дядя-трактирщик никогда бы не увидел там Ганса и вас согласной парой; без Кламма вы бы не сделались равнодушны к жизни, следовательно, не вышли бы за Ганса. Итак, во всем этом уже более чем достаточно Кламма, я бы сказал. Но это еще не все. Разве не искали вы забвения, разве не работали так — конечно же, не щадя себя — и не подняли хозяйство на такую высоту? Следовательно, и тут Кламм. Но Кламм, помимо этого, был еще и причиной вашей болезни, так как ваше сердце еще до женитьбы было разбито несчастной страстью. Остается еще только один вопрос: что же так сильно привлекало в этой женитьбе родню Ганса? Вы сами здесь упомянули, что быть возлюбленной Кламма — значит получить такое отличие, которое нельзя потерять, ну так вот это, может быть, их и привлекало. А кроме этого, я думаю, — надежда, что счастливая звезда, которая привела вас к Кламму (если считать, что это была

счастливая звезда, но вы это утверждаете), определена светить только вам, следовательно, при вас должна остаться и, пожалуй, не покинет вас так скоро и неожиданно, как это сделал Кламм.

— Вы все это серьезно? — спросила хозяйка.

— Серьезно, — быстро ответил К., — только я думаю, что Гансова родня со своими надеждами не была ни совсем права, ни совсем не права, и я думаю, что понимаю и ошибку, которую они допустили. Внешне ведь все как будто удалось: Ганс хорошо пристроен, у него видная жена, он в чести, и хозяйство без долгов. Но, однако, на деле-то удалось не все: с простой девушкой, у которой он был бы первой большой любовью, он наверняка был бы намного счастливее; если он временами — за что вы его упрекаете — стоит посреди залы как потерянный, то это оттого, что он в самом деле чувствует себя потерянным (несчастным от этого он себя не чувствует, это точно, настолько я его уже знаю), но так же точно и то, что с другой женой этот симпатичный понятливый мальчик стал бы счастливее, под чем я одновременно подразумеваю и — самостоятельнее, прилежнее, мужественнее. И вы ведь сами наверняка не счастливы и, по вашим словам, без этих трех сувениров вообще не захотели бы жить

дальше, и сердце у вас больное. Так значит, родня в своих надеждах была не права? Я думаю, нет. Благословение было вам отпущено, но под него не сумели подойти.

— Что же упустили? — спросила хозяйка. Она лежала теперь, вытянувшись, на спине и неподвижно смотрела в потолок.

— Спросить Кламма, — ответил К.

— Значит, мы опять возвращаемся к вам, — сказала хозяйка.

— Или к вам, — уточнил К. — Наши случаи граничат.

— Так чего же вы хотите от Кламма? — спросила хозяйка. Она села в кровати, взбила подушки, чтобы можно было сидеть облокотившись, и теперь смотрела К. прямо в глаза. — Я откровенно рассказала вам мой случай, и вам стоило попытаться кое-что из него понять. Теперь вы скажите мне так же откровенно, что вы хотите спросить у Кламма. Я с большим трудом уговорила Фриду уйти наверх в ее комнату и подождать там, я боялась, что в ее присутствии вы не будете достаточно откровенны.

— Мне нечего скрывать, — сказал К. — Но сперва я хочу обратить кой на что ваше внимание. «Кламм забывает сразу», сказали вы. Так вот,

во-первых, это представляется мне весьма маловероятным, во-вторых же, это недоказуемо и явно не что иное, как легенда, рожденная фантазией тех самых девиц, которые были как раз в милости у Кламма. Я удивляюсь, как вы поверили такой плоской выдумке.

— Это совсем не легенда, — возразила хозяйка, — напротив, это выведено из всеобщего опыта.

— Так значит, новым опытом опровергается, — сказал К. — Но, кроме того, тут есть еще одно различие между случаем Фриды и вашим. Что Кламм больше якобы уже не звал Фриду — это в определенном смысле совсем не так, напротив, он ее звал, но она не послушалась. Не исключено даже, что он ее все еще ждет.

Хозяйка молчала, только ее изучающий взгляд медленно скользил по К. вверх и вниз. Потом она сказала:

— Я намерена спокойно выслушать все, что у вас есть сказать. И вы, чем щадить меня, говорите лучше откровенно. Только у меня будет одна просьба: не упоминайте имени Кламма. Называйте его «он» или еще как-нибудь, но не по имени.

— Охотно, — согласился К., — но что я хочу от него — это нелегко сказать. Для начала я хочу

увидеть его вблизи, потом я хочу услышать его голос, потом я хочу узнать от него, как он относится к нашей женитьбе. О чем я его потом еще, может быть, попрошу, зависит от того, как пойдет беседа. Поговорить можно о многом, но для меня самое важное то, что я встречусь с ним лицом к лицу. Ведь непосредственно я еще ни с одним настоящим чиновником не говорил. Кажется, добиться этого труднее, чем я полагал. Но теперь я должен говорить с ним как с частным лицом, а это, насколько я понимаю, осуществить намного легче. Как с чиновником я могу с ним говорить только в его, быть может, недоступном кабинете в Замке или — что уже сомнительно — в господском трактире; как с частным лицом — везде: дома, на улице, — где только мне удастся его встретить. То, что при этом мне будет противостоять, кроме того, еще и чиновник, я охотно принимаю, но это не основная моя цель.

— Хорошо, — сказала хозяйка и спрятала лицо в подушку, словно сказала что-то бесстыдное. — Если я через мои связи добьюсь, что ваша просьба о разговоре будет передана Кламму, вы обещаете мне, что до получения ответа ничего не будете предпринимать на свой страх и риск?

— Этого я не могу обещать, — не согласился

К. — При всем моем желании я не могу обещать выполнить вашу просьбу или ваш каприз. Потому что дело не терпит, особенно после того, как мои переговоры со старостой дали неблагоприятные результаты.

— Такая отговорка отпадает, — заявила хозяйка, — староста — ничего не значащая личность. Вы этого разве не заметили? Он бы и одного дня не оставался на своей должности, если бы не его жена, которая ведет все дела.

— Мицци? — спросил К.

Хозяйка кивнула.

— Она была там, — подтвердил К.

— Она высказала свое мнение? — спросила хозяйка.

— Нет, — ответил К., — но у меня и не создалось впечатления, что она могла это сделать.

— Ну да, — сказала хозяйка, — вот так же ошибочно вы здесь на все смотрите. Как бы то ни было, то, что решил о вас староста, не имеет никакого значения, а с его женой я при случае поговорю. И если я вам теперь еще пообещаю, что ответ Кламма придет самое позднее через неделю, то у вас, наверное, не будет больше причин не соглашаться со мной.

— Все это еще ничего не решает, — уперся

К. — Мое намерение твердо, и я бы все равно попытался его осуществить, даже если бы пришел отрицательный ответ. Но раз я заранее имею такое намерение, то я уже не могу начинать с просьб о беседе. То, что без просьб остается пусть дерзкой, но все же допустимой попыткой, после отрицательного ответа становится открытым неподчинением. Это было бы, разумеется, куда хуже.

— Хуже? — спросила хозяйка. — Это неподчинение в любом случае. А в общем, делайте как знаете. Подайте мне юбку.

Не обращая внимания на К., она натянула юбку и побежала в кухню. Из залы давно уже доносился беспокойный шум. В кухонное окошко стучали. Один раз помощники распахнули его и крикнули, что они голодные. Потом там появились и другие лица. Слышалось даже какое-то тихое, но многоголосое пение.

Разговор К. с хозяйкой, впрочем, сильно задержал приготовление обеда — он был еще не готов, а посетители собрались. Тем не менее никто не отважился нарушить запрет хозяйки и зайти в кухню. Но теперь, когда наблюдатели у окошка сообщили, что хозяйка уже идет, служанки сразу побежали в кухню, и когда К. вошел в залу, все

на удивление многочисленное общество — более двадцати человек, мужчины и женщины, одетые провинциально, но не по-крестьянски, — устремились от окошка, возле которого они толпились, к столам, занимать места. Только у маленького столика в углу уже сидела супружеская пара с несколькими детьми; муж, симпатичный голубоглазый господин с растрепанной седой шевелюрой и бородой, стоял, наклонившись к детям, и отбивал ножом такт: они пели, и он все время старался убедить их петь потише; возможно, они были голодны, и он хотел отвлечь их пением. Хозяйка равнодушно произнесла несколько слов, извиняясь перед обществом, никто не сделал ей упрека. Она оглянулась по сторонам в поисках мужа, но тот, осознав затруднительность положения, очевидно, давно уже сбежал. Тогда она медленно пошла на кухню; на К., поспешившего в свою комнату к Фриде, она больше не обращала внимания.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наверху К. нашел учителя. Комнату, к удовольствию К., почти нельзя было узнать, так потрудилась над ней Фрида. Воздух был свежий, печь основательно натоплена, пол вымыт, кровать прибрана, вещи служанок — весь этот омерзительный хлам — исчезли вместе с фотографиями, стол, который раньше, куда бы ты ни повернулся, прямо-таки таращился тебе вслед своей усеянной грязными пятнами доской, был покрыт белой вязаной скатертью. Теперь уже можно было и гостей принимать; то, что маленький запас белья К. был развешан около печки на просушку — Фрида, очевидно, выстирала его рано утром, — мешало мало. Учитель и Фрида сидели у стола и встали, когда К. вошел. Фрида встретила К. поцелуем, учитель слегка поклонился. К., в рассеянности и все еще переживая разговор с хозяйкой, начал извиняться за то, что он до сих пор все не мог посетить учителя; получалось, будто он считает, что учитель, потеряв терпение из-за того, что К. не идет, пришел к нему сам. Но учитель, с его солидной манерой, казалось, вообще теперь только начинал медленно при-

поминать, что когда-то они с К. договорились о чем-то вроде визита.

— Так это вы, господин землемер, — медленно произнес он, — тот приезжий, с которым я несколько дней назад разговаривал на площади перед церковью?

— Да, — коротко ответил К.; то, что по своей тогдашней беспомощности он в тот раз стерпел, здесь, в своей комнате, он не обязан был терпеть.

Он повернулся к Фриде и стал советоваться с ней по поводу одного важного визита, который он должен немедленно сделать и при котором ему нужно быть одетым как можно лучше. Фрида тут же, ни о чем не расспрашивая К., подозвала помощников — они как раз были заняты исследованием новой скатерти на столе — и приказала им как следует вычистить во дворе одежду К. и его сапоги, которые он тут же начал стаскивать. Сама она схватила с веревки одну рубашку и побежала на кухню гладить ее.

К. остался наедине с учителем, который уже снова молча сидел у стола; он заставил его еще немного подождать, стащил с себя рубашку и начал мыться под умывальником. Только теперь, стоя к учителю спиной, К. спросил о причине его прихода.

— Я пришел по поручению господина старосты общины, — сказал тот.

К. был готов выслушать поручение. Но так как сквозь плеск воды слова К. было трудно разобрать, учителю пришлось подойти ближе — и он встал рядом с К., прислонясь к стене. К. извинил свое умывание и свои хлопоты настоятельностью намеченного визита. Учитель не обратил на это внимания и сказал:

— Вы были невежливы с господином старостой общины, со старым, заслуженным, многоопытным, почтенным человеком.

— Чтобы я был невежлив, этого я не заметил, — проговорил, тщательно вытираясь, К., — а что у меня было о чем думать, кроме изящных манер, это верно, потому что речь шла о моем существовании, которому угрожает ваша позорная служебная неразбериха, мне нет нужды рассказывать вам о ней в подробностях, поскольку вы сами являетесь деятельным членом этих служб. Что, староста общины жаловался на меня?

— На кого ему тут жаловаться? — сказал учитель. — И даже если бы было на кого, разве он стал бы жаловаться? Я просто составил под его диктовку маленький протокол о вашей беседе и из него узнал достаточно о доброте господина

старосты и о характере ваших ответов.

Разыскивая свою расческу, которую, должно быть, Фрида куда-то убрала, К. переспросил:

— Что? Протокол? Составленный задним числом в мое отсутствие кем-то, кто вообще не был при разговоре? Так не делается. И почему вообще протокол? Это что, была официальная процедура?

— Нет, — сказал учитель, — полуофициальная, и протокол — тоже полуофициальный; это было сделано только потому, что у нас во всем должен быть строгий порядок. Как бы там ни было, протокол теперь существует и служит не к вашей чести.

К., который нашел наконец расческу — она завалилась в кровать, — ответил уже спокойнее:

— Пусть существует. Вы пришли для того, чтобы сообщить мне это?

— Нет, — сказал учитель, — но я не автомат и должен был высказать вам свое мнение. Данное мне поручение, напротив, является еще одним доказательством доброты господина старосты; я подчеркиваю, что мне эта доброта абсолютно непонятна и что я исполняю это поручение только по долгу службы и из уважения к господину старосте.

К., умытый и причесанный, сидел теперь в ожидании рубашки и остальной одежды у стола; его мало интересовало, с чем пришел к нему учитель, к тому же на него подействовало то, что хозяйка была о старосте столь невысокого мнения.

— Обед, наверное, уже кончился? — спросил он, задумавшись о дороге, которая ему предстояла, затем, поправляясь, добавил: — Вы хотели мне передать что-то от старосты.

— Н-да, — сказал учитель и пожал плечами, как бы снимая с себя всякую личную ответственность. — Господин староста опасается, что в случае, если решение вашего вопроса слишком надолго затянется, вы предпримете что-нибудь необдуманное на свой страх и риск. Я, со своей стороны, не знаю, почему он этого опасается; на мой взгляд, самое лучшее, чтобы вы именно делали все, что захотите. Мы не ваши ангелы-хранители и не обязаны бегать за вами повсюду. Ну хорошо. Господин староста иного мнения. Само решение, являющееся делом графских инстанций, он, разумеется, ускорить не может, однако же в пределах своей компетенции он хочет принять одно предварительное, поистине великодушное решение — только от вас зависит согласиться на него или нет: он предлагает вам

пока что место школьного сторожа.

На то, что ему было предложено, К. сначала почти не обратил внимания, но сам факт, что ему было что-то предложено, показался ему немаловажным. Это говорило о том, что, с точки зрения старосты, К., обороняясь, был в состоянии проделать такие вещи, защита от которых оправдывала для общины даже некоторые издержки. И как серьезно к этому отнеслись! Ведь учителя, который уже порядочно здесь ждал, а до этого еще составлял протокол, староста, должно быть, попросту пригнал сюда. Учитель, заметив, что он все-таки заставил К. задуматься, продолжил:

— Я представил свои возражения. Я указал на то, что до сих пор никакого школьного сторожа не требовалось, жена церковного сторожа время от времени убирает, а фрейлейн Гиза, учительница, за этим следит. У меня достаточно мороки с детьми, я не хочу вешать себе на шею еще какого-то школьного сторожа. Господин староста возражал, что тем не менее в школе очень грязно. Я отвечал в соответствии с истиной, что это не так уж страшно. И, добавил я, разве с этим станет лучше, если в качестве школьного сторожа мы возьмем мужчину? Совершенно ясно, что нет. Помимо того, что он в такой работе ничего не

смыслит, в школьном здании ведь только две большие классные комнаты без вспомогательных помещений, значит, этот школьный сторож должен жить со своей семьей в одной из классных комнат: спать, может быть, даже готовить — что, естественно, чистоты не прибавит. Но господин староста указал на то, что эта должность является для вас спасением в вашей нужде и что вы поэтому приложите все свои силы, чтобы хорошо ее исполнять; далее господин староста полагал, что вместе с вами мы приобретаем руки вашей жены и ваших помощников, так что не только школу, но и школьный сад можно будет содержать в образцовом порядке. Все это я с легкостью опроверг. В конце концов господин староста не мог уже больше решительно ничего привести в вашу пользу, засмеялся и сказал только, что вы все-таки землемер и поэтому сможете с особенно красивой прямизной разбить в школьном саду клумбы. Ну, на шутки возражать невозможно, и я отправился к вам с этим поручением.

— Напрасные хлопоты, господин учитель, — сказал К. — Я не собираюсь принимать это место.

— Превосходно, — сказал учитель, — превосходно, вы его отклоняете без всяких оговорок, — и

взяв шляпу, он поклонился и вышел.

Сразу вслед за тем наверх пришла Фрида; в лице ее была растерянность, рубашку она принесла невыглаженной, на вопросы не отвечала. Чтобы развлечь ее, К. стал рассказывать об учителе и его предложении, едва услышав это, она бросила рубашку на кровать и снова выбежала из комнаты. Вскоре она вернулась, но не одна, а с учителем, который выглядел раздосадованным и даже не кивнул. Фрида попросила его проявить немного терпения — она явно уже несколько раз делала это, пока они поднимались, — потом потащила К. через какую-то боковую дверь, о существовании которой он даже не подозревал, на соседний чердак и там, задыхаясь от волнения, рассказала наконец что с ней произошло. Хозяйка, возмущенная тем, что она унизилась перед К. до признаний и, что ей еще досаднее, до уступок в отношении беседы Кламма с К. и не добилась этим ничего, кроме, как она сказала, холодного и вдобавок неискреннего отказа, не намерена больше терпеть К. в своем доме; если у него есть связи в Замке, пусть он их использует, но только побыстрее, потому что уже сегодня, уже сейчас он должен оставить этот дом, и только по прямому приказу и настоянию инстанций она примет

его снова, однако она надеется, что до этого не дойдет, потому что и у нее есть связи в Замке, и она сумеет ими воспользоваться. К тому же он и попал-то в этот трактир только вследствие небрежности хозяина, да и вообще он ведь ни в чем не нуждается, потому что еще сегодня утром хвастался, что есть такое место, где для него готов ночлег. Фрида, разумеется, остается, если бы Фрида выехала вместе с К., то она, хозяйка, была бы глубоко несчастна; при одной только мысли об этом она прямо в кухне, рыдая, рухнула на пол возле плиты, бедная женщина с больным сердцем! Она просто не могла поступить иначе, ведь задета — в ее представлении, по крайней мере, — просто-таки честь сувениров Кламма! Вот какие теперь дела с хозяйкой. Конечно, Фрида пойдет вслед за ним, К., куда он захочет, через снега и льды, об этом, разумеется, нечего больше и говорить, но все равно положение их обоих все-таки очень плохое, поэтому она предложение старосты приветствует с большой радостью, пусть даже это для К. неподходящее место, но ведь — это надо будет определенно подчеркнуть — это ненадолго, можно будет выиграть время и легко найти другие варианты, даже если окончательное решение окажется неблагоприятным.

— В крайнем случае, — воскликнула под конец Фрида, уже обхватив шею К. руками, — мы уйдем отсюда, что нас держит тут, в деревне? А пока — ведь правда, миленький? — мы примем это предложение. Я привела обратно учителя, ты скажешь ему: «Принято», больше ничего, и мы переселимся в школу.

— Худо дело, — сказал К., хотя вполне всерьез он так не думал, ибо квартира его беспокоила мало; впрочем, он очень замерз, стоя в одном белье на этом чердаке, где с двух сторон не было ни стен, ни стекол и насквозь продувало холодным ветром, — ты уже комнату так хорошо прибрала, а нам теперь выезжать! Не хотелось бы, не хотелось бы мне принимать это место, для меня неприятно даже секундное унижение перед этим плюгавым учителем, а тут он еще будет моим начальником. Если б хоть ненадолго можно было остаться здесь; быть может, уже сегодня к вечеру мое положение изменится. Если б хоть ты здесь осталась, можно было бы выждать и дать учителю только какой-нибудь неопределенный ответ. Для себя-то я всегда найду ночлег, если на то пошло, так действительно у Бар…

Фрида закрыла ему ладонью рот.

— Только не это, — испуганно сказала она, — по-

жалуйста, не говори так больше. А в остальном все будет, как ты скажешь. Если хочешь, я останусь здесь одна, как бы это ни было для меня печально. Если хочешь, мы отклоним это предложение, как бы это ни было, по-моему, неправильно. Потому что смотри, если ты найдешь какую-то другую возможность, хоть даже и сегодня вечером, ну тогда, само собой разумеется, мы от этого места в школе сразу откажемся, никто нам не помешает это сделать. А что касается унижения перед учителем, то предоставь это мне, я позабочусь, чтобы унижения не было; я сама буду говорить с ним, ты просто молча постоишь рядом, и дальше будет так же, тебе никогда не придется говорить с ним, если ты этого не захочешь, на самом деле только я буду его подчиненной, и даже я не буду, потому что знаю его слабости. Так что мы ничего не потеряем, если примем это место, а вот если от него откажемся, то — много; а главное, ты действительно даже для одного себя нигде, нигде в деревне не найдешь ночлега, если еще сегодня не добьешься чего-нибудь от Замка, — то есть такого ночлега, за который мне как твоей будущей жене не придется краснеть. А если ты не найдешь ночлега, тогда ведь ты, пожалуй, потребуешь от меня, чтобы я спала здесь, в теплой комнате, зная,

что в это время ты там, в снегу, бредешь сквозь холод и ночь.

К., который все это время стоял, обхватив себя руками и хлопая ладонями по спине, чтобы немного согреться, проговорил:

— Тогда ничего не остается, как принять. Пошли!

В комнате он сразу поспешил к печи, не обращая внимания на учителя; тот, сидя у стола, достал часы и сказал:

— Время уже позднее.

— Но зато теперь мы уже полностью пришли к одному мнению, господин учитель, — объявила Фрида. — Мы принимаем место.

— Хорошо, — отозвался учитель, — но место предложено господину землемеру. Он должен высказаться сам.

Фрида пришла К. на помощь:

— Разумеется, — сказала она, — он принимает это место, не правда ли. К.?

Так что К. мог свести свое заявление к простому «да», обращенному даже не к учителю, а к Фриде.

— Тогда, — сказал учитель, — мне только остается довести до вас ваши служебные обязанности, чтобы в этом отношении мы с вами раз и на-

всегда договорились; вам надлежит, господин землемер, ежедневно убирать и протапливать обе классные комнаты, самостоятельно производить мелкий ремонт как учебных пособий и спортивных снарядов, так и вообще в доме, регулярно расчищать от снега дорожку через сад, выполнять отдельные поручения, мои и фрейлейн учительницы, и в более теплое время года производить все садовые работы. За это вы имеете право жить в одной из классных комнат по выбору; однако в том случае, когда занятия не проводятся одновременно в обеих комнатах, а вы живете как раз в той, где проводятся занятия, вы, естественно, должны переселяться в другую комнату. Готовить в школе вам не разрешается, взамен вас и всех ваших будут за счет общины обслуживать здесь, в трактире. О том, что вы должны вести себя так, как подобает в школе, и что, в частности, дети — особенно во время занятий — не должны становиться свидетелями, ну, скажем, непривлекательных сцен вашего семейного быта, я упоминаю лишь между прочим, поскольку вы как образованный человек должны это понимать. Замечу еще в связи с этим, что мы вынуждены настаивать, чтобы вы в самый кратчайший срок узаконили ваши отношения

с фрейлейн Фридой. Все это и еще кое-какие мелочи будет внесено в договор о найме, который вы, если вы вселитесь в здание школы, должны будете сразу же подписать.

К. все это показалось неважным — так, словно бы это его не касалось или, во всяком случае, не связывало; его только разозлила напыщенность учителя, и он небрежно бросил:

— Да-да, все это обычные обязанности.

Чтобы как-то загладить это, Фрида спросила про содержание.

— Вопрос о выплате содержания, — сказал учитель, — будет рассматриваться только после месячного испытательного срока.

— Но это жестоко по отношению к нам, — сказала Фрида. — Мы должны жениться почти без денег и создавать наше домашнее хозяйство из ничего. Нельзя ли нам все-таки, господин учитель, подать прошение в общину, чтобы назначили какое-нибудь маленькое содержание сразу? Вы бы рекомендовали так сделать?

— Нет, — сказал учитель, как и прежде обращаясь к К. — Подобное прошение было бы сочувственно встречено только в том случае, если бы я его поддержал, а я этого делать не стану. Предоставление места является ведь только лю-

безностью по отношению к вам, а с любезностями — если сохраняешь сознание своей ответственности перед обществом — не следует заходить слишком далеко.

Но тут почти против своей воли вмешался К.

— Что касается любезности, господин учитель, — заявил он, — то, я полагаю, вы ошибаетесь. Скорей, может быть, это любезность с моей стороны.

— Нет, — сказал учитель, усмехаясь, все-таки он заставил К. заговорить. — На этот счет я точно информирован. Школьный сторож нужен нам примерно так же, как землемер. Школьный сторож, как и землемер, — только лишний груз на нашей шее. Мне еще будет стоить немалых раздумий вопрос, как я должен обосновать перед общиной расходы. Лучше и честнее всего было бы просто кинуть счет на стол и вообще никак не обосновывать.

— Именно это я и имею в виду, — кивнул К., — вы обязаны принять меня против своей воли. Вы обязаны принять меня, хотя это и наводит вас на тяжелые раздумья. Но если кто-то вынужден принять кого-то другого и этот другой позволяет себя принять, так, значит, именно он оказывает любезность.

— Своеобразно, — сказал учитель, — что же это нас заставляет принимать вас? — доброе, чересчур доброе сердце господина старосты заставляет нас. Вам, господин землемер, как я уже вижу, придется расстаться со многими фантазиями, прежде чем вы станете полноценным школьным сторожем. И возможному предоставлению какого-либо содержания такие высказывания тоже, разумеется, мало способствуют. Я также, к сожалению, замечаю, что ваше поведение еще доставит мне немало забот: вы же все это время беседуете со мной — я все смотрю и почти не верю своим глазам — в рубашке и кальсонах.

— Да, — воскликнул К., смеясь, и хлопнул в ладоши, — эти ужасные помощники! Где они там застряли?

Фрида побежала к дверям; учитель, поняв, что К. больше не намерен с ним разговаривать, спросил у Фриды, когда они вселяются в школу.

— Сегодня, — ответила Фрида.

— Тогда завтра утром я приду проконтролировать, — сказал учитель, попрощался взмахом руки, хотел выйти в дверь, открытую Фридой для себя, но столкнулся со служанками, которые уже пришли со своими вещами, чтобы снова занять комнату.

Ему пришлось между ними протискиваться, они никому не уступили бы дорогу; Фрида шла следом.

— Однако и спешите же вы, — усмехнулся К., который на этот раз был очень ими доволен, — мы еще здесь, а вам уже не терпится вернуться?

Они не отвечали и смущенно вертели свои узлы, из которых свисало хорошо знакомое К. грязное тряпье.

— Вы, наверное, ваши вещи еще ни разу не стирали, — беззлобно, с какой-то даже симпатией сказал К.

Те почувствовали это, одновременно раскрыли свои широкие рты, показали прекрасные, крепкие звериные зубы и беззвучно засмеялись.

— Ну, проходите, — пригласил К., — устраивайтесь, это же действительно ваша комната.

Но так как те все еще не решались (им, видимо, казалось, что их комната уж слишком преобразилась), К. взял одну из них за руку, чтобы ввести в комнату. Но он тут же отпустил ее, такими удивленными глазами смотрели на него обе; взаимопонимание уже установилось, и они больше не отводили глаз от К.

— Ну теперь вы уже достаточно меня рассмотрели, — сказал, защищаясь от какого-то

неприятного чувства, К., взял одежду и сапоги, которые как раз принесла Фрида, — помощники робко следовали за ней — и оделся.

И снова, как и прежде, ему показалось непостижимым терпение, которое Фрида проявляла к помощникам. Вместо того чтобы чистить во дворе одежду, они преспокойно сидели внизу, где Фрида после долгих поисков их и обнаружила: они мирно обедали, держа на коленях невычищенную, скомканную одежду, которую ей пришлось затем всю чистить самой; и тем не менее она, хорошо зная, как управляться с этой подлой публикой, совершенно не ругалась с ними, более того, рассказывала в их присутствии об их чудовищной нерадивости как о какой-нибудь безобидной шутке и даже еще слегка похлопала, словно лаская, одного из них по щеке. К. решил впоследствии побеседовать с ней на эту тему. Но теперь давно уже пора было уходить.

— Помощники останутся здесь помогать тебе с переездом, — распорядился К.

Те, конечно, с этим не согласились, сытые и веселые, они бы теперь с удовольствием немного прогулялись. Только после того как Фрида сказала: «Само собой, вы остаетесь здесь», — они подчинились.

— Ты знаешь, куда я иду? — спросил К.

— Да, — ответила Фрида.

— И ты, значит, меня больше не удерживаешь? — спросил К.

— Ты встретишь столько препятствий, — сказала она, — что уж там какие-то мои слова!

Она поцеловала К. на прощание, дала ему, поскольку он не обедал, сверточек с хлебом и колбасой, который она принесла для него снизу, напомнила ему, что он должен потом идти уже не сюда, а прямо в школу, и проводила, положив ему руку на плечо, до самой двери.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Поначалу К. был рад, что ускользнул из душной комнаты, где толкались служанки и помощники. К тому же немного подморозило, снежный наст окреп, идти стало легче. Вот только уже начинало темнеть, и он ускорил шаг.

Замок, очертания которого уже стали размываться, был все так же недвижим, ни разу еще К. не видел там ни малейших признаков жизни; может быть, заметить что-то с такого расстояния было вообще невозможно, но, глаза требовали этого и не хотели мириться с неподвижностью. Когда К. вглядывался в Замок, ему иногда казалось, что он наблюдает за кем-то, кто сидит не шевелясь и смотрит прямо перед собой — не то чтобы погрузившись в раздумье и из-за этого ничего вокруг не замечая, а свободно и беззаботно, так, словно он один и никто за ним не наблюдает, — и все-таки он должен был замечать, что за ним наблюдают, однако это ни в малейшей мере не нарушало его покоя, и действительно (непонятно было, причина это или следствие), взгляды наблюдателя не могли на нем удержаться и соскальзывали. Это впечатление было сегодня еще

сильнее из-за ранней темноты; чем дольше он вглядывался, тем меньше узнавал, тем больше тонуло все в сумерках.

Как раз в тот момент, когда К. подходил к еще не освещенному господскому трактиру, открылось одно из окон во втором этаже; молодой, толстый, гладковыбритый господин в меховой куртке перегнулся наружу и застыл в окне. На приветствие К. он не ответил, кажется, даже самым легким кивком головы. Ни в коридоре, ни в пивной К. никого не встретил; пивной дух был еще более затхлым, чем в тот раз, в трактире «У моста» такого вроде не бывало. К. сразу пошел к двери, через которую он в тот раз наблюдал за Кламмом, и осторожно нажал на ручку, но дверь была заперта; тогда он попробовал на ощупь найти то место, где был глазок, но, по-видимому, затычка была так хорошо пригнана, что таким способом найти это место было невозможно, тогда он чиркнул спичкой. В ту же секунду его испугал чей-то вскрик. В углу около печки, между дверью и столом с бутылками, сидела, скорчившись, молоденькая девушка и в свете спички таращила на него широко раскрытые заспанные глаза. Это была, очевидно, преемница Фриды. Вскоре она успокоилась и включила электрический свет;

выражение лица у нее еще было сердитым, когда она узнала К.

— А-а, господин землемер, — сказала она, усмехнувшись, протянула ему руку и представилась: — Меня зовут Пепи.

Она была низкорослая, красная, здоровая, рыжие волосы были заплетены в толстую косу и, кроме того, окружали завитушками лицо; на ней было очень мало ей шедшее длинное прямое платье из серой блестящей материи, внизу оно было по-детски неумело стянуто шелковой лентой с бантом — так, что мешало двигаться. Она поинтересовалась, как там Фрида, и не собирается ли она вскоре вернуться. Это был вопрос, почти граничивший с дерзостью.

— Меня, — сказала она затем, — сразу после ухода Фриды срочно вызвали сюда, потому что сюда ведь какую попало не поставишь, я до сих пор была горничной, но обмен я сделала невыгодный. Здесь много вечерней и ночной работы, это очень изнурительно, я навряд ли здесь выдержу, не удивляюсь, что Фрида все это бросила.

— Фрида была здесь очень довольна, — заметил К., чтобы обратить в конце концов внимание Пепи на разницу между ней и Фридой, которой она пренебрегала.

— Не верьте ей, — сказала Пепи, — очень мало кто умеет так владеть собой, как Фрида. Если она не захочет в чем-то признаться — ни за что не признается, и при этом даже не заметишь, что ей было в чем признаваться. Я вот уже несколько лет служу здесь с ней, мы всегда спали вместе в одной кровати, но доверительности у нас с ней нет, сейчас она наверняка уже и думать забыла обо мне. Ее, может быть, единственная подруга — старая хозяйка из предмостного трактира, а это ведь тоже кой о чем говорит.

— Фрида — моя невеста, — проговорил К., одновременно разыскивая на двери место, где был глазок.

— Я знаю, — сказала Пепи, — я потому все это и рассказываю. Иначе ведь это для вас не имело бы значения.

— Понятно, — сказал К. — Я могу гордиться тем, что сумел покорить такую замкнутую девушку, вы это имеете в виду?

— Да, — ответила она и удовлетворенно засмеялась — так, словно ей удалось втянуть К. в какой-то тайный сговор против Фриды.

Впрочем, не столько ее слова занимали К. и несколько отвлекали от поисков, сколько ее внешность и ее присутствие в этом месте. Ко-

нечно, она намного моложе Фриды, почти еще ребенок, и одета забавно, видимо, эта одежда соответствует ее преувеличенным представлениям о значении должности служанки в пивной. Но ведь эти ее представления в некотором роде оправданны, ибо место, для которого она еще никак не подходит, досталось ей, вероятно, неожиданно, и незаслуженно, и лишь на время; даже кожаного карманчика, который Фрида всегда носила на поясе, ей не доверили. А ее мнимое недовольство местом — заносчивость и ничего больше. И все-таки, несмотря на ее детское неразумие, наверняка и она тоже имеет связи с Замком, ведь она, если не врет, была раньше горничной и, даже не зная, чем владеет, день за днем спала здесь; и если, обняв эту маленькую, толстенькую, немного сутулую фигурку, и нельзя вырвать у нее то, чем она владеет, то все же к этому можно хотя бы притронуться и взбодриться перед тяжелой дорогой. Тогда, может быть, все это — так же, как с Фридой? О нет, не так же. Чтобы это понять, достаточно только вспомнить взгляд Фриды. Никогда К. не притронулся бы к Пепи. Но тем не менее ему пришлось прикрыть на некоторое время глаза — так жадно он смотрел на нее.

— Он вовсе и не должен гореть, — сказала Пепи

и выключила свет, — я его зажгла только потому, что вы меня так сильно напугали. А вам здесь что нужно? Фрида что-то забыла?

— Да, — сказал К., указывая на дверь, — тут рядом, в этой комнате, — скатерть, такая белая, вязаная.

— Да, ее скатерть, — подтвердила Пепи, — я помню, красивая работа, я тоже ей тогда помогала, но в этой комнате она вряд ли будет.

— Фрида думает — там. А кто тут вообще-то живет? — спросил К.

— Никто, — сказала Пепи. — Это господская комната, здесь едят и пьют господа, то есть она для этого предназначена, но они обычно остаются наверху, в своих комнатах.

— Если бы знать, — сказал К., — что сейчас там никого нет, я был бы не прочь войти туда и поискать скатерть. Но как раз это и неизвестно: Кламм, например, частенько там сидит.

— Кламма там сейчас точно нет, — сообщила Пепи, — он же с минуты на минуту уезжает, во дворе уже сани ждут.

Тут же, не говоря больше ни слова, К. покинул пивную; в коридоре он повернул не к выходу, а вовнутрь дома и, сделав несколько шагов, оказался во дворе. Как здесь тихо и прекрасно!

Прямоугольный двор с трех сторон ограничен домом, а со стороны улицы (какой-то соседней улицы, которой К. не знал) — высокой белой стеной с большими, тяжелыми, в этот момент открытыми воротами. Отсюда, со стороны двора, дом кажется выше, чем с фасада, по крайней мере второй этаж полностью достроен и имеет более внушительный вид из-за идущей вдоль него закрытой (за исключением узкой щели на высоте глаз) деревянной галереи. Наискось от К., в среднем пролете здания, но уже в самом углу, где прилегал дальний боковой флигель, был вход в дом; он был открытым, без дверей. Перед входом стояли темные закрытые сани, запряженные парой лошадей. Никого не было видно, кроме кучера, фигуру которого на таком расстоянии и в наступивших уже сумерках К. скорее угадывал, чем различал.

Засунув руки в карманы, осторожно поглядывая по сторонам, К. обогнул, прижимаясь к стене, две стороны двора и приблизился к саням. Кучер (один из тех крестьян, которые в тот раз были в пивной), закутавшись в тулуп, безучастно смотрел, как он подходит, — так примерно, как прослеживают глазами путь кошки. К. уже оказался рядом с ним и поздоровался, и даже лошади

слегка заволновались, испуганные внезапным появлением из темноты человека, а тот оставался совершенно равнодушен. Это было К. очень кстати. Прислонившись к стене, он развернул свой сверток, вспомнил с благодарностью Фриду, которая так хорошо его снабдила, и заодно всмотрелся в глубь дома. Лестница, ломаясь под прямым углом, шла наверх, внизу она примыкала к низкому, но, по-видимому, глубокому переходу; все было чисто, побелено, разграничено прямыми, резкими линиями.

Ожидание тянулось дольше, чем К. предполагал. Он давно уже покончил с едой, холод давал о себе знать, сумерки перешли уже в полную темноту, а Кламм все не появлялся. «Этого можно еще очень долго ждать», — произнес вдруг грубый голос так близко от К., что он вздрогнул. Говорил кучер; будто бы проснувшись, он потянулся и громко зевнул.

— Чего именно можно долго ждать? — спросил К. не без благодарности за это вмешательство, так как тишина и длительное напряжение становились уже тягостны.

— Пока вы отсюда уйдете, — сказал кучер.

К. не понял его, но больше спрашивать не стал, полагая, что таким способом скорей всего

заставит этого заносчивого типа заговорить. Не ответить здесь, в такой темноте, — это было почти вызывающе. И действительно, через некоторое время кучер спросил:

— Хотите коньяку?

— Да, — ответил К. не задумываясь, слишком уж соблазнительным было это предложение, ведь он дрожал от холода.

— Тогда откройте сани, — сказал кучер, — там в боковом кармане несколько бутылок, возьмите одну, выпейте и дайте потом мне. Мне из-за тулупа очень несподручно слезать.

К. претило оказывать подобные услуги, но так как теперь он уже связался с кучером, он послушался, несмотря даже на опасность быть застигнутым кем-нибудь, например Кламмом, у саней. Он открыл широкую дверцу и мог бы сразу вытащить бутылку из кармана, который помещался с ее внутренней стороны, но теперь, когда дверца была открыта, его так сильно потянуло залезть в сани, что он не мог удержаться; только одно мгновение хотел он в них посидеть. Он шмыгнул внутрь. Необычайно тепло было в санях — и тепло сохранялось, хотя дверца, которую К. не посмел закрыть, была широко распахнута. Было даже непонятно, на скамье ли сидишь,

тело утопало в покрывалах, подушках и мехах, можно было повернуться, потянуться в любую сторону, и везде было так же мягко и тепло. Раскинув руки, положив голову на одну из подушек, которые были повсюду, К. вглядывался из саней в темноту дома. И чего это тянется так долго и не спускается Кламм? Словно оглушенный теплом после долгого стояния в снегу, К. желал, чтобы Кламм наконец пришел. Мысль о том, что было бы лучше, если бы Кламм не видел его в таком положении, доходила до его сознания очень смутно, вызывая лишь легкое беспокойство. В этом забытьи его поддерживало поведение кучера, который должен же был знать, что он в санях, и разрешал ему, даже не потребовав от него коньяк. Это было тактично, но К. ведь собирался его угостить. Лениво, не меняя позы, он потянулся к боковому карману, но не в открытой дверце, которая была слишком далеко, а в закрытой, позади него, да это и не имело значения: тут тоже были бутылки. Он вытащил одну, отвинтил пробку, понюхал и невольно усмехнулся: в запахе была такая сладость, такая ласка, словно ты от кого-то, кого очень любишь, услышал похвалу и добрые слова, и ты даже не знаешь, о чем речь, и даже не хочешь этого знать, и только счастлив

от сознания, что это он так с тобой говорит. «Это что, коньяк?» — с недоверием спросил себя К. и попробовал из любопытства. Как ни странно, это все-таки был коньяк, он обжигал, он согревал. Но как это превращалось, пока он пил, из чего-то, что казалось лишь сгустившимся сладким ароматом, в какое-то кучерское питье! «Разве это возможно?» — спросил, словно упрекая самого себя, К. и выпил еще.

Вдруг — К. в это время как раз отвлекся, делая длинный глоток, — стало светло: электрический свет горел внутри на лестнице, в переходе, в коридоре, снаружи над входом, слышались спускающиеся по лестнице шаги; бутылка выскользнула у К. из руки, коньяк разлился по меховой полости; К. выпрыгнул из саней, едва успев захлопнуть за собой дверцу, от грохота которой покатилось эхо, и сразу вслед за тем из дома медленно вышел какой-то господин. Единственным утешением казалось то, что это был не Кламм, — или как раз об этом следовало сожалеть? Это был тот господин, которого К. уже видел в окне второго этажа. Молодой господин, чрезвычайно хорошо выглядевший, — кровь с молоком, но очень серьезный. К. тоже смотрел на него мрачно, но этот взгляд относился к нему са-

мому. Уж лучше бы он помощников сюда послал: так вести себя, как он тут, и они бы сумели. Господин, стоявший перед ним, все еще молчал — так, как будто для того, что следовало сказать, у него не хватало дыхания в его очень широкой груди.

— Это просто ужасно, — сказал он затем и слегка сдвинул со лба свою шляпу.

Как? Господин ничего еще, вероятно, не знает о пребывании К. в санях и уже находит что-то ужасным? Может быть, то, что К. проник во двор?

— Как вы, собственно, попали сюда? — уже тише, уже дыша спокойнее, словно смиряясь с тем, чего не изменить, спросил господин.

Что это за вопросы? И каких он ждет ответов? Может, К. еще должен сам определенно подтвердить этому господину, что его с такими надеждами начатый путь был напрасным? Вместо ответа К. повернулся к саням, открыл их и вытащил свою шапку, которая осталась внутри. С тоскливым чувством заметил он, что коньяк капает на подножку.

Потом он снова повернулся к господину; теперь К. уже не опасался показать ему, что он был в санях, да это было и не самое худшее, и если бы его спросили — правда, только в этом случае, — он не стал бы скрывать, что кучер сам подтолкнул

его к тому, чтобы по крайней мере открыть сани. По-настоящему скверно было то, что этот господин застал его врасплох, и уже не было времени спрятаться от него, чтобы потом без помех ждать Кламма, или что у него не хватило духу остаться в санях, закрыть дверцу и там, на мехах, дожидаться Кламма, или хотя бы отсидеться там, пока этот господин был поблизости. Впрочем, откуда же было знать, ведь сейчас мог бы выйти и сам Кламм, а Кламма, разумеется, не стоило встречать в санях. Да, тут надо было тщательно все продумать, но теперь думать было уже не о чем, потому что это был конец.

— Идемте со мной, — сказал господин, как бы и не приказывая, приказ заключался не в словах, а в сопровождавшем их коротком, намеренно безразличном взмахе руки.

— Я жду здесь одного человека, — не надеясь уже на успех, только из принципа сказал К.

— Идемте, — еще раз, без малейших колебаний повторил господин, будто желая показать, что он никогда и не сомневался в том, что К. кого-то ждет.

— Но тогда я пропущу того, кого я жду, — сказал К., и по телу у него пробежала дрожь.

Несмотря на все случившееся, у него было такое

чувство, словно то, чего он уже успел достичь, есть своего рода достояние, и даже если оно пока еще призрачно, все же он не должен отдавать его по приказу первого встречного.

— Вы пропустите его в любом случае, будете вы ждать или уйдете, — сказал господин, при всей своей категоричности проявляя, однако, необычайную готовность следовать ходу мыслей К.

— Тогда я лучше пропущу его ожидая, — упрямо сказал К., он определенно не собирался позволить этому молодому господину одними только словами прогнать его отсюда. В ответ господин, откинув назад голову, с высокомерным видом прикрыл ненадолго глаза (так, словно от непонятливости К. вновь возвращался к своему собственному разуму), пробежал кончиком языка по приоткрытым губам и потом сказал кучеру:

— Распрягайте лошадей.

Подчиняясь господину, но искоса злобно взглянув на К., кучер теперь все-таки слез в своем тулупе с саней и очень нерешительно, так, словно он ждал — не противоположного приказа от господина, а перемены решения от К. — начал задом отводить лошадей с санями к боковому флигелю, за высокими воротами которого, очевидно, помещалась конюшня и стояли повозки. К. видел, что

остается в одиночестве, в одну сторону удалялись сани, в другую — по тому пути, которым пришел К., — молодой господин; правда, двигались они очень медленно, так, словно хотели показать К., что пока еще в его власти вернуть их назад.

Возможно, у него и была эта власть, но никакой пользы извлечь из нее он не мог: вернуть назад сани значило прогнать отсюда самого себя. И он стоял здесь один, поле боя осталось за ним, но эта победа не доставляла радости. Он поочередно смотрел вслед то господину, то кучеру. Господин уже дошел до дверей, через которые К. вышел во двор, и еще раз оглянулся — К., казалось, видел, как он качает головой от такого его упрямства, — потом одним решительным, коротким, окончательным движением господин повернулся и вошел в коридор, в котором сразу исчез. Кучер оставался на дворе дольше, у него было много возни с санями: ему надо было открыть тяжелые ворота конюшни, задним ходом поставить сани на место, выпрячь лошадей, отвести их в стойла — и он все делал обстоятельно, целиком уйдя в работу, не надеясь уже на скорую поездку; К. эта молчаливая возня без единого взгляда в его сторону казалась куда более жестоким упреком, чем поведение господина. И вот

когда, окончив работу в конюшне, кучер прошел своей медленной, качающейся походкой через двор, закрыл большие ворота, затем все так же медленно и буквально не отрывая глаз от своих собственных следов на снегу возвратился и потом закрылся в конюшне, и когда вслед за тем везде погасло электричество (для кого было светить?) и только щель в деревянной галерее наверху еще оставалась светлой и немного задерживала блуждавший взгляд, — тогда К. показалось, что теперь уже все связи с ним оборваны, и хоть он и стал теперь свободнее, чем когда-либо, и может здесь, в этом, вообще говоря, запретном для него месте ждать столько, сколько пожелает, и хоть свободу эту он отвоевал себе так, как вряд ли сумел бы кто-нибудь другой, и никто не смел его тронуть или прогнать (и даже, наверное, окликнуть), но в то же время — и это убеждение было по меньшей мере столь же сильным — не могло быть ничего более бессмысленного и безвыходного, чем эта свобода, это ожидание, эта неприкосновенность.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

И, сорвавшись с места, он пошел назад в дом, на этот раз не вдоль стены, а прямо через снег, встретил в коридоре хозяина, который молча ему кивнул и указал на дверь пивной, последовал этому указанию, потому что замерз и потому что хотел видеть людей, но был очень разочарован, когда, войдя, увидел сидящего за каким-то столиком (очевидно, специально туда выставленным, обычно там обходились бочонками) молодого господина и стоящую перед ним — тягостная для К. картина — хозяйку из предмостного трактира. Пепи, гордо вскинув головку с косой, отлетавшей при каждом повороте, и с неизменной своей улыбочкой носилась взад и вперед, преисполненная сознания своей значительности; она принесла пиво и потом чернила и перо, так как господин, разложив перед собой бумаги и сопоставив даты, которые он выискивал в бумагах то на одном, то на другом конце стола, собирался теперь писать. Хозяйка, чуть выпятив губы, словно отдыхая, молча смотрела с высоты своего роста на господина и бумаги — так, словно она уже все нужное сказала и сказанное было хорошо принято. «Господин

землемер наконец», — произнес при появлении К. молодой господин, коротко взглянув на него, затем снова углубился в свои бумаги. Хозяйка тоже лишь скользнула по К. равнодушным, ничуть не удивленным взглядом. А Пепи, кажется, вообще только тогда заметила К., когда он подошел к стойке и заказал коньяк.

К. облокотился о стойку и прикрыл глаза ладонью, не обращая ни на что внимания. Потом отпил коньяк — и отставил рюмку: в рот невозможно было взять.

— Все господа его пьют, — сухо сказала Пепи, выплеснула остатки, вымыла рюмку и поставила на полку.

— У господ есть и получше, — заметил К.

— Возможно, — ответила Пепи, — но у меня — нет.

На этом она покончила с К. и снова была к услугам господина, но тому ничего не требовалось, и она только без конца ходила за его спиной туда и обратно, огибая его и почтительно пытаясь заглянуть через его плечо в бумаги; это, однако, было лишь пустым любопытством и важничаньем, на которое и хозяйка смотрела, неодобрительно сдвинув брови.

Но вдруг хозяйка что-то услышала и, вся об-

ратившись в слух, уставилась в пустоту. К. оглянулся, он не услышал решительно ничего особенного, да и остальные, казалось, ничего не слышали, но хозяйка на цыпочках, делая большие шаги, побежала к задней двери, выходившей во двор, заглянула в замочную скважину, потом с расширенными глазами, с горящим лицом обернулась к остальным, поманила их пальцем — и теперь они уже заглядывали по очереди; большую часть времени смотрела хозяйка, но и Пепи тоже не забывала о себе, в сравнении с ними господин выглядел самым равнодушным. Пепи и господин вскоре и вернулись, только хозяйка все еще напряженно всматривалась, низко склонившись, почти встав на колени, создавалось даже впечатление, словно она теперь уже только умоляет замочную скважину пропустить ее, потому что там, вероятно, давно уже ничего не было видно. Когда наконец она все-таки поднялась, провела ладонями по лицу, поправила волосы и глубоко вздохнула (ее глаза, казалось, должны были теперь заново привыкать к комнате и людям и с отвращением делали это), К. сказал — не для того, чтобы ему подтвердили то, что он и так знал, но для того, чтобы предупредить нападение, которого почти боялся, так уязвим он

был теперь:

— Значит, Кламм уже уехал?

Хозяйка молча прошла мимо него, но господин отозвался из-за своего стола:

— Да, конечно. Поскольку вы покинули ваш сторожевой пост, Кламм смог уехать. Поразительно, однако, насколько господин чувствителен. Вы заметили, госпожа хозяйка, как беспокойно Кламм озирался?

Хозяйка, кажется, этого не заметила, но господин продолжал:

— Но, к счастью, ничего увидеть было уже нельзя: кучер даже все следы на снегу заровнял.

— Госпожа хозяйка ничего не заметила, — возразил К., но не потому, что на что-то надеялся, просто его разозлило это утверждение господина, намеренно высказанное так, словно оно окончательное и обжалованию не подлежит.

— Может быть, я как раз тогда не смотрела в скважину, — сказала хозяйка, беря вначале под защиту господина, но потом ей захотелось воздать должное и Кламму, и она прибавила: — Впрочем, я не верю в такую большую чувствительность Кламма. Мы, разумеется, боимся за него, и стараемся его защитить, и при этом исходим из предположения о какой-то крайней

чувствительности Кламма. Все это хорошо, и, безусловно, такова воля Кламма, но как с этим обстоит на самом деле, мы не знаем. Безусловно, с кем-то, с кем он разговаривать не хочет, Кламм никогда разговаривать не станет, сколько бы этот кто-то ни старался и как бы отвратительно он ни протискивался вперед, но ведь одного того, что Кламм никогда не допустит разговора с ним, никогда его пред очи свои не допустит, уже достаточно. Для чего же еще думать, что он в самом деле не может переносить чьего-то там вида? Это по меньшей мере недоказуемо, потому что это никогда не будет проверено.

Господин усиленно кивал.

— Разумеется, в сущности, и я такого же мнения, — сказал он, — если случилось, что я выразился немного иначе, то это для того, чтобы господину землемеру было понятнее. Однако верно и то, что Кламм, когда он вышел на открытое пространство, несколько раз оглянулся по сторонам.

— Может быть, он искал меня, — предположил К.

— Возможно, — ответил господин, — до этого я не додумался.

Все засмеялись; Пепи, которая едва ли что-ни-

будь из всего этого поняла, — громче всех.

— Раз уж мы теперь так весело проводим здесь время, — сказал затем господин, — я бы очень попросил вас, господин землемер, дополнить некоторыми данными мои акты.

— Много здесь пишут, — сказал К., издали взглянув на акты.

— Да, дурная привычка, — ответил господин и снова засмеялся, — но, может быть, вы еще даже не знаете, кто я. Я — Момус, секретарь Кламма в деревне.

После этих слов в комнате воцарилась серьезность; хотя хозяйка и Пепи, естественно, знали господина, все же они были как будто поражены этим оглашением имени и звания. И даже сам господин, словно сказав слишком много для того, чтобы представиться, и словно желая избежать, по крайней мере, всякой дальнейшей, сопряженной с его собственными словами торжественности, углубился в бумаги и начал писать, так что в комнате слышно было только, как скрипит перо.

— Что это, собственно, значит: «секретарь в деревне»? — спросил после некоторой паузы К.

За Момуса, который теперь, после того как он представился, уже не считал подобающим само-

му давать такие разъяснения, ответила хозяйка:

— Господин Момус — такой же секретарь Кламма, как и любой другой кламмовский секретарь, но его служебное местопребывание и, если я не ошибаюсь, также его служебная сфера… — Момус, продолжая писать, энергично замотал головой, и хозяйка поправилась, — значит, только его служебное местопребывание — не его служебная сфера — ограничено деревней. Господин Момус выполняет Кламму письменные работы, в которых появляется необходимость в деревне, и первым принимает все исходящие из деревни прошения к Кламму.

Поскольку К., пока еще мало всем этим затронутый, смотрел на хозяйку пустыми глазами, она, чуть смутившись, прибавила:

— Это так установлено, все господа из Замка имеют своих секретарей в деревне.

Момус, который слушал намного внимательнее К., сказал, дополняя хозяйку:

— Большинство секретарей в деревне работают только для одного господина, я же для двух: для Кламма и для Валлабене.

— Да, — подтвердила хозяйка, в свою очередь тоже теперь вспомнив, и повернулась к К., — господин Момус работает для двух господ, для

Кламма и для Валлабене, так что он — двойной секретарь в деревне.

— Даже двойной, — сказал К. и кивнул Момусу, который теперь, почти нагнувшись вперед, не отрываясь смотрел на него снизу вверх, — кивнул так, как кивают ребенку, которого только что похвалили.

Если и было тут некоторое презрение, то либо этого не заметили, либо как раз этого и желали. Ведь именно перед К., который был недостоин даже того, чтобы ему позволили хотя бы случайно попасться на глаза Кламму, исчерпывающе излагались заслуги этого Момуса из ближайшего окружения Кламма — с нескрываемым намерением заслужить признание и похвалу К. И все же К. не очень это прочувствовал; он, изо всех сил боровшийся за один взгляд Кламма, положение, к примеру, какого-нибудь Момуса, который на глазах Кламма мог жить, оценивал невысоко, он далек был от восхищения и тем более от зависти, так как не близость к Кламму сама по себе была для него достойна стремлений, ему было важно, чтобы он, К., именно он, а не кто-то другой, — со своими собственными, а не чьими-то желаниями пришел к Кламму, и пришел не для того, чтобы возле него успокоиться, а для того, чтобы пройти

мимо него дальше, в Замок.

И он посмотрел на свои часы и сказал:

— Ну мне, однако, пора идти домой.

Ситуация мгновенно изменилась в пользу Момуса.

— Да, разумеется, — сказал он, — обязанности школьного сторожа зовут. Но одну минуту вы еще должны мне уделить. Всего несколько коротких вопросов.

— Не имею никакого желания, — заявил К. и повернулся к двери.

Момус хлопнул актом по столу и поднялся.

— Именем Кламма я требую, чтобы вы ответили на мои вопросы.

— Именем Кламма! — повторил К. — Его разве волнуют мои дела?

— Об этом, — сказал Момус, — я судить не могу, но вы, по-видимому, — еще много менее, так что это мы оба можем спокойно оставить ему. А вот от вас я, исполняя полученную мной от Кламма должность, требую остаться и отвечать.

— Господин землемер, — вмешалась хозяйка, — я остерегаюсь уже вам советовать, вы ведь меня с моими прежними советами, самыми доброжелательными, какие только можно было дать, неслыханным образом отвергли, и сюда к

господину секретарю — мне скрывать нечего — я пришла только для того, чтобы должным образом уведомить служебные инстанции о вашем поведении и ваших намерениях и навсегда оградить себя от того, чтобы вас при случае снова поселили у меня; такие у нас с вами отношения, и тут, очевидно, ничего уже не изменится, и поэтому, если я теперь высказываю мое мнение, то делаю это не для того, чтобы вам, допустим, помочь, а для того, чтобы немного облегчить господину секретарю его тяжкую задачу, ведь он должен вести переговоры с таким человеком, как вы. Но, несмотря на это, вы по причине как раз моей полной откровенности (иначе, как откровенно, я с вами общаться не могу, да и так-то — через силу) можете извлечь из моих слов и для себя пользу, если только захотите. Так вот на этот случай я обращаю ваше внимание на то, что единственный для вас путь к Кламму проходит здесь — через протоколы господина секретаря. Но я не собираюсь преувеличивать: может быть, до самого Кламма этот путь и не доведет, может быть, он прервется задолго до него, — это все решает господин секретарь по своему усмотрению. Но во всяком случае, это — единственный для вас путь, который ведет, по крайней мере, в

направлении Кламма. И от этого единственного пути вы хотите отказаться — и не по какой другой причине, кроме упрямства?

— Ах, госпожа хозяйка, — сказал К., — это не только не единственный путь к Кламму, но и не более важный, чем другие. И вы, господин секретарь, решаете, сможет ли то, что я бы здесь сказал, дойти до Кламма или нет?

— Разумеется, — ответил Момус и, гордо опустив глаза, посмотрел вправо и влево, где смотреть было не на что, — иначе какой же я секретарь?

— Ну вот видите, госпожа хозяйка, — повернулся к ней К., — не к Кламму мне нужен путь, а сначала к господину секретарю.

— Я хотела открыть для вас этот путь, — сказала хозяйка, — разве я не предлагала вам утром передать вашу просьбу Кламму? Это было бы сделано через господина секретаря. Но вы это отклонили, и все-таки теперь у вас не остается ничего другого — один только этот путь. Правда, после сегодняшней вашей выходки, после этой попытки устроить засаду на Кламма, — с еще меньшими шансами на успех. Но эта последняя, мельчайшая, исчезающе-малая, собственно, вообще не существующая надежда тем не менее для

вас — единственная.

— Как это получается, госпожа хозяйка, — сказал К., — что вначале вы так настойчиво пытались убедить меня не пробиваться к Кламму, а теперь принимаете мою просьбу так всерьез, и меня в случае неудачи моих планов, кажется, считаете в некотором роде пропащим. Если тогда можно было с чистым сердцем отговаривать меня от того, чтобы вообще стремиться к Кламму, то как же можно теперь, вроде бы с таким же чистым сердцем прямо-таки гнать меня вперед по этому пути к Кламму, пусть даже он, как мы договорились, и не ведет к нему?

— Разве я гоню вас вперед? — удивилась хозяйка. — Это называется «гнать вперед», когда я говорю, что ваши попытки безнадежны? Это… поистине уже было бы верхом дерзости, если бы вы захотели подобным образом переложить ответственность с себя на меня. Не присутствие ли господина секретаря вызывает у вас такое желание? Нет, господин землемер, я вас решительно никуда не гоню. Только в одном должна я признаться: в том, что, когда я в первый раз вас увидела, я вас, пожалуй, немного переоценила. Ваша быстрая победа над Фридой испугала меня, я не знала, на что еще вы можете оказаться

способны, я хотела предотвратить дальнейшие несчастья и думала, что сумею достичь этого не иначе как попытавшись просьбами и угрозами поколебать вас. За это время я научилась смотреть на все спокойнее. Делайте что хотите. Ваши дела, возможно, оставят глубокие следы там, на снегу во дворе, — но и только.

— Мне не кажется, что противоречие вполне разъяснено, — заметил К., — тем не менее я удовлетворяюсь тем, что на него обратили внимание. Но теперь я попрошу вас, господин секретарь, сказать мне, верно ли это мнение госпожи хозяйки, а именно: что протокол, который вы хотите с моей помощью составить, мог бы иметь своим следствием выдачу мне разрешения предстать перед Кламмом? Если это так, то я готов немедленно ответить на все вопросы. В этом случае я вообще на все готов.

— Нет, — сказал Момус, — такие зависимости не имеют места. Речь идет только о том, чтобы представить Кламмовой деревенской регистратуре точное описание сегодняшнего вечера. Это описание уже готово, вам надлежит заполнить только два-три пробела, порядка ради; какая-либо другая цель здесь не имеет места — и не может быть достигнута.

К. молча смотрел на хозяйку.

— Что вы на меня смотрите, — возмутилась хозяйка, — может быть, я что-нибудь другое сказала? Вот так он всегда, господин секретарь, вот так он всегда. Поймет неверно объяснения, которые ему дают, а потом утверждает, что ему неверно объяснили. Я ему с самого начала, и сегодня, и всегда говорила, что у него нет ни малейших шансов быть принятым Кламмом; ну а раз шансов нет, то, значит, и с помощью этого протокола он их не получит. Что может быть яснее? Дальше я говорю, что этот протокол — единственная действительная официальная связь, которая у него может быть с Кламмом, и это тоже достаточно ясно и не подлежит сомнению. Но раз уж он мне не верит и все время — я не знаю, почему и зачем, — надеется, что сумеет пробиться к Кламму, то тогда, если следовать ходу его мыслей, помочь ему может только единственная действительная официальная связь, которая есть у него с Кламмом, то есть этот протокол. Только это я сказала, и тот, кто утверждает что-то другое, злонамеренно передергивает слова.

— Если это так, госпожа хозяйка, — отвечал К., — тогда я прошу у вас прощения, тогда я вас не так понял, я как раз полагал — ошибочно, как

теперь выясняется, — что из тех слов, которые я слышал от вас прежде, следует, что все-таки какая-то самая ничтожная надежда для меня существует.

— Безусловно, — сказала хозяйка, — я именно так и считаю, вы опять передергиваете мои слова, но на этот раз в другую сторону. Какая-то такая надежда для вас, по моему мнению, существует и связана, разумеется, только с этим протоколом. Но положение здесь не такое, чтобы вы могли запросто набрасываться на господина секретаря с вопросом: «Пустят ли меня к Кламму, если я отвечу на эти вопросы?» Когда ребенок так спрашивает, над этим смеются, когда так поступает взрослый, это — оскорбление должностного лица; только тонкостью своего ответа господин секретарь милостиво это сгладил. А та надежда, которую я имею в виду, заключается именно в том, чтобы у вас через протокол был какой-то род связи, *может быть,* был какой-то род связи с Кламмом. Разве это вам не надежда? Если бы вас спросили, за какие заслуги вам могла бы быть подарена такая надежда, смогли бы вы указать хоть самые малые? Правда, ничего более определенного об этой надежде нельзя сказать, и в особенности господин секретарь по своему

служебному положению никогда не сможет сделать на этот счет даже малейшего намека. Для вас, как он сказал, речь идет только об описании сегодняшнего вечера, порядка ради, — большего он не скажет, даже если вы, ссылаясь на мои слова, прямо сейчас его об этом спросите.

— Ну так что, господин секретарь, Кламм будет читать этот протокол? — спросил К.

— Нет, — ответил Момус, — зачем же? Кламм ведь не может читать все протоколы, он и вообще никакие не читает. «Оставьте меня в покое с вашими протоколами!» — говорит он обычно.

— Господин землемер, — жалобно сказала хозяйка, — вы убиваете меня такими вопросами. Разве так уж нужно или хотя бы желательно, чтобы Кламм прочел этот протокол и досконально узнал обо всех ничтожных подробностях вашей жизни? Не лучше ли вам смиреннейше просить, чтобы этот протокол спрятали от Кламма, впрочем, эта просьба была бы так же бессмысленна, как и предыдущая, ибо кто может спрятать что-то от Кламма? — но она хотя бы свидетельствовала о более привлекательном характере. И разве нужно это для того, что вы называете «вашей надеждой»? Разве не заявляли вы сами, что были бы довольны, если бы имели возможность только

говорить при Кламме, даже если бы он на вас не смотрел и вас не слушал? И разве не достигаете вы посредством протокола не только этого, но, быть может, и много большего?

— Много большего? — спросил К. — Каким образом?

— Ну что вы вечно, — крикнула хозяйка, — как ребенок, хотите, чтобы вам все подносили на блюдечке! Кто же может ответить на такие вопросы? Протокол пойдет в деревенскую регистратуру Кламма, вы это слышали, больше об этом с определенностью ничего сказать нельзя. Но вам-то понятно теперь все значение протокола, господина секретаря, деревенской регистратуры? Понимаете вы, что это значит — если господин секретарь вас допрашивает? Может быть, даже наверное, он и сам этого не понимает. Он тихо сидит здесь и выполняет свои обязанности — порядка ради, как он сказал. Но вы вдумайтесь в то, что его назначил Кламм, что он работает от имени Кламма, что на все, что он делает, даже если это никогда не доходит до Кламма, заранее имеется согласие Кламма. А разве может иметься согласие Кламма на то, что не проникнуто его духом? Я далека от какого-то желания неуклюже польстить господину секретарю — он бы и сам

против этого очень возражал, — но я говорю не о его самостоятельной личности, а о том, что он из себя представляет, когда имеет согласие Кламма, как, например, теперь: тогда он — инструмент, на котором лежит рука Кламма, и горе тому, кто ему не подчиняется.

Угроз хозяйки К. не боялся, от надежд, которыми она пыталась его завлечь, он устал. Кламм был высоко. Однажды хозяйка сравнила Кламма с орлом, и тогда это показалось К. смешным, но теперь уже не казалось; он думал о его высоте, о его неприступном жилище, о его молчании, быть может, прерываемом лишь криками, каких К. еще никогда не слыхал, о его устремленном вниз взгляде, который невозможно обнаружить и которому невозможно противиться, о его неразрушимых из той глубины, где был К., кругах, которые он очерчивал вверху по непонятному закону, видимый лишь на мгновение, — все это у Кламма и орла было общим. Но протокол к этому явно не имел никакого отношения; как раз в этот момент Момус разломал над протоколом соленый кренделек, который он взял себе к пиву, и засыпал все бумаги на столе солью и тмином.

— Спокойной ночи, — сказал К., — не переношу никаких допросов, — и теперь он действительно

пошел к двери.

— Так он все-таки уходит, — почти испуганно сказал Момус хозяйке.

— Он не посмеет, — начала та, но дальше К. не слышал, он был уже в коридоре.

Было холодно и дул сильный ветер. Из двери напротив вышел хозяин, казалось, что он через какой-то глазок вел оттуда наблюдение за коридором. Полы фрака ему пришлось обернуть вокруг тела, так рвал их даже здесь, в коридоре, ветер.

— Уже уходите, господин землемер? — спросил он.

— Вас это удивляет? — ответил вопросом К.

— Да, — сказал хозяин. — Вас разве не будут допрашивать?

— Нет, — ответил К. — Я не позволил себя допрашивать.

— Почему нет? — поинтересовался хозяин.

— Я не понимаю, — сказал К., — почему я должен позволять себя допрашивать, почему я должен подчиняться какой-то шутке или бюрократической прихоти. Может быть, в какой-нибудь другой раз я бы точно так же в шутку или по прихоти это сделал, но не сегодня.

— Ну да, конечно, — согласился хозяин, но это было лишь вежливое, отнюдь не убежденное

согласие. — Мне надо теперь впустить слуг в пивную, — сказал он затем, — их время давно уже пришло. Я просто не хотел мешать допросу.

— Считаете его таким важным делом? — спросил К.

— О да, — кивнул хозяин.

— Значит, мне не следовало от него отказываться? — уточнил К.

— Да, — сказал хозяин, — вам не следовало этого делать.

К. молчал, и хозяин — то ли, чтоб утешить К., то ли, чтобы быстрей уйти, — добавил:

— Ну-ну, из-за этого ведь гром сейчас с неба не грянет.

— Да, — сказал К., — судя по погоде, непохоже.

И они разошлись, усмехаясь.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

К. вышел на крыльцо, свирепо обдуваемое ветром, и взглянул в темноту. Скверная погода, скверная. В какой-то связи с этим ему опять вспомнилось, как хозяйка старалась заставить его подчиниться протоколу и как он все же устоял. Правда, старания эти не были искренними, втайне она одновременно обеими руками оттаскивала его от протокола, и в итоге уже нельзя было понять, устоял он или поддался. Какая-то интриганская душа, работающая, по видимости, бессмысленно, как ветер, по каким-то далеким, чужим указаниям, в смысл которых никогда не проникнешь.

Он успел сделать лишь несколько шагов по дороге, как увидел две качающиеся светлые точки; эти признаки жизни обрадовали его, и он поспешил к ним, они тоже, в свою очередь, плыли ему навстречу. Он не понимал, почему был так разочарован, когда узнал помощников. Ведь их, по-видимому, Фрида послала его встречать, и фонари, освобождавшие его из темноты, которая грозно шумела вокруг него, были, наверное, его собственностью, — несмотря на это, он был

разочарован, он ждал чего-то неведомого, а не этих старых знакомых, которые ему осточертели. Но тут были не только помощники, из темноты между ними выступил вперед Барнабас.

— Барнабас! — крикнул К. и протянул к нему руку. — Ты ко мне идешь?

Неожиданность встречи заставила поначалу забыть все огорчения, которые Барнабас успел причинить К.

— К тебе, — сказал Барнабас с тем же дружелюбием, что и тогда. — С письмом от Кламма.

— Письмо от Кламма! — повторил, вскидывая голову, К. и поспешно выхватил его из рук Барнабаса. — Светите! — приказал он помощникам, которые справа и слева тесно прижались к нему и подняли фонари. К. пришлось сложить большой лист почтовой бумаги до совсем маленького квадратика, чтобы уберечь его от ветра. После этого он прочел: «Господину землемеру в предмостном трактире! Землемерные работы, проведенные Вами на сегодняшний день, заслужили мое одобрение. Работа помощников также достойна похвалы. Вы умеете заставить их работать. Не ослабляйте Ваших усилий! Ведите работы к успешному завершению. Их приостановка вызвала бы мое недовольство. Об остальном

не беспокойтесь, вопрос оплаты будет решен в ближайшее время. Я держу Вас в поле зрения». К. оторвался от письма только тогда, когда читавшие намного медленнее, чем он, помощники в ознаменование хороших новостей трижды громко прокричали «ура!» и фонари заколебались.

— Тихо вы, — сказал он им и затем — Барнабасу: — Это какое-то недоразумение.

Барнабас не понимал его.

— Это недоразумение, — повторил К., и накопившаяся за день усталость вновь навалилась на него, и путь к школе показался еще таким далеким, и за Барнабасом выросла вся его семья.

Помощники все еще прижимались к К., и ему пришлось отпихнуть их локтями; как могла Фрида послать их ему навстречу, ведь он приказал, чтобы они оставались при ней. Дорогу домой он бы и сам нашел, и даже легче, чем в этом обществе. К тому же еще один из них обмотал вокруг шеи какой-то платок, свободные концы которого болтались на ветру и уже несколько раз хлестали К. по лицу; второй помощник, разумеется, всякий раз тут же снимал платок своими длинными, острыми, беспрерывно бегающими пальцами с лица К., но легче от этого не становилось. Оба, кажется, даже находили в этой игре удовольствие, да и

вообще ветер и тревога ночи их воодушевляли.

— Прочь! — крикнул К. — Если уж вы пошли меня встречать, почему вы не захватили мою палку? Чем мне теперь гнать вас домой?

Они пригнулись, спрятавшись за Барнабаса, но не были настолько напуганы, чтобы не поставить в то же время свои фонари справа и слева на плечи своего защитника — он, правда, тут же их сбросил.

— Барнабас, — сказал К., и у него стало тяжело на сердце оттого, что Барнабас явно его не понимал, оттого, что, когда все было спокойно, куртка Барнабаса красиво блестела, но когда становилось трудно, от него не было никакой помощи, только глухое сопротивление, — сопротивление, с которым невозможно было бороться, так как сам Барнабас был безоружен, только улыбка его светилась, но это помогало так же слабо, как звездный свет наверху против бури здесь внизу. — Смотри, что мне этот господин пишет, — сказал К. и сунул ему письмо к глазам. — Господина неправильно информировали. Я же не делаю никакой измерительной работы, а чего стоят помощники, ты сам видишь. Правда, работу, которую я не делаю, я не могу и приостановить, я не могу даже вызвать недовольство

этого господина — как я мог заслужить его одобрение? И я не могу не беспокоиться.

— Я это передам, — сказал Барнабас, все это время смотревший мимо письма, которое он, впрочем, все равно не смог бы прочитать, потому что оно было перед самым его лицом.

— Ах, — вздохнул К., — ты обещаешь мне, что передашь, но разве я могу действительно тебе верить? Мне так нужен посыльный, которому можно доверять, теперь — больше, чем когда-либо.

К. кусал от нетерпения губы.

— Господин, — сказал Барнабас, так кротко склоняя голову, что К. чуть было снова не поддался соблазну поверить ему, — я это, конечно, передам, — и то, что ты мне в прошлый раз поручил, я тоже, конечно, передам.

— Как? — воскликнул К. — Ты разве еще не передал? Ты разве не был на другой день в Замке?

— Нет, — ответил Барнабас. — Мой добрый отец уже стар, ты ведь его видел, и как раз тогда было много работы, я должен был ему помочь, но теперь я как-нибудь на днях снова схожу в Замок.

— Но чем же ты занимаешься, непостижимый ты человек! — воскликнул К., ударив себя по лбу. — Разве дела Кламма не важнее всех осталь-

ных? У тебя высокие обязанности посыльного — и ты относишься к ним так постыдно? Кому дело до работы твоего отца? Кламм ждет известий, а ты вместо того, чтобы мчаться сломя голову, принимаешься навоз возить из хлева?

— Мой отец — сапожник, — сказал Барнабас невозмутимо, — у него были заказы от Брунсвика, а я ведь у отца подмастерье.

— Сапожник — заказы — Брунсвик, — ожесточенно выкрикивал К., будто делая каждое из этих слов навсегда непригодным к употреблению. — И кому вообще нужны здесь сапоги на этих вечно пустых дорогах? И какое мне дело до всей этой сапожни, я доверил тебе сообщение не для того, чтобы ты на своей сапожной скамье все перезабыл и перепутал, а для того, чтобы ты его сразу же передал господину.

Тут К. немного поуспокоился, так как ему пришло в голову, что ведь Кламм, по-видимому, все это время был не в Замке, а в господском трактире, но Барнабас снова разозлил его, начав пересказывать К. наизусть его первое сообщение в доказательство того, что он хорошо его запомнил.

— Довольно, я не хочу ничего знать, — оборвал его К.

— Не сердись на меня, господин, — попросил Барнабас и, будто неосознанно желая наказать К., отвел от него свой взгляд и опустил глаза, хотя, скорее всего, это было смущение, вызванное криком К.

— Я не сержусь на тебя, — сказал К., и его раздражение обратилось теперь на него самого. — На тебя — нет, но для меня это очень худо, что для важных дел у меня есть только один такой посыльный.

— Послушай, — начал Барнабас, и показалось, что для того, чтобы защитить свою честь посыльного, он сейчас скажет больше, чем вправе сказать. — Кламм же не ждет известий, он даже злится, когда я прихожу. «Опять новые известия», — сказал он однажды, и большей частью, как только он увидит издали, что я иду, он встает, уходит в соседнюю комнату и не принимает меня. И потом, так не установлено, что я должен с каждым сообщением сразу приходить; если бы было установлено, я бы, разумеется, сразу пришел, но про это так не установлено, и если бы я вообще не пришел, мне бы об этом и не напомнили. Если я приношу сообщение, то делаю это добровольно.

— Хорошо, — сказал К., вглядываясь в Барнабаса и нарочно стараясь не смотреть на помощников,

которые поочередно медленно, словно вырастая из-под земли, поднимались за плечами Барнабаса и быстро, с легким, подражающим ветру свистом, исчезали, будто испуганные видом К.; они уже долго так развлекались. — Что и как там у Кламма, я не знаю, что ты способен правильно во всем там разобраться — в этом я сомневаюсь, а даже если б и был способен, мы бы ничего не смогли там изменить. Но передать сообщение — это ты можешь, и об этом я тебя прошу. Совсем коротенькое сообщение. Можешь ты сразу, завтра же, его отнести и сразу же, завтра, сказать мне ответ или по крайней мере передать, как тебя приняли? Можешь ли ты и хочешь ли ты это сделать? Для меня это было бы очень важно. И может быть, у меня еще будет возможность соответственно тебя отблагодарить, или, может быть, у тебя уже сейчас есть какое-нибудь желание, которое я могу для тебя исполнить?

— Конечно, я выполню поручение, — сказал Барнабас.

— А хочешь ты постараться выполнить его как можно лучше, самому передать его Кламму, самому получить от Кламма ответ, причем — сразу, совсем сразу, завтра, еще утром, — хочешь ты это?

— Я сделаю все, что могу, — заверил Барнабас, — но я это всегда делаю.

— Сейчас мы об этом больше спорить не будем, — сказал К. — Вот поручение: «Землемер К. просит у господина управляющего разрешения лично посетить его; он заранее принимает любые условия, которые могли бы быть связаны с таковым разрешением. Просьба его является вынужденной, так как все лица, служившие до сих пор посредниками, оказались полностью несостоятельными, в доказательство чего он приводят тот факт, что ни малейшей измерительной работы он до сих пор не произвел и, как уведомляет староста общины, никогда и не произведет; поэтому ему было до отчаяния стыдно читать последнее письмо господина управляющего, помочь здесь может только личное посещение им господина управляющего. Землемер знает, сколь много он тем самым испрашивает, но он постарается сделать так, чтобы беспокойство господина управляющего было как можно менее ощутимо, он согласен на любые временные ограничения, и, если, к примеру, будет сочтено необходимым установить число слов, которые он имеет право использовать при разговоре, он также подчинится; он полагает, что сможет обойтись даже

десятью словами. С глубоким почтением и в крайнем нетерпении ожидает он решения».

К. говорил самозабвенно, так, как если бы он стоял перед дверью Кламма и говорил с привратником.

— Вышло намного длиннее, чем я думал, — сказал он затем, — но ты все-таки должен передать это устно, письмо писать я не хочу, оно ведь пошло бы этим бесконечным официальным путем.

И на клочке бумаги на спине одного из помощников, в то время как другой светил, К. нацарапал слова — только для Барнабаса, хотя мог бы уже записывать их под диктовку Барнабаса, который все запомнил и по-ученически точно проговаривал, не обращая внимания на неверные подсказки помощников.

— Память у тебя исключительная, — похвалил К., отдавая ему бумажку, — но теперь, пожалуйста, прояви себя исключительно и в остальном. А желания? У тебя нет? Я бы — откровенно это говорю — был намного спокойнее за судьбу моего сообщения, если б у тебя были какие-нибудь желания.

Барнабас помолчал, потом сказал:

— Мои сестры передают тебе привет.

— Твои сестры, — повторил К., — да, эти рослые, крепкие девушки.

— Обе передают привет, но особенно Амалия, — продолжал Барнабас, — она и принесла мне сегодня это письмо для тебя из Замка.

Ухватившись прежде всего за это известие, К. спросил:

— А не могла бы она и мое сообщение отнести в Замок? Или не могли бы вы пойти оба, и каждый попытал бы свое счастье?

— Амалия, конечно, с удовольствием сделала бы это, — ответил Барнабас, — но ей в канцелярии нельзя.

— Я, может быть, завтра зайду к вам, — сказал К., — ты только сначала приходи с ответом. Я буду ждать тебя в школе. И передай от меня привет твоим сестрам.

Обещание К., кажется, очень обрадовало Барнабаса, и после прощального рукопожатия он к тому же еще слегка прикоснулся к плечу К. И словно все теперь снова было как тогда, когда Барнабас вошел, сверкая курткой, в залу с крестьянами, К. принял это прикосновение — усмехаясь, разумеется, — как какую-то награду. Смягчившись, он на обратном пути позволял помощникам вытворять все, что они хотели.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Домой добрался он совсем замерзшим, везде было темно, свечи в фонарях выгорели; двигаясь ощупью вслед за помощниками, которые здесь уже ориентировались, он попал в какое-то школьное помещение.

— Первое ваше дело, достойное похвалы, — сказал он, вспомнив письмо Кламма.

Еще не проснувшись, из какого-то угла закричала Фрида:

— Дайте же К. поспать! Не мешайте ему! — настолько занимал К. ее мысли даже несмотря на то, что она, побежденная сном, не могла его дождаться.

Наконец зажгли свет, впрочем, фитиль лампы нельзя было особенно выкрутить, так как в ней было очень мало керосина. В молодом хозяйстве еще многого недоставало. Печь хотя и затапливали, но большая комната, которую использовали и для занятий физкультурой (кругом стояли и свисали с потолка спортивные снаряды), уже поглотила все запасенные дрова; как уверяли К., она было уже очень славно нагрелась, но, к сожалению, снова совсем выстудилась. Имелся,

правда, большой запас дров в сарае, но сарай этот был заперт, и ключ был у учителя, который позволял брать дрова только чтобы топить в часы занятий. Это можно было бы пережить, укрывшись в кроватях, если бы они были, но в этом смысле не было ничего, кроме единственного соломенного тюфяка, с похвальной аккуратностью покрытого шерстяным платком Фриды, но — без перины и лишь с двумя грубыми, жесткими одеялами, которые навряд ли грели. И даже на этот жалкий соломенный тюфяк помощники поглядывали с вожделением, но надежды на то, что им когда-нибудь разрешат на него улечься, у них, конечно, не было. Фрида со страхом смотрела на К.; то, что она умеет даже самую жалкую комнату сделать пригодной для жилья, она вполне доказала в предмостном трактире, но здесь вот так, совсем без всяких средств, она уже ничего не могла сделать.

— Единственное украшение нашей комнаты — эти спортивные снаряды, — вымученно улыбаясь сквозь слезы, сказала она.

Но относительно самых больших недостатков: неудовлетворительного отопления и условий для сна — она определенно обещала улучшений уже на следующий день и просила К. потерпеть толь-

ко до завтра. И ни слова, ни намека, ни гримасы, по которым можно было бы заключить, что в душе ее гнездится хотя бы малейшая досада на К., несмотря на то что ведь он (он должен был сказать себе это) вырвал ее не только из господского, но теперь и из предмостного трактира. Поэтому К. постарался все найти сносным, что ему было, впрочем, совсем нетрудно, так как мысленно он шагал вместе с Барнабасом и повторял слово за словом свое послание, но не так, как он передавал его Барнабасу, а так, как, по его расчетам, оно прозвучит для Кламма. Правда, в то же время он и искренне радовался кофе, который Фрида варила ему на спиртовке, и следил, прислонясь к остывшей печке, за ее быстрыми, заученными движениями, которыми она расстилала на кафедре все ту же неизменную белую скатерть, ставила кофейную чашку в цветочках и потом — хлеб, и сало, и даже банку сардин. Наконец все было готово; Фрида тоже еще не ела, ждала К. В комнате было два стула, на них за столом сидели К. и Фрида, у их ног, на ступеньке возвышения, — помощники, но они ни минуты не оставались спокойны и мешали даже во время еды. Хотя они уже вдоволь всего получили и далеко еще с этим не управились, они то и дело привставали, чтобы

удостовериться, что на столе еще много всего и они еще могут на что-то рассчитывать. К. ими не интересовался, только смех Фриды заставил его обратить на них внимание. Он ласково накрыл ее руку на столе своей и тихо спросил, почему она им так много прощает, ведь даже их распущенность она принимает дружелюбно. Так от них никогда не отделаешься, в то время как путем в известной степени жесткого — и более соответствующего их поведению — обращения можно было бы или добиться, чтобы они притихли, или — что еще вероятнее и было бы еще лучше — настолько отравить им существование, что они в конце концов сбежали бы. Ведь, судя по всему, пребывание здесь, в этой школе, будет не особенно приятным (ну оно ведь и не продлится долго), но все эти неудобства были бы почти незаметны, если бы тут не было помощников и они остались бы вдвоем в тихом доме. И разве она не замечает, что помощники становятся день ото дня наглее, как будто им придает смелости уже само присутствие Фриды и надежда на то, что при ней К. не станет обращаться с ними так сурово, как бы он хотел. Впрочем, может быть, есть какое-нибудь совсем простое средство немедленно, без всяких хлопот от них отделаться, может быть, Фрида

даже знает такое средство, ведь она так хорошо разбирается в здешних отношениях. Да и самим помощникам, скорей всего, только оказали бы услугу, если бы их как-нибудь прогнали, потому что ведь живут они здесь не бог весть как роскошно, и даже то безделье, которым они до сих пор упивались, теперь, по крайней мере, частично прекратится, потому что им-таки придется поработать: Фриде после всех волнений этих последних дней надо себя поберечь, а он, К., будет занят поисками выхода из их затруднительного положения. Однако если помощники уберутся, то он почувствует от этого такое облегчение, что легко сумеет выполнить сам и работу школьного сторожа, и все остальное.

Фрида, внимательно выслушав его, медленно погладила его руку и сказала, что она во всем с ним согласна, но что он, может быть, все-таки преувеличивает распущенность помощников: ведь они — молодые ребята, веселые и в чем-то наивные, впервые на службе у чужого человека и освобождены от строгой замковой дисциплины, поэтому постоянно немного возбуждены и удивлены, в таком состоянии они иногда и совершают глупости, сердиться на которые хотя и естественно, но разумнее над ними посмеяться. Она,

например, иногда просто не может удержаться от смеха. Тем не менее она полностью разделяет мнение К., что самое лучшее было бы их отослать и остаться вдвоем. Она придвинулась ближе к К. и спрятала лицо на его плече. И оттуда сказала — так неразборчиво, что К. пришлось наклониться к ней, — что, однако, она не знает никакого средства против помощников и боится, что все, что К. предложил, не подействует. Насколько ей известно, К. сам же их хотел, и вот теперь они у него есть, и они при нем останутся. Лучше всего не принимать их всерьез, ведь и сами они народ несерьезный, — так их легче всего переносить.

К. не был удовлетворен таким ответом; полушутя-полусерьезно он сказал, что, ей-богу, создается такое впечатление, будто она с ними заодно или, по крайней мере, питает к ним большую склонность; вообще они, конечно, симпатичные ребята, но не бывает таких, от которых при наличии доброй воли нельзя было бы избавиться, и он ей это на своих помощниках докажет.

Фрида сказала, что она будет ему очень благодарна, если это ему удастся. Впрочем, с этой минуты она больше не станет над ними смеяться и не скажет с ними ни одного лишнего слова. Она больше и не видит в них ничего смешного,

это ведь в самом деле не шутка, когда за тобой постоянно наблюдают двое мужчин, она научилась смотреть на этих двоих его глазами. И она в самом деле слегка вздрогнула, когда помощники в этот момент снова привстали — отчасти для ревизии запасов съестного, отчасти для выяснения причин такого непрерывного перешептывания.

К. воспользовался этим, чтобы настроить Фриду против помощников, привлек ее к себе, и рядом, друг подле друга, они закончили ужин. Наконец пора было уже ложиться спать; все очень устали, один помощник даже заснул за едой, что очень веселило другого: он пытался убедить господ посмотреть на глупое лицо спящего, но ему это не удалось, К. и Фрида отчужденно сидели наверху. В холоде, который становился невыносимым, они не решались идти спать, в конце концов К. заявил, что надо протопить еще, иначе заснуть будет невозможно. Он стал искать какой-нибудь топор, помощники знали, где лежит один, принесли его, и все пошли к дровяному сараю. Вскоре легкая дверь была взломана; в восторге, как будто ничего столь восхитительного они еще не испытывали, подгоняя и пихая друг друга, помощники начали носить дрова в класс, вскоре там была уже большая груда; затопили, все

расположились возле печи, помощникам дали одно одеяло, чтобы в него завернуться, этого было вполне достаточно, так как условились, что один из них постоянно должен бодрствовать и поддерживать огонь; скоро возле печки стало так тепло, что даже одеяла уже не требовалось; лампу потушили, и, счастливые от тепла и тишины, К. и Фрида улеглись наконец спать.

Проснувшись среди ночи от какого-то шороха и первым неверным, сонным движением в темноте потянувшись к Фриде, К. понял, что вместо Фриды рядом с ним лежит помощник. Это был — по-видимому, вследствие напряженности нервов, которую всегда вызывает неожиданное пробуждение, — самый большой ужас, пережитый им со дня прихода в деревню. Вскрикнув, он привскочил и, не помня себя, так стукнул помощника кулаком, что тот расплакался. Все, впрочем, сразу объяснилось. Фрида проснулась оттого, что (по крайней мере, ей так показалось) какой-то большой зверь, кошка, наверное, прыгнул ей на грудь и потом сразу убежал. Она встала и в поисках зверя обшарила со свечой всю комнату. Этим воспользовался один из помощников, чтобы доставить себе удовольствие немного полежать на соломенном тюфяке, за что он теперь горько

поплатился. Фрида, однако, никого не нашла, может быть, это ей просто почудилось, и вернулась к К.; на ходу, будто забыв вечерний разговор, она, утешая, погладила скорчившегося, хнычущего помощника по голове. К. ничего на это не сказал, только помощнику приказал перестать топить, так как, израсходовав почти все запасенные дрова, они натопили до того, что стало уже чересчур жарко.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром все проснулись только тогда, когда первые школьники уже были в классе и с любопытством окружили лежащих. Это было неприятно, так как из-за сильной жары, которая, впрочем, к утру сменилась чувствительным холодом, все разделись до рубашек, — и именно в тот момент, когда они начали одеваться, в дверях появилась Гиза, учительница, светловолосая, высокая, красивая, немного только чопорная девушка. Она была явно подготовлена к встрече с новым школьным сторожем и, очевидно, также получила от учителя указания, как вести себя, так как уже с порога заявила:

— Этого я не потерплю. Хорошенькие были бы условия. Вам разрешено спать в классе, но я не обязана проводить занятия в вашей спальне. Семья школьного сторожа, которая все утро валяется в кроватях. Фу!

Ну, на это можно было бы кое-что ответить, особенно насчет семьи и кроватей, думал К., в то время как они с Фридой (помощников для этого употребить было нельзя: лежа на полу, они с изумлением взирали на учительницу и детей)

поспешно сдвигали брусья и коня, набрасывали на них одеяла и отгораживали таким образом маленький закуток, в котором, спрятавшись от взглядов детей, можно было, по крайней мере, одеться. Покоя, разумеется, не было ни минуты; вначале учительница подняла крик, что в умывальнике нет свежей воды — как раз в этот момент К. собирался забрать умывальник для себя и Фриды; он оставил пока это намерение, чтобы не слишком раздражать учительницу, но его смирение ничему не помогло, так как вскоре вслед за тем раздался сильный грохот: к несчастью, они забыли ночью убрать с кафедры остатки еды — учительница скинула все линейкой и все полетело на пол; то, что масло из-под сардин и остатки кофе разлились, а кофейник разбился вдребезги, учительницу не должно было беспокоить: ведь школьный сторож сейчас же наведет порядок. Держась за брусья, еще не совсем одетые, К. и Фрида смотрели на уничтожение их скудного имущества; помощники, которые, очевидно, даже и не думали одеваться, к большому удовольствию детей высунули свои головы внизу между одеялами. Для Фриды, естественно, больней всего была утрата кофейника; только когда К., чтобы утешить, уверил ее, что

сейчас же пойдет к старосте общины и потребует, и получит замену, она опомнилась настолько, что в одной рубашке и нижней юбке выбежала из их укрытия, чтобы забрать хотя бы скатерть и спасти ее от дальнейшего загрязнения. И это ей удалось, несмотря на то что учительница, чтобы запугать ее, непрерывно стучала линейкой по столу, словно била по нервам. Когда К. и Фрида оделись, им пришлось не только приказами и пинками понуждать одеваться помощников, которые от всего происходящего были словно оглушенные, но отчасти даже самим одевать их. Потом, когда все были готовы, К. распределил ближайшую работу: помощники приносят дрова и растапливают печь, но вначале — в соседнем классе, откуда еще угрожала большая опасность, так как там, скорей всего, уже находился учитель, Фрида моет пол, а К. приносит воду и вообще наводит порядок; о завтраке пока нечего было и думать. Для того, однако, чтобы выяснить в целом настроение учительницы, К. намерен был выйти вначале один, остальные последуют за ним только тогда, когда он их позовет; он принял такой план действий, с одной стороны, потому что не хотел допустить, чтобы глупости помощников с самого начала еще более ухудшили положение, а

с другой стороны, потому что хотел по возможности уберечь Фриду, так как у нее было тщеславие, у него — не было, она была чувствительна, он — нет, она думала только о сиюминутных мелких гнусностях, он же — о Барнабасе и о будущем. Фрида внимательно слушала его распоряжения, почти не сводя с него глаз. Едва только он вышел, учительница под хохот детей, который с этого времени вообще уже не прекращался, крикнула:

— Ну, выспались? — и так как К. не обратил на это внимания, поскольку это, собственно, и не был вопрос, а устремился к умывальнику, учительница спросила: — А что вы сделали с моей Мице?

Большая старая жирная кошка, лениво растянувшись, лежала на столе, и учительница разглядывала ее, очевидно, немного поврежденную лапу. Значит, Фрида все-таки была права, эта кошка хотя и не прыгнула на нее, потому что прыгать, вероятно, уже не могла, но проползла по ней; присутствие людей в обычно пустом доме ее испугало, она поспешно спряталась и в этой непривычной для нее спешке поранилась. К. попытался спокойно объяснить это учительнице, но та, восприняв только результат, заявила:

— Ну да, вы ее поранили, с этого вы здесь и

начали. Вы только посмотрите! — Она подозвала К. к кафедре, показала ему лапу и прежде, чем он успел сообразить, полоснула ему когтями по тыльной стороне ладони; хотя когти были уже тупые, но учительница, не заботясь на этот раз о кошке, так сильно их вдавила, что все-таки остались кровавые следы. — А теперь идите и принимайтесь за работу, — нетерпеливо скомандовала она и снова наклонилась к кошке.

Фрида, которая вместе с помощниками смотрела из-за брусьев, вскрикнула, увидев кровь. К. показал руку детям и сказал:

— Смотрите, что мне сделала злобная, коварная кошка.

Он сказал это, конечно, не для детей, чьи крики и хохот сделались уже настолько стихийными, что никакого дополнительного повода или подзадоривания не требовалось и никакие слова не могли до них дойти или на них подействовать. Но поскольку и учительница ответила на оскорбление только коротким косым взглядом, а в остальном продолжала заниматься кошкой и, значит, первый гнев был, видимо, этим кровавым наказанием утолен, К. позвал Фриду и помощников, и работа началась.

К. вынес ведро с грязной водой, принес свежей

воды и уже начал подметать класс, когда с одной из скамеек поднялся мальчик лет двенадцати, тронул К. за руку и сказал что-то, в оглушительном шуме совершенно непонятное. И тут шум вдруг разом смолк; К. оглянулся. То, чего боялись все это утро, произошло: в дверях стоял учитель. В каждой руке этот маленький человечек держал за ворот по помощнику; он, очевидно, поймал их, когда они брали дрова, так как теперь громовым голосом кричал, делая паузу после каждого слова:

— Кто посмел вломиться в дровяной сарай? Где этот субъект? Я сотру его в порошок!

Тогда Фрида поднялась с пола, который она яростно оттирала у ног учительницы, посмотрела, словно собираясь с силами, на К. и сказала (причем в ее взгляде и осанке было что-то от прежнего превосходства):

— Это сделала я, господин учитель. Я не смогла придумать ничего другого. Раз классы должны протапливаться с утра, значит, сарай надо было открыть; ночью идти к вам за ключом я не посмела, мой жених был в господском трактире, не исключено было, что он останется там на всю ночь, так что я должна была сама на что-то решиться. Если я неправильно поступила, то простите мою

неопытность, мой жених уже достаточно меня выругал, когда увидел, что произошло. Да, он даже запретил мне утром растапливать, потому что он считал, что, закрыв сарай, вы этим хотели показать, что не желаете, чтобы топили, пока вы сами не придете. Поэтому не натоплено по его вине, но сарай взломан по моей.

— Кто взломал дверь? — спросил учитель помощников, которые все еще безуспешно пытались освободиться от его хватки.

— Господин, — сказали оба и указали, чтобы не было сомнений, на К.

Фрида засмеялась, и этот смех, казалось, был еще убедительнее, чем их слова, потом она начала отжимать в ведро тряпку, которой мыла пол, так, словно с ее объяснением инцидент был исчерпан, а слова помощников — просто заключительная шутка; только уже стоя на коленях, готовая снова начать работу, она сказала:

— Наши помощники — дети, которым, несмотря на их годы, впору здесь, на школьной скамье, сидеть. Эту дверь я вчера вечером сама открыла топором, это было очень просто, помощники мне для этого были не нужны, они бы только мешали. Когда же потом, ночью, пришел мой жених и вышел, чтобы осмотреть повреждения и по воз-

можности починить, помощники побежали за ним, потому что, должно быть, боялись оставаться здесь одни; они увидели, что мой жених что-то делает с выломанной дверью, — и вот теперь говорят… ну они ведь дети…

Во время объяснений Фриды помощники беспрерывно мотали головами, продолжали указывать на К. и, беззвучно гримасничая, старались убедить Фриду отказаться от ее утверждений, но так как это им не удалось, они в конце концов смирились, приняли слова Фриды как приказ и на повторный вопрос учителя уже не отвечали.

— Так, — проговорил учитель, — значит, вы солгали? Или, как минимум, легкомысленно обвинили школьного сторожа?

Они все еще молчали, но их дрожь и их испуганные взгляды, казалось, выдавали сознание вины.

— Тогда я вас немедленно изобью, — сказал учитель и послал одного из учеников в другую комнату за палкой.

Но в тот момент, когда он уже замахивался палкой, Фрида крикнула: «Помощники сказали вам правду», бросила в отчаянии тряпку в ведро так, что высоко вверх взлетели брызги и, убежав за брусья, спряталась там.

— Лживая банда, — сказала учительница, кото-

рая как раз закончила перевязку кошачьей лапы и устраивала животное у себя на коленях, где оно едва умещалось.

— Остается, следовательно, господин школьный сторож, — произнес учитель, отшвырнул помощников и повернулся к К., который все это время стоял опершись на метлу и слушал. — Этот вот господин школьный сторож, который из трусости спокойно допускает, чтобы в его собственных безобразных поступках ложно обвиняли других.

— Ну, — сказал К., который хорошо видел, что первый безудержный гнев учителя вмешательство Фриды все-таки смягчило, — если бы даже помощников слегка и отлупили, меня бы это не огорчило; если их десять раз прощают, когда они виноваты, то они могут за это один раз пострадать, когда и не виноваты. А кроме того, господин учитель, я бы не возражал, если бы обошлось без непосредственного столкновения между мной и вами; возможно, это было бы приятно даже и вам. Но теперь, раз уж Фрида принесла меня в жертву помощникам, — здесь К. сделал паузу, в тишине было слышно, как за одеялами всхлипывает Фрида, — все это дело, разумеется, должно быть выяснено.

— Неслыханно, — сказала учительница.

— Я с вами полностью согласен, фрейлейн Гиза, — подхватил учитель. — Вы, господин школьный сторож, по причине своего позорного служебного проступка, разумеется, от должности отстраняетесь; наказание, которое еще последует, я оставляю за собой, а теперь сию же минуту выметайтесь из этого дома со всеми вашими пожитками. Это будет для нас истинным облегчением, и мы наконец сможем начать занятия. Итак — живо!

— Я отсюда никуда не сдвинусь, — заявил К. — Вы мой начальник, но не вы предоставили мне эту должность, а господин староста общины, и я приму увольнение только от него. А он все-таки не для того, наверное, дал мне это место, чтобы я замерз здесь со своими людьми, а для того — как вы сами говорили, — чтобы предотвратить необдуманные акты отчаяния с моей стороны. Поэтому вот так вдруг отстранять меня — это в корне противоречило бы его намерениям, и до тех пор, пока я из его собственных уст не услышу противоположное, я этому не поверю. Кстати, и вам, скорей всего, будет только на пользу, если я не подчинюсь вашему легкомысленному распоряжению.

— Значит, вы не подчиняетесь? — спросил учитель.

К. отрицательно покачал головой.

— Обдумайте все хорошенько, — сказал учитель. — Ваши решения — не всегда самые лучшие, вспомните хотя бы вчерашний вечер, когда вы отказались подвергнуться допросу.

— Почему вы именно теперь упомянули об этом? — спросил К.

— Потому что мне так захотелось, — отрезал учитель, — а теперь я повторяю в последний раз: вон отсюда!

Но так как и это не подействовало, учитель подошел к кафедре и начал тихо совещаться с учительницей, та что-то сказала насчет полиции, но учитель это отклонил, наконец они пришли к единому мнению, и учитель велел детям перейти в его класс: они будут заниматься там вместе с остальными детьми. Такое развлечение всех обрадовало, под смех и крики комната тут же опустела; учитель и учительница уходили последними. Учительница несла классный журнал и на нем — ко всему безучастную из-за своей толщины кошку. Учитель предпочел бы не брать кошку, но на соответствующее его замечание учительница ответила решительным отказом,

сославшись на зверства К., так что вдобавок ко всему К. повесил на шею учителю еще и кошку. Это, вероятно, тоже повлияло на последние слова, с которыми учитель обратился в дверях к К.:

— Фрейлейн вынужденно покинула с детьми эту комнату, поскольку вы наглым образом не подчинились моему распоряжению об увольнении и поскольку никто не может требовать от нее, молодой девушки, чтобы она давала уроки посреди вашего грязного семейного хозяйства. Вы, следовательно, остаетесь одни, отвращение порядочных зрителей вам мешать не будет, и вы можете располагаться тут как вам угодно. Но долго это не продлится, за это я вам ручаюсь.

И с этими словами он захлопнул дверь.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Едва только все они вышли, К. сказал помощникам:

— Убирайтесь вон!

Озадаченные этим неожиданным приказом, они послушались, но, когда К. запер за ними, они тотчас запросились обратно, заскулили и застучали в дверь.

— Вы отстранены! — крикнул К. — К себе на службу я вас никогда больше не возьму.

Этого они, конечно, перенести уже не могли и заколотили в дверь руками и ногами.

— Обратно к тебе, господин, — кричали они так, как будто К. — это твердая земля, а они вот-вот захлебнутся в волнах.

Но К. не знал жалости, он с нетерпением ждал того момента, когда невыносимый шум заставит вмешаться учителя. Это вскоре и произошло.

— Впустите ваших проклятых помощников! — крикнул тот.

— Я их отстранил! — крикнул в ответ К.; в этом был невольный побочный смысл: показать учителю, как это бывает, когда кто-то достаточно силен, чтобы не только объявить об увольнении,

но и осуществить его.

Тогда учитель попытался по-хорошему успокоить помощников: им нужно только тихо подождать здесь, и в конце концов К. все равно придется снова их впустить. Затем он ушел. И теперь, возможно, все бы и затихло, если бы К. снова не крикнул им, что они теперь отстранены окончательно и у них нет ни малейшей надежды быть принятыми обратно. После этого они снова принялись шуметь. Снова пришел учитель, но разговаривать с ними уже не стал, а выгнал их — очевидно, той внушавшей ужас палкой — из дома.

Вскоре они появились перед окнами гимнастического зала, стучали в окна и что-то кричали, но слов было не разобрать. Однако и там они оставались недолго: в глубоком снегу они не могли так скакать, как того требовало их беспокойство. Поэтому они отбежали к ограде школьного сада и вскочили на каменное основание, с которого к тому же им было легче — правда, только издали — заглядывать в комнату; они бегали там, держась за решетку, взад и вперед, затем останавливались и умоляюще простирали к К. сцепленные руки. Они долго так упражнялись, не обращая внимания на бесплодность своих

усилий; они словно ослепли и не остановились, наверное, и тогда, когда К. задернул занавески на окнах, чтобы избавить себя от этого зрелища.

В наступивших в комнате сумерках К. подошел к брусьям взглянуть, как там Фрида. Под его взглядом она поднялась, поправила волосы, отерла слезинки и молча занялась приготовлением кофе. Хотя она обо всем знала, К. все же формально уведомил ее о том, что он отстранил помощников. Она в ответ только кивнула. К. сидел на школьной скамье и следил за ее усталыми движениями. Красивым ее жалкое тело всегда делали именно свежесть и решительность — и вот эта красота исчезла. Нескольких дней совместной жизни с К. оказалось для этого достаточно. Работа в пивной была нелегкой, но для нее, наверное, все-таки более подходящей. Или действительной причиной того, что она поникла, было отдаление от Кламма? Близость Кламма сделала ее такой несообразно привлекательной, и, привлеченный, К. рванул ее к себе, и вот она увяла в его руках.

— Фрида, — позвал К.

Она тут же оставила кофейную мельницу и пришла к К. на скамью.

— Ты на меня сердишься? — спросила она.

— Нет, — ответил К. — Наверное, ты не могла

иначе. Тебе было хорошо в господском трактире. Мне надо было оставить тебя там.

— Да, — сказала Фрида, печально глядя перед со бой, — тебе надо было оставить меня там. Я не стою того, чтобы жить с тобой. Освободившись от меня, ты, может быть, сумел бы достичь всего, чего хочешь. Ради меня ты покорился этому тирану-учителю, принял этот жалкий пост, мучительно добиваешься разговора с Кламмом. Все для меня, но я плохо отплачиваю тебе за это.

— Нет, — возразил К. и, утешая, обнял ее за плечи. — Все это мелочи, которые меня не огорчают, и к Кламму я ведь хочу не только из-за тебя. А сколько ты всего для меня сделала! До того как я тебя узнал, я ведь здесь совсем был как в лесу. Никто меня не принимал, а к кому я навязывался, те быстро со мной расставались. И если я у кого-то и мог передохнуть, то это были люди, от которых я сам бежал, — хотя бы эти, у Барнабаса…

— Ты бежал от них? Правда? Милый! — перебив его, с живостью воскликнула Фрида; затем, после не сразу сказанного К. «да», она снова погрузилась в свою усталую задумчивость.

Но и у К. уже пропало желание объяснять, как все для него изменилось к лучшему благодаря связи с Фридой. Он медленно убрал с ее плеча

руку, и некоторое время они сидели молча, пока наконец Фрида не сказала, — так, как будто рука К. давала ей тепло, без которого она теперь уже не могла обойтись:

— Я этой жизни здесь не вынесу. Если ты хочешь сохранить меня, мы должны уехать куда-нибудь в южную Францию, в Испанию.

— Уехать я не могу, — сказал К., — я сюда пришел, чтобы здесь остаться. Я здесь останусь. — И, допуская противоречие, которое он даже не дал себе труда объяснить, прибавил, будто говоря сам с собой: — Что же могло меня привлечь в эту дикую страну, как не желание здесь остаться? — Потом он сказал: — Да и ты ведь тоже хочешь здесь остаться, это же твоя страна. Только Кламма тебе не хватает, и это наводит тебя на отчаянные мысли.

— Это Кламма-то мне не хватает? — отозвалась Фрида. — Вот уж Кламма здесь более чем достаточно, даже слишком много Кламма; чтобы уйти от него, я и хочу уехать отсюда. Не Кламма, а тебя мне не хватает, ради тебя я хочу уехать отсюда, потому что здесь, где все меня рвут на части, я не могу насытиться тобой. Пусть бы лучше с меня сорвали эту маску с нарисованным хорошеньким личиком, пусть бы лучше тело мое страдало,

лишь бы я могла спокойно жить рядом с тобой.

К. услышал в этом только одно.

— Кламм все еще в связи с тобой? — тут же спросил он. — Он зовет тебя?

— О Кламме я ничего не знаю, — сказала Фрида, — я говорю сейчас о других, о помощниках например.

— А-а, помощники! — проговорил К., опешив. — Они — что, пристают к тебе?

— А ты этого не заметил? — спросила Фрида.

— Нет, — ответил К., безуспешно пытаясь припомнить что-нибудь. — Да, они настырные и похотливые юнцы, это, скорей всего, так, но, чтобы они посмели лезть к тебе, я не заметил.

— Нет? — сказала Фрида. — Ты не заметил, как их было не выгнать из нашей комнаты в предмостном трактире, как ревниво они следили за нашими отношениями, как один из них недавно лег на мое место на тюфяке, как они сейчас против тебя показывали, чтобы прогнать, погубить тебя и остаться со мной? Всего этого ты не заметил?

К., не отвечая, смотрел на Фриду. Обвинения против помощников были, вероятно, справедливыми, но ведь все это можно было толковать и куда более невинно, исходя в целом из забавной,

детской, суетливой, несдержанной натуры обоих. И потом, разве не противоречило обвинению то, что они всегда, куда бы К. ни шел, старались пойти с ним, а не остаться с Фридой? К. высказал нечто в этом роде.

— Притворство, — возразила Фрида, — ты этого не понял? Хорошо, почему же ты их тогда прогнал, если не поэтому?

И она пошла к окну, отодвинула немного занавески и, выглянув, подозвала К. Помощники все еще были там, у ограды; было видно, что они уже очень устали, но, несмотря на это, они все же время от времени, собрав последние силы, простирали с мольбой руки к школе. Один из них, чтобы не надо было все время держаться, наколол сзади куртку на прут решетки.

— Бедные! Бедные! — сказала Фрида.

— Почему я их выгнал? — повторил вопрос К. — Непосредственным поводом для этого была ты.

— Я? — спросила Фрида, не отрывая взгляда от окна.

— Твое слишком уж дружеское обращение с этими помощниками, — пояснил К., — прощение их распущенности, смех над ними, поглаживание их по головке, это постоянное сострадание к ним, только и повторяешь: «бедные, бедные», и,

наконец, этот последний случай, когда оказалось, что я для тебя — не слишком высокая цена, если надо спасти от порки помощников.

— Так оно и есть, — сказала Фрида, — об этом я и говорю, так оно и есть, это и делает меня несчастной, это и не пускает меня к тебе, хотя для меня нет большего счастья, чем быть с тобой, все время, без перерывов, без конца, хотя я во сне вижу, что здесь, на земле, нет спокойного места для нашей любви — ни в деревне, ни где-то еще, — и поэтому я представляю себе могилу, узкую и глубокую, там мы сжимаем друг друга в объятиях, как в тисках, я прижимаюсь к тебе, ты — ко мне, и никто никогда нас больше не увидит. А здесь… посмотри на этих помощников! Это не к тебе они протягивают свои руки, а ко мне.

— И не я, — добавил К., — смотрю на них, а ты.

— Конечно я, — почти сердито сказала Фрида, — об этом же я и говорю все время. С чего бы еще эти помощники стали за мной бегать, если они даже и посланцы Кламма…

— Посланцы Кламма, — повторил К., которого это обозначение, сразу показавшееся ему вполне естественным, все же очень поразило.

— Посланцы Кламма, конечно, — подтвердила Фрида, — даже если это так, то все равно они в

то же время — глупые мальчишки, которых для их воспитания еще лупить надо. Какие они отвратительные, какие гадкие мальчишки! И как омерзительна эта противоположность между их лицами, по которым их можно принять за взрослых, чуть ли не за студентов, и их по-детски дурашливым поведением! Ты думаешь, я этого не вижу? Да я стыжусь их. Но в том-то и дело, что не они вызывают у меня отвращение, а я стыжусь их. Мне все время приходится смотреть в их сторону. Когда надо бы на них рассердиться, мне приходится смеяться. Когда хотелось бы их побить, мне приходится гладить их по головке. И когда я лежу рядом с тобой ночью, я не могу заснуть, мне приходится смотреть, как один спит, туго закатавшись в одеяло, а другой сидит на корточках перед открытой дверцей печки и топит, и, чтобы видеть их, мне приходится наклоняться вперед так, что я почти бужу тебя. И не кошка меня испугала — ах, я привыкла к кошкам, как я привыкла к беспокойному полусну в пивной, когда тебе все время мешают, — не кошка меня испугала, я сама пугаю себя. И не надо было совсем этого ужаса с кошкой, я вздрагиваю от малейшего шороха. Сначала я боялась, что ты проснешься и все будет кончено, а потом вдруг

вскочила и зажгла свечку, чтобы только ты поскорей проснулся и мог защитить меня.

— Я обо всем этом ничего не знал, — сказал К., — и только смутно догадываясь об этом, выгнал их, но теперь их нет, теперь, наверное, все хорошо.

— Да, наконец их нет, — отозвалась Фрида, но в лице ее была мука, а не радость, — только мы не знаем, кто они. «Посланцы Кламма» я называю их про себя, это — в шутку, но, может быть, это действительно так. Их простодушные и в то же время сверкающие глаза чем-то напоминают мне глаза Кламма, да, это так, это смотрит Кламм, иногда он пронизывает меня взглядом их глаз. И поэтому неправду я говорила, что я стыжусь их. Я только хотела бы, чтобы так было. Хотя я знаю, что где-нибудь в другом месте и у других людей такое поведение было бы глупым и неприличным, — у них это не так. Я смотрю на их глупости с уважением и восхищением. Но если они — посланцы Кламма, кто освободит нас от них, и вообще, стоит ли тогда от них освобождаться? Не лучше ли тебе тогда позвать их и радоваться, если они еще пойдут?

— Ты хочешь, чтобы я их снова впустил? — спросил К.

— Нет-нет, — сказала Фрида, — меньше всего

на свете. Их вида, если бы они сейчас сюда ворвались, их радости снова видеть меня, их буйных детских восторгов и их протянутых мужских рук — всего этого я, может быть, вообще не сумела бы вынести. Но, с другой стороны, когда я снова подумаю, что, обращаясь с ними сурово, ты тем самым, может быть, закрываешь Кламму доступ к тебе, мне хочется всеми средствами уберечь тебя от последствий этого. Тогда мне хочется, чтобы ты позволил им вернуться. Тогда К., ради бога, скорей верни их! Не обращай на меня внимания, что я значу! Я буду защищаться, пока смогу, если же мне суждено проиграть, что ж, значит, я проиграю, но тогда я буду знать, что и это произошло ради тебя.

— Ты только укрепляешь меня в моем решении относительно помощников, — сказал К. — С моего согласия они никогда не войдут сюда. Однако то, что я их выставил, доказывает, что с ними при известных обстоятельствах можно справиться, и далее, следовательно, — что ничто существенное их с Кламмом не связывает. Я только вчера вечером получил от Кламма письмо, из которого видно, что у Кламма о помощниках совершенно неверная информация, из чего, в свою очередь, следует, что они ему полностью безразличны,

ведь если бы это было не так, он наверняка сумел бы получить о них точные сведения. А то, что ты видишь в них Кламма, ничего не доказывает, потому что ты, к сожалению, все еще находишься под влиянием хозяйки и видишь Кламма повсюду. Ты все еще — возлюбленная Кламма, ты далеко еще не моя жена. Иногда это очень печалит меня; мне тогда кажется, что я все потерял; у меня тогда такое ощущение, как будто я только пришел в деревню, но не полный надежд, каким я тогда в действительности был, а зная, что ожидают меня лишь разочарования и что предстоит мне испить их одно за другим, всю гущу до самого дна. Но так бывает лишь изредка, — с усмешкой добавил К., увидев, как съежилась Фрида от его слов, — и доказывает это ведь, в сущности, нечто хорошее, а именно — как много ты для меня значишь. И если ты теперь предлагаешь мне выбирать между тобой и помощниками, значит, помощники уже проиграли. И что за мысль: выбирать между тобой и помощниками! Но теперь я хочу, чтобы они исчезли окончательно, из разговоров и из мыслей. Кстати, кто знает, может быть, эта слабость, которая на нас обоих навалилась, происходит оттого, что мы до сих пор еще не позавтракали?

— Возможно, — устало произнесла Фрида,

усмехнулась и принялась за работу; К. тоже снова взялся за метлу.

Через некоторое время в дверь тихонько постучали.

— Барнабас! — вскрикнул К., отшвырнул метлу и в несколько прыжков был у двери.

Испуганная именем больше, чем всем прочим, Фрида не отрываясь смотрела на него. Дрожащими пальцами К. не сразу смог открыть старый замок.

— Я уже открываю, — все время повторял он вместо того, чтобы спросить, кто же там, собственно, стучится.

И затем ему пришлось увидеть, как в широко распахнутую дверь входит не Барнабас, а тот маленький мальчик, который один раз уже пытался заговорить с К. Но К. не имел никакого желания вспоминать его.

— Тебе-то что здесь надо? — буркнул он. — Занятия в той комнате.

— Я и пришел оттуда, — сказал мальчик и спокойно посмотрел снизу на К. большими карими глазами; он стоял выпрямившись, держа руки по швам.

— Ну и что тебе надо? Только быстро! — приказал К. и немного нагнулся к нему, так как мальчик

говорил тихо.

— Я могу тебе помочь? — спросил мальчик.

— Он хочет нам помочь, — сказал К. Фриде и затем мальчику: — Тебя как зовут-то?

— Ганс Брунсвик, — ответил мальчик, — ученик четвертого класса, сын Отто Брунсвика, сапожного мастера с Червячковой улицы.

— Смотри ты, Брунсвик его зовут, — сказал уже более приветливо К.

Выяснилось, что кровавые полосы, процарапанные учительницей на руке К., так взволновали Ганса, что он решил помогать К. Сейчас он самовольно, подвергаясь опасности сурового наказания, как дезертир ускользнул из соседнего класса. Возможно, именно такие вот детские представления им главным образом и владели. Соответствовала им и та серьезность, которая видна была во всем, что он делал. Только поначалу робость сдерживала его, но скоро он привык к К. и Фриде, а когда еще ему налили горячего хорошего кофе, он сделался оживлен и доверчив, и его вопросы стали жадными и настойчивыми, словно он хотел как можно скорее узнать все самое важное, чтобы потом иметь возможность самостоятельно принимать решения за К. и Фриду. И было в его натуре что-то властное, но оно

так было перемешано с детской невинностью, что ему охотно, полушутя-полусерьезно, подчинялись. Как бы там ни было, он сосредоточил на себе все внимание, всякая работа прекратилась, и завтрак сильно затянулся. Хотя Ганс сидел на школьной скамье, К. — вверху, на столе, а Фрида — рядом на стуле, но впечатление было такое, будто учитель здесь Ганс, будто он проверяет и оценивает ответы; легкая усмешка в углах его мягкого рта, казалось, давала понять, что он прекрасно знает, что все это только игра, но тем большую серьезность он проявлял в деталях; впрочем, возможно, это была и не усмешка, возможно, это счастье детства играло на его губах. На удивление поздно он признался, что уже знает К. — с того раза, когда тот заходил к Лаземану. К. необыкновенно обрадовался и спросил:

— Ты играл тогда у ног той женщины?

— Да, — сказал Ганс, — это моя мать.

И теперь он должен был рассказывать про свою мать, но делал это довольно неохотно и только после неоднократных подбадриваний; тут все ж таки стало видно, что он — маленький мальчик, который хотя и казался иногда, особенно в своих вопросах (может быть, в предвосхищении будущего, но, может быть, также лишь вслед-

ствие обмана чувств беспокойно напряженных слушателей), чуть ли не энергичным, умным и дальновидным мужчиной, но затем, в следующее же мгновение, без перехода, был уже просто школьником, который многих вопросов вообще не понимал, а другие неверно истолковывал, который с детской невоспитанностью говорил слишком тихо, хотя ему неоднократно указывали на его ошибку, и который, наконец, будто из упрямства, на многие настойчивые вопросы отвечал полным молчанием, не испытывая при этом никакой неловкости, как никогда бы не смог взрослый. Вообще, было похоже, что, по его мнению, спрашивать позволено только ему, а из-за вопросов других словно бы нарушается какая-то инструкция и даром тратится время. Он мог тогда подолгу сидеть неподвижно, выпрямив спину, опустив голову и выпятив нижнюю губу. Фриде это так нравилось, что она не раз задавала ему вопросы, которые, как она надеялась, должны были заставить его вот так замолчать; ей это иногда и удавалось, но К. это злило. В общем узнали мало. Мать немного больна, но что это за болезнь, осталось неясным; ребенок, которого фрау Брунсвик держала на руках, — сестра Ганса и зовут ее Фридой (к совпадению с именем

расспрашивавшей его женщины Ганс отнесся неприязненно), они все живут в деревне, но не у Лаземана, туда они пришли только чтобы выкупаться, потому что у Лаземана — большой чан, купаться и возиться в нем доставляет маленьким детям, к которым Ганс, впрочем, не относится, особое удовольствие; о своем отце Ганс говорил почтительно — или испуганно, но только если речь не шла одновременно и о матери, по сравнению с матерью значение отца было, очевидно, малым, впрочем, все вопросы о семейной жизни, как ни старались к этому подступиться, остались без ответа. О занятии отца узнали, что он самый крупный местный сапожник, с ним — это Ганс неоднократно повторял, даже отвечая на совсем другие вопросы, — никто не может равняться, он даже дает работу другим сапожникам, отцу Барнабаса, например, тоже; в последнем случае Брунсвик делал это, вероятно, только из особой милости, по крайней мере, на это намекал гордый поворот головы Ганса, заставивший Фриду спрыгнуть к нему с возвышения и поцеловать его. На вопрос, бывал ли он прежде в Замке, он ответил только после многократных переспрашиваний, и ответил «нет»; на такой же вопрос, относящийся к его матери, вообще не ответил.

Наконец К. устал, ему тоже расспросы показались бесполезными, он согласился в этом с мальчиком; да и было что-то стыдное в желании окольным путем выведать у невинного ребенка чужие семейные тайны, впрочем, вдвойне стыдно было то, что так ничего и не узнали. И когда К. спросил на прощание мальчика, чем же тот намеревался помочь, он уже не удивился, услышав, что Ганс просто хотел помочь в работе, чтобы учитель и учительница не ругали так К. К. объяснил Гансу, что помощи такого рода не требуется, ругаться, вероятно, в характере учителя и, значит, от этого даже самой тщательной работой едва ли можно защититься, сама же работа не трудна, и только вследствие случайного стечения обстоятельств он сегодня с ней не управился вовремя, кроме того, на К. эта ругань действует не так, как на какого-нибудь ученика, он пропускает ее мимо ушей, ему это почти безразлично, к тому же он надеется, что очень скоро сможет совсем уйти от учителя. Поскольку речь, следовательно, идет только о помощи против учителя, то он весьма ему признателен, и Ганс может теперь возвратиться, надо надеяться, что его за это еще не накажут. Хотя К. совершенно этого не подчеркивал и лишь непроизвольно дал понять, что

только помощи против учителя ему не нужно, тогда как вопрос о другой помощи он оставляет открытым, Ганс тем не менее ясно это расслышал и спросил, не нужно ли К. другой помощи, он бы с большим удовольствием ему помог, а если бы не сумел сам, то попросил бы помочь мать, и тогда бы все наверняка удалось. Его отец тоже, когда у него затруднения, просит мать помочь ему. И к тому же мать уже однажды спрашивала про К., она сама почти не выходит из дому, только в виде исключения она была тогда у Лаземана, он же, Ганс, довольно часто ходит туда играть с детьми Лаземана, и вот мать его однажды спросила, не был ли там снова землемер. Ну, мать такая слабая и усталая, что зря волновать ее нельзя, поэтому он только сказал, что землемера там не видел, и больше они об этом не говорили, но раз уж он его теперь здесь, в школе встретил, то он должен был с ним заговорить, чтобы рассказать матери. Потому что мать больше всего любит, когда ее желания исполняют без прямого приказа. На это К. после краткого раздумья ответил, что ему никакой помощи не нужно, он имеет все, что ему требуется, но что это очень мило со стороны Ганса, что он хочет ему помочь, и он благодарит его за это доброе намерение, вполне возможно,

что когда-нибудь в будущем ему что-нибудь понадобится, тогда он обратится к нему, ведь адрес у него есть. Напротив, в этот раз, может быть, он, К., смог бы несколько помочь: его огорчает то, что матери Ганса нездоровится и здесь явно никто не понимает ее недуга, в подобном запущенном случае легкое само по себе заболевание очень просто может вызвать тяжелое осложнение. Так вот он, К., имеет кое-какие медицинские познания и, что еще более ценно, опыт в обращении с больными. Много такого, что не удавалось врачам, посчастливилось сделать ему. Дома за его целительную деятельность его всегда называли «горьким зельем». Во всяком случае, он с удовольствием осмотрел бы мать Ганса и поговорил с ней. Возможно, он сумеет дать добрый совет, он с удовольствием сделает это хотя бы ради Ганса. Глаза Ганса при этом предложении вначале загорелись и этим побудили К. стать настойчивее, но результат был неудовлетворительным, так как в ответ на всякие вопросы Ганс сказал — и при этом даже не был особенно опечален, — что чужим к матери приходить нельзя, потому что ее нужно очень оберегать, и хотя тогда К. почти даже и не говорил с ней, она потом несколько дней пролежала в постели, что, правда, бывает довольно

часто. Но отец тогда очень разозлился на К., и он уж точно ни за что не разрешит, чтобы К. пришел к матери, он ведь тогда хотел даже разыскать К., чтобы наказать его за такое поведение, его только мать от этого удержала. Но самое главное, что мать и сама обычно ни с кем не хочет говорить, и ее вопрос про К. — совсем не исключение из правила, наоборот, ведь упомянув о нем, она могла бы заодно высказать желание увидеть его, но она этого не сделала и этим ясно выразила свою волю. Она хотела только про К. услышать, но говорить с ним она не хотела. Кроме того, это вовсе не настоящая болезнь, чем она болеет, она очень хорошо знает причину своего состояния и даже иногда на нее намекает: по всей вероятности, это здешний воздух, которого она не переносит, но оставлять это место она все-таки тоже не хочет из-за отца и детей, к тому же ей сейчас уже лучше, чем было раньше. Вот приблизительно то, что узнал К.; мыслительные способности Ганса вырастали на глазах, когда ему требовалось защитить свою мать от К., — от К., которому он якобы собирался помочь; больше того, во имя благой цели — не допустить К. к матери — он даже во многом противоречил своим же предыдущим высказываниям, к примеру относительно болез-

ни. Но несмотря на это, К. и теперь замечал, что Ганс по-прежнему расположен к нему, — только из-за матери он забывает все остальное; кого бы ни ставили рядом с его матерью, Ганс тотчас становится несправедлив к нему, сейчас это был К., но это мог быть, к примеру, и его отец. К. решил проверить этот последний вариант и сказал, что, безусловно, отец поступает очень разумно, так ограждая мать от любого беспокойства, и если бы он, К., мог хотя бы предположить тогда что-либо подобное, он безусловно не посмел бы заговорить с матерью, и он теперь просит задним числом извиниться за него дома. С другой стороны, ему не совсем понятно, почему его отец, если причина недомогания так определенна, как говорит Ганс, удерживает мать и не дает ей поправиться в другом воздухе; да, приходится говорить, что он ее удерживает, так как она не уезжает из-за детей и из-за него, но детей она могла бы взять с собой, ведь уезжать ей пришлось бы ненадолго — да и не очень далеко, уже наверху, на замковой горе воздух совсем другой. Расходов на поездку его отцу бояться не приходится, он же самый крупный местный сапожник, и потом, наверняка у него или у матери есть родственники или знакомые в Замке, которые охотно бы ее приняли. Почему

он ее не отпускает? Он напрасно недооценивает такого рода недомогания, вот К. видел его мать лишь мельком, но именно ее бросающаяся в глаза бледность и слабость побудили его к тому, чтобы заговорить с ней, уже тогда он удивился, что его отец оставил больную жену в тяжелом воздухе помещения, где шло всеобщее мытье и стирка, и в своих громких разговорах тоже не проявлял никакой сдержанности. Отец, очевидно, не знает, чем это грозит, пусть недомогание в последнее время и стало, может быть, слабее — недомогания такого рода капризны, — но в конце концов оно, если с ним не бороться, проявится с новой силой, и тогда ничто уже не сможет помочь. Если уж К. нельзя говорить с его матерью, то, может быть, стоило бы все-таки поговорить с его отцом и обратить его внимание на все это.

Ганс напряженно слушал, б***о***льшую часть понял, угрозу непонятого глубоко почувствовал. Тем не менее он сказал, что с его отцом К. говорить нельзя, отец настроен против него и, скорей всего, обошелся бы с ним, как учитель. Он говорил это, усмехаясь и смущаясь, когда речь шла о К., сдержанно и печально — когда упоминал об отце. Все же он прибавил, что, может быть, К. все-таки мог бы поговорить с матерью, но только

чтобы не знал отец. Потом Ганс задумался на некоторое время — с остановившимся взглядом, совсем как женщина, которая хочет сделать что-то запретное и ищет возможности осуществить это безнаказанно, — и сказал, что послезавтра, может быть, это могло бы получиться, отец вечером уйдет в господский трактир, у него там деловые встречи, тогда он, Ганс, придет и отведет К. к матери, если, конечно, мать на это согласится, что тоже очень маловероятно. Ведь, главное, она совсем ничего не делает против воли отца и во всем ему подчиняется, даже в таких вещах, неразумность которых даже он, Ганс, ясно видит. Ганс теперь в самом деле искал у К. помощи против отца; получалось так, словно он обманывал себя, когда думал, что хочет помочь К., в то время как на самом деле он хотел выяснить, не сумеет ли, может быть, этот неожиданно появившийся, а теперь даже и упомянутый матерью чужак помочь — раз уж никто из прежнего окружения не в состоянии это сделать. Мальчик словно бы неосознанно замыкался, почти скрытничал. До сих пор ни по его виду, ни по его словам это почти невозможно было угадать, только по его явно запоздалым, случайно и умышленно вызванным признаниям это стало заметно. И теперь в ходе

долгой беседы с К. он обсуждал, какие трудности предстояло преодолеть. При всем желании Ганса трудности были почти непреодолимые; мальчик целиком ушел в размышления и в то же время ждал помощи: тревожно моргая, он неотрывно смотрел на К. До ухода отца он ничего не мог сказать матери, иначе об этом узнал бы отец и все стало бы невозможным, значит, он мог об этом упомянуть только позднее, но и тогда, учитывая состояние матери, — не вдруг и не сразу, а постепенно и лишь при удобном случае; только тогда он постарается выпросить согласие матери, только тогда он сможет пойти за К., но не будет ли тогда уже слишком поздно, не будет ли уже грозить возвращение отца? Нет, это все-таки невозможно. К., напротив, доказывал, что это совсем не невозможно. Бояться, что времени не хватит, не надо, короткого разговора, короткого свидания будет достаточно. И идти за К. Гансу незачем, К. спрячется где-нибудь поблизости от дома и будет ждать, а по знаку Ганса сразу же придет. Нет, сказал Ганс, ждать у дома нельзя, без ведома матери (опять эта обуревавшая его щепетильность в отношении матери) К. не должен был выходить, вступать втайне от матери в такой сговор с К. Ганс не мог, он должен сам

пойти за К. в школу — и не раньше, чем это узнает и разрешит мать. Хорошо, сказал К., тогда это и в самом деле опасно, тогда отец может застигнуть его в доме, и раз уж этого не должно произойти, то мать из страха перед этим вообще не разрешит К. прийти, и таким образом все срывается из-за отца. Ганс, в свою очередь, опять защищался, и спор тянулся без конца.

Давно уже К. позвал Ганса с его скамьи к кафедре, привлек его к себе, держал между колен и время от времени успокоительно гладил по голове. Эта близость тоже помогла, несмотря на временами возникавшее сопротивление Ганса, достигнуть взаимопонимания. В конце концов согласились на следующем: прежде всего Ганс скажет матери всю правду, но при этом, чтобы облегчить ей согласие, добавит, что К. хочет говорить и с самим Брунсвиком тоже — разумеется, не о матери, а о своих делах. Это было к тому же правдой: в ходе разговора К. пришло в голову, что ведь Брунсвик, пусть даже в остальном он опасный и злой человек, быть его противником, собственно, не мог, ведь он же был — по рассказу старосты общины по крайней мере — вождем тех, которые, хоть и по политическим мотивам, требовали приглашения землемера. Появление

К. в деревне Брунсвик, следовательно, должен был приветствовать; тогда, правда, становились почти непонятны неласковая встреча в первый день и это предубеждение против него, о котором говорил Ганс, но, возможно, Брунсвика задело как раз то, что К. не обратился за помощью сначала к нему, возможно, здесь было и какое-то другое недоразумение, которое можно будет разрешить двумя-тремя словами. Но если это произойдет, тогда, весьма вероятно, в лице Брунсвика К. сможет получить определенную поддержку против учителя — да и против старосты общины, можно будет вскрыть весь этот официальный обман (что же это еще, как не обман?), с помощью которого староста общины и учитель отгородили его от замковых инстанций и запихнули на место школьного сторожа; если снова дойдет до борьбы вокруг К. между Брунсвиком и старостой общины, Брунсвик должен будет привлечь К. на свою сторону, К. станет гостем в доме Брунсвика, возможности Брунсвика будут, в пику старосте общины, предоставлены в его распоряжение, кто знает, куда он в итоге дотянется, но рядом с этой женщиной он, во всяком случае, будет часто, — мечты далеко увлекли К., и он мечтал, в то время как Ганс, думая только о матери, тре-

вожно ждал его слов, — так ждут слов врача, встретившего тяжелый случай и погрузившегося в раздумье, чтобы найти спасительное средство. С предложением К. поговорить с Брунсвиком по поводу должности землемера Ганс был согласен — правда, только потому, что тем самым мать оказывалась защищена от отца, и кроме того, речь шла только о крайнем случае, которого, как можно было надеяться, не будет. Он только спросил еще, как К. объяснит отцу поздний час своего визита, и удовлетворился наконец — хотя и несколько помрачнев — тем, что К. сошлется на невыносимую должность школьного сторожа и оскорбительное обращение учителя, которые заставили его в приступе отчаяния забыть все приличия.

Когда таким образом уже все — насколько это можно было предвидеть — было обдумано и возможность успеха все-таки не была по крайней мере исключена, Ганс, избавленный от тяжелых раздумий, повеселел и по-детски поболтал еще немного сначала с К., а потом и с Фридой, которая уже давно сидела погруженная в какие-то совсем другие мысли и только теперь снова начала принимать участие в разговоре. Между прочим, она спросила Ганса, кем он хотел

бы стать; он думал недолго и сказал, что хотел бы стать таким человеком, как К. Однако, когда его затем спросили, почему он этого хочет, он не знал, что сказать, на вопрос же, не хочет ли он, может быть, стать школьным сторожем, с определенностью отвечал, что — нет. Только когда стали спрашивать дальше, узнали, каким кружным путем пришел он к своему желанию. Нынешнее положение К. было вовсе не завидным, а плачевным и унизительным, это ясно видел и Ганс, и чтобы это понять, оглядываться на других людей ему вовсе не требовалось, он и сам с величайшим удовольствием оградил бы мать от любых взглядов и слов К., но, несмотря на это, он пришел к К., и просил его о помощи, и был счастлив, когда К. согласился. Ему казалось, что и у других людей он замечает что-то похожее, и, главное, мать ведь сама упомянула о К. Из этого противоречия в нем возникла уверенность, что хотя теперь К. еще ничтожен и отвратителен, но в каком-то — правда, почти непредставимо далеком — будущем он тем не менее превзойдет всех. И именно эта совершенно нелепая даль и гордое продвижение, которое приведет в нее, привлекали Ганса; за такую цену он готов был мириться даже с теперешним К. В этом желании

была какая-то детская мудрость — особенно в том, что Ганс смотрел на К. сверху вниз, как на младшего, чье будущее протянется дальше, чем его собственное — будущее маленького мальчика. И была какая-то почти печальная серьезность в том, как он, вынужденный отвечать на все новые вопросы Фриды, говорил об этих вещах. К. удалось развеселить его, лишь сказав, что он знает, почему Ганс ему завидует, все дело в его красивой узловатой палке, которая лежала на столе и с которой Ганс в рассеянности играл во время разговора. Ну, изготавливать такие палки К. умеет, и, если их план удастся, он Гансу сделает еще красивее. Теперь стало уже не совсем ясно, не только ли палку в самом деле имел в виду Ганс: так обрадовался он обещанию К. Он весело распрощался, не забыв при этом крепко пожать К. руку и сказать: «Значит, до послезавтра».

Это было сделано вовремя, потому что не успел Ганс уйти, как учитель распахнул дверь и, увидев спокойно сидящих у стола К. и Фриду, закричал:

— Извините, что помешал! Но извольте сказать, когда здесь будет наконец убрано? Мы должны сидеть там набившись битком, занятия страдают, а вы тут отдыхаете и прохлаждаетесь в большом гимнастическом зале и, чтоб было больше места,

еще и помощников выставили! Но теперь хотя бы вставайте и шевелитесь! — и затем, обращаясь к К.: — А ты сейчас принесешь мне из предмостного трактира полдник!

Все это выкрикивалось с яростью, но слова были сравнительно мягкие, даже это, само по себе грубое «ты». К. готов был немедленно подчиниться, только чтобы выяснить намерения учителя, он сказал:

— Я же уволен.

— Уволен или не уволен — неси мне полдник, — приказал учитель.

— Именно это я хочу знать: уволен или не уволен, — сказал К.

— Что ты мелешь? — крикнул учитель. — Ты же не принял увольнения.

— Этого достаточно, чтобы сделать его недействительным? — спросил К.

— Для меня — нет, — ответил учитель, — в этом можешь мне поверить, но для старосты общины, неизвестно почему, видимо, — да. А теперь — бегом, иначе в самом деле вылетишь отсюда.

К. был удовлетворен; значит, учитель за это время переговорил со старостой общины или, может быть, даже не говорил, а только сформулировал для себя предположительное «мнение

старосты общины» — и оно оказалось в пользу К. Он хотел тут же бежать за полдником, но окрик учителя снова вернул его — уже из коридора — назад; то ли учитель таким странным приказом хотел только испытать готовность К. подчиняться, чтобы исходить из нее в дальнейшем, то ли ему теперь снова понравилось командовать и он получал удовольствие, заставляя К., как какого-нибудь кельнера, сначала поспешно бежать куда-то, а затем по его приказу так же поспешно возвращаться. К., со своей стороны, понимал, что при слишком большой уступчивости станет рабом учителя и мальчиком для битья, но до известного предела он теперь намерен был терпеливо сносить учительские капризы, так как хотя учитель и не имел, как оказалось, законного права его уволить, но сделать ему исполнение должности мучительным до невыносимого он наверняка мог. А как раз теперь эта должность была для К. более важна, чем раньше. Разговор с Гансом разбудил в нем новые, пусть даже невероятные и совершенно безосновательные, но уже неугасимые надежды; они даже почти заслонили Барнабаса. Поверив им — а не поверить им он не мог, — он должен был сосредоточить на них все свои силы, не думать ни о чем другом, ни о еде,

ни о квартире, ни о деревенских властях — да даже и о Фриде не думать; хотя в сущности-то речь шла именно о Фриде, ведь все остальное беспокоило его только по отношению к ней. Поэтому эту должность, которая давала Фриде какую-то уверенность, он обязан был попытаться сохранить, а имея в виду такую цель, не должен был переживать, терпя от учителя больше, чем стал бы терпеть при других обстоятельствах. Все это не было чрезмерно болезненным: еще одно звено в длинной цепи маленьких жизненных мучений, это было ничто в сравнении с тем, чего К. добивался, да он и не затем пришел сюда, чтобы провести жизнь в почете и покое.

И так же, как он немедленно хотел бежать в трактир, так по новому приказу он готов был теперь — и тоже немедленно — привести сперва в порядок комнату, чтобы учительница со своим классом могла снова перейти в нее. Но наводить порядок нужно было очень быстро, так как после этого К. все-таки должен был принести полдник, а учитель уже сильно проголодался и хотел пить. К. заверил, что все будет исполнено согласно желанию, учитель еще некоторое время наблюдал, как К. носился, утаскивал постели, отодвигал на место спортивные снаряды и наско-

ро подметал, в то время как Фрида мыла и терла пол на возвышении. Такое рвение, по-видимому, удовлетворило учителя, он напомнил еще, что перед дверьми приготовлена куча дров для отопления (вероятно, он больше не хотел подпускать К. к сараю), и затем ушел к детям, пригрозив, что скоро вернется и проверит.

Проработав некоторое время молча, Фрида спросила, почему это К. стал теперь так послушно подчиняться учителю. Вопрос был, вероятно, продиктован сочувствием и заботой, но К., размышлявший о том, как мало удалось Фриде оградить его — ведь она обещала — от приказов и диктаторства учителя, только коротко ответил, что раз уж он теперь заделался школьным сторожем, то должен выполнять свои обязанности. После этого они снова некоторое время молчали, пока К. (как раз этот короткий разговор напомнил ему, что ведь Фрида была вроде погружена в какие-то тяжелые мысли, и уже давно, особенно во время почти всего разговора с Гансом) прямо не спросил ее, занося в это время дрова, что, собственно, ее беспокоит. Она ответила, медленно подняв на него глаза, что это не что-то определенное, просто она подумала о хозяйке и о справедливости многих ее слов. Лишь когда К.

стал настаивать, она после многих попыток уклониться ответила более подробно, не отрываясь однако от своей работы, — но не из прилежания, так как работа, несмотря на это, вообще не двигалась, а только чтобы не нужно было смотреть на К. И вот она рассказала, как во время разговора К. с Гансом она вначале спокойно слушала, как потом, испуганная некоторыми словами К., начала глубже вникать в смысл его слов и как она с тех пор уже не может не слышать в словах К. подтверждения тому предостережению, за которое она должна быть благодарна хозяйке, но в справедливость которого она никогда не хотела верить. К., выведенный из себя этими общими фразами и скорей разозленный, чем тронутый жалобным, дрожащим от слез голосом (в особенности из-за того, что эта хозяйка опять лезла в его жизнь — хоть через воспоминания, раз уж собственной персоной до сих пор мало чего достигла), швырнул дрова, которые он нес, на пол, сел на них и не шутя потребовал наконец полной ясности.

— Уже не раз, — заговорила Фрида, — с самого начала хозяйка пыталась заставить меня усомниться в тебе; она не утверждала, что ты лжешь, напротив, она говорила, что ты по-детски откро-

венен, но твоя природа настолько отличается от нашей, что нам, даже когда ты говоришь откровенно, трудно заставить себя поверить тебе, и, если какая-нибудь добрая подруга не спасет нас раньше, нам придется на собственном горьком опыте приучаться верить тебе. Даже с ней, у которой такой острый взгляд на людей, получилось почти так же. Но во время последнего разговора с тобой в предмостном трактире она — я только повторяю ее злые слова — тебя раскусила, и теперь ты бы уже не смог ее обмануть, даже если бы старался скрыть свои намерения. Но ведь ты ничего и не скрываешь, она все время это повторяла, а потом сказала еще: «Старайся все-таки при любой возможности по-настоящему прислушиваться к нему, не поверхностно, нет, по-настоящему прислушиваться». Ничего другого, кроме этого, она не делала и в отношении меня расслышала примерно следующее: ты ко мне прилип — она употребила это гадкое слово — только потому, что я случайно попалась на твоем пути и не была тебе совсем уж противна, и потому, что ты очень ошибочно считал, что служанка в пивной заранее предназначена в жертву всякому посетителю, который только протянет руку. Кроме того, хозяйка узнала от

хозяина господского трактира, что ты почему-то хотел переночевать в господском трактире, а иначе, как через меня, этого, конечно, вообще нельзя было добиться. Всех этих причин было достаточно, чтобы ты стал моим любовником на ту ночь, но для того, чтобы из этого вышло что-то большее, требовалось также что-то большее, и этим «большим» был Кламм. Хозяйка не утверждает, что знает, чего ты хочешь от Кламма, она утверждает только, что ты и до того, как узнал меня, так же ожесточенно рвался к Кламму, как и после. Разница заключается будто бы только в том, что раньше ты не имел надежды, а теперь считаешь, что нашел во мне верное средство действительно — и быстро, и даже имея превосходство — пробиться к Кламму. Как я испугалась — но вначале просто так, на миг, без какой-то глубокой причины, — когда ты сегодня к чему-то сказал, что до того, как узнал меня, был здесь как в лесу. Это, кажется, те же самые слова, которые употребила хозяйка; но она еще сказала, что ты только с тех пор, как узнал меня, действуешь целеустремленно. И это произошло оттого, что ты решил, будто, завладев возлюбленной Кламма, тем самым получил такой залог, выкупить который можно будет только за самую высокую цену.

И торговаться об этой цене с Кламмом — твое единственное стремление. И поскольку я для тебя — ничто, а эта цена — все, то в отношении меня ты готов на любую уступку, а в отношении цены — упрям. Поэтому тебя не волнует, что я потеряла место в господском трактире, не волнует, что из предмостного трактира я тоже должна уйти, не волнует, что мне придется выполнять тяжелую работу школьного сторожа. У тебя нет больше нежности ко мне — даже времени больше нет для меня, ты оставляешь меня помощникам, ревности ты не знаешь, моя единственная ценность для тебя в том, что я была возлюбленной Кламма, по своему неведению ты стараешься не дать мне забыть Кламма, чтобы потом, в конце, я не слишком противилась, когда настанет решительный момент; но ты борешься и против хозяйки, которую считаешь единственной, кто мог бы отнять меня у тебя, поэтому ты довел ссору с ней до крайности, чтобы тебе пришлось вместе со мной уйти из предмостного трактира; а что я при всех обстоятельствах — до тех пор, пока это от меня зависит, — твоя собственность, в этом ты не сомневаешься. Переговоры с Кламмом ты представляешь себе как какую-то сделку: товар против денег. Ты учитываешь все

варианты; при условии, что ты получаешь свою цену, ты готов на все: захочет меня Кламм — ты отдашь меня ему, захочет он, чтобы ты остался со мной, — ты останешься, захочет, чтобы ты меня прогнал, — ты меня прогонишь; но ты готов и разыгрывать комедию, если это будет выгодно, ты прикинешься, что любишь меня; его равнодушие ты попытаешься победить тем, что будешь подчеркивать твою ничтожность и стыдить его фактом твоего наследования, или тем, что мои любовные признания в отношении его персоны, которые я ведь действительно делала, перескажешь ему и попросишь, чтобы он меня снова принял — заплатив твою цену, разумеется; а если уж ничего другого не останется, ты просто попросишь милостыню на жизнь супружеской четы К. Но когда ты — так закончила хозяйка — увидишь, что ошибся во всем: в твоих предположениях, и в твоих надеждах, и в твоих представлениях о Кламме, и о его отношениях со мной, — тогда начнется для меня ад, потому что тогда-то я и стану единственной оставшейся у тебя собственностью, но в то же время такой собственностью, которая окажется ничего не стоящей и с которой ты будешь соответственно обращаться, потому что никакого другого чувства, кроме чувства

собственника, у тебя ко мне нет.

Напряженно, сжав губы, слушал ее К.; дрова под ним разъехались, он почти сполз на пол, но не замечал этого, только теперь он встал, сел на ступеньку возвышения, взял руку Фриды, которая слабо попыталась высвободиться, и сказал:

— В этом рассказе я не везде мог различить твое мнение и мнение хозяйки.

— Это было только мнение хозяйки, — сказала Фрида. — Я все выслушала, потому что я хозяйку уважаю, но в первый раз в моей жизни я ее мнение целиком и полностью отбросила. Мне казалось таким жалким все, что она говорила, таким далеким от какого-то понимания наших с тобой отношений. Мне скорее казалось правильным как раз противоположное тому, что она говорила. Я вспоминала то хмурое утро после нашей первой ночи, как ты стоял рядом со мной на коленях с таким видом, будто все уже потеряно. И как потом и в самом деле так складывалось, что я, как я ни старалась, не помогала, а мешала тебе. Из-за меня хозяйка стала твоим врагом, могущественным врагом, которого ты все еще недооцениваешь; ради меня, из-за которой у тебя было столько забот, тебе пришлось бороться за свое место, ты оказался в невыгодном положении

перед старостой общины, должен был подчиниться учителю, был отдан в руки помощников, но самое худшее: из-за меня ты, может быть, провинился перед Кламмом. То, что ты все это время хотел добраться до Кламма, было ведь только бессознательным стремлением как-нибудь с ним помириться. И я сказала себе, что хозяйка, которая все это, конечно, понимает куда лучше, чем я, своими нашептываниями просто хочет уберечь меня от слишком жестоких упреков самой себе. Напрасные старания, хоть она и желала добра. Моя любовь к тебе помогла бы мне преодолеть все, она бы в конце концов и тебя тоже продвинула — если не здесь, в деревне, то где-нибудь еще, одно доказательство своей силы она ведь уже дала: она спасла тебя от Барнабасовой семьи.

— Значит, тогда у тебя было такое, противоположное, мнение, — сказал К., — и что же изменилось с тех пор?

— Я не знаю, — ответила Фрида и взглянула на руку К., которая держала ее руку, — может быть, ничего не изменилось; когда ты так близко от меня и так спокойно спрашиваешь, я верю, что ничего не изменилось. Но в действительности… — она отняла у К. руку, села прямо против него и заплакала, не закрывая лица; ее залитое

слезами лицо было открыто и обращено к нему так, словно она плакала не о себе самой (и поэтому ничего не должна была скрывать), а плакала о предательстве К. и потому он заслужил еще и это наказание: видеть ее лицо, — но в действительности все изменилось после того, как мне пришлось выслушать твой разговор с этим мальчиком. Как невинно ты начал, спросил, как дома, как то, как се, мне чудилось, будто в этот момент ты входишь в пивную — такой доверчивый, наивный, и так по-детски жадно ловишь мой взгляд. Не было никакой разницы с тем, как было тогда, и я только желала, чтобы хозяйка была здесь, послушала тебя — и попробовала бы оставаться при своем мнении. Но потом вдруг — не знаю, как это произошло, — я догадалась, с каким умыслом ты разговариваешь с этим мальчиком. Своими участливыми словами ты завоевал его доверие, — а его нелегко завоевать, — чтобы потом без помех устремиться к цели, которую я все лучше и лучше понимала. Твоей целью была эта женщина. Сквозь кажущуюся заботу о ней из твоих слов совершенно неприкрыто выступал только интерес к собственным делам. Ты предавал эту женщину еще до того, как завоевал ее. Не только мое прошлое, но и мое будущее слышала

я в твоих словах; мне чудилось, будто это хозяйка сидит рядом со мной и все мне объясняет, а я изо всех сил пытаюсь прогнать ее, но ясно вижу безнадежность этих стараний; и ведь предана была, собственно, даже не я (да я и не была еще предана), а посторонняя женщина. И когда я потом собралась с силами и спросила Ганса, кем он хочет стать, и он сказал, что хочет стать таким, как ты, то есть он уже весь принадлежал тебе, то разве такая уж большая тут разница между ним, этим добрым мальчиком, которым воспользовались сейчас, и мной — тогда?

— Все, — сказал К., привычный упрек помог ему взять себя в руки, — все, что ты говоришь, в известном смысле правильно; это не лживо, нет, это только враждебно. Это мысли хозяйки, моего врага, даже когда ты считаешь, что они — твои собственные, и это меня утешает. Мысли, кстати, поучительные, у этой хозяйки еще многому можно поучиться. Мне самому она их не высказала, хотя в остальном меня не пощадила; она доверила это оружие тебе, очевидно, в надежде, что ты применишь его в особенно тяжелый или ответственный для меня час. Если я воспользовался тобой, то и она воспользовалась тобой аналогично. Но теперь подумай, Фрида: даже

если бы все было в точности так, как говорит хозяйка, это было бы очень скверно только в одном случае, а именно: если бы ты не любила меня. Тогда, только тогда это было бы действительно так, — что я завоевал тебя хитростью и расчетом, чтобы нажиться на этом приобретении. Тогда, может быть, в мой план входило даже то, что я в тот раз, чтобы вызвать твое сочувствие, появился перед тобой рука об руку с Ольгой, и хозяйка просто забыла упомянуть еще и это в списке моих прегрешений. Но если это не тот скверный случай и не какой-то коварный хищник похитил тебя, а ты шла мне навстречу так же, как я шел навстречу тебе, и мы нашли друг друга, и забыли себя оба, то скажи, Фрида, как — тогда? Тогда ведь я веду не только мое дело, но и твое тоже, тогда тут нет разницы и разделять тут может только мой враг. Это справедливо во всем, в отношении Ганса — тоже. Кстати, в оценке разговора с Гансом, ты со своей деликатностью очень перехватила, потому что если намерения Ганса и не вполне совпадают с моими, то все же не настолько, чтобы между ними была чуть ли не какая-то противоположность; кроме того, ведь наши с Гансом разногласия не остались для него тайной, решив так, ты бы сильно недооценила

этого дальновидного маленького человечка — и даже если все осталось для него тайной, то и тогда никому от этого вреда, я надеюсь, не будет.

— Так трудно во всем этом разобраться, К., — сказала Фрида и вздохнула. — Конечно, никакого недоверия к тебе у меня не было, и если бы что-то такое передалось мне от хозяйки, я была бы счастлива это отбросить и на коленях просить у тебя прощения, что я, собственно, и делаю все это время, даже если и говорю такие злые слова. Но ведь это правда, что ты многое делаешь тайком от меня; ты приходишь и уходишь — я не знаю, откуда и куда. Сегодня, когда постучал Ганс, ты даже произнес это имя: «Барнабас». Хоть бы один раз ты мое произнес с такой любовью, как произносил сегодня — по непонятной для меня причине — это ненавистное имя. Если у тебя нет ко мне доверия, то как же тогда не возникнуть недоверию и у меня — я ведь тогда полностью отдана хозяйке, правоту которой ты своим поведением, кажется, подтверждаешь. Не во всем, я не собираюсь утверждать, что ты ее во всем подтверждаешь; ведь как бы там ни было, все-таки из-за меня же ты прогнал помощников? Ах, если бы ты знал, как жадно я во всем, что ты делаешь и говоришь, даже когда мне это мучительно, ищу

какой-то добрый для меня смысл.

— Во-первых, Фрида, — сказал К., — я даже самой последней мелочи от тебя не скрываю. Как же ненавидит меня эта хозяйка, как старается тебя у меня отнять, и какими презренными средствами она пользуется, и как ты ей поддаешься, Фрида, как ты ей поддаешься! Ну скажи, что я от тебя скрываю? Что я хочу добраться до Кламма, ты знаешь, что ты не можешь мне в этом посодействовать и что я поэтому должен добиваться этого сам, как могу, ты тоже знаешь, что это мне пока еще не удалось, ты видишь. Ну что, я должен еще вдвойне унижать себя рассказами о моих безрезультатных попытках, которые сами по себе уже достаточно меня унижают? Я должен, может быть, хвастаться тем, что я целый вечер мерз возле дверцы Кламмовых саней, напрасно дожидаясь его? Счастливый, что могу больше не думать о таких вещах, я спешу к тебе — и вот теперь уже и с твоей стороны все это снова надвигается на меня. Барнабас? Разумеется, я жду его. Он — посыльный Кламма, не я же его назначил.

— Опять Барнабас! — воскликнула Фрида. — Я не могу поверить, что он хороший посыльный.

— Возможно, ты права, — согласился К., — но он — единственный посыльный, которого мне

прислали.

— Тем хуже, — сказала Фрида, — тем больше ты должен был его остерегаться.

— К сожалению, он пока не дал мне никакого повода для этого, — заметил К., усмехаясь. — Приходит он редко, и то, что он приносит, несущественно; ценно только то, что это исходит непосредственно от Кламма.

— Но послушай, — сказала Фрида, — ведь твоя цель — уже даже не Кламм; может быть, это меня беспокоит больше всего. То, что ты все время, не обращая внимания на меня, рвался к Кламму, было плохо, но то, что ты теперь, кажется, уклоняешься от Кламма, — намного хуже, это уже что-то такое, чего даже хозяйка не предвидела. По ее словам, мое счастье — сомнительное и все же очень настоящее счастье — кончится в тот день, когда ты окончательно поймешь, что твоя надежда на Кламма была напрасна. Но теперь ты даже не ждешь этого дня; вдруг входит какой-то маленький мальчик, и ты начинаешь с ним драться за его мать так, будто борешься за глоток воздуха.

— Ты правильно уловила смысл моего разговора с Гансом, — подтвердил К. — Так оно действительно и было. Но неужели вся твоя

прошлая жизнь для тебя настолько канула в вечность (за исключением, естественно, хозяйки, эта не даст себя забыть), что ты уже не помнишь, как приходится драться, чтобы продвинуться повыше, особенно если начинаешь с самого низа? Как приходится использовать все, что дает хоть какую-то надежду? А эта женщина пришла из Замка, она сама мне это сказала, когда я в первый день забрел к Лаземану. Это же просто напрашивалось — попросить у нее совета или даже помощи; если хозяйка в совершенстве знает только все препятствия на пути к Кламму, то эта женщина, наверное, знает и сам путь — она же прошла его сверху.

— Путь к Кламму? — спросила она.

— К Кламму, разумеется, куда же еще, — сказал К., затем он вскочил. — Но теперь уже самое время идти за полдником.

С настойчивостью, никак не соответствовавшей поводу, Фрида просила его остаться, — просила так, словно только если бы он остался, подтвердилось все то утешительное, что он ей сказал. Но К. напомнил ей об учителе, показал на дверь, которая в любое мгновение могла с громовым треском распахнуться, и пообещал сразу же вернуться: она даже может не растапли-

вать печь, он потом сам этим займется. В конце концов Фрида, помолчав, смирилась. Когда К. с трудом пробирался во дворе через снег — давно пора было расчистить дорожку, удивительно, как медленно двигалась работа, — он увидел одного, смертельно уставшего помощника, цеплявшегося за решетку. Только одного — куда делся второй? Что же, значит, упорство по крайней мере одного К. сломил? Правда, оставшийся был еще достаточно прилежен в работе, это стало заметно, когда он, оживившись при виде К., тут же принялся яростно простирать руки и страстно закатывать глаза. «Несгибаемость образцовая, — сказал себе К., но, впрочем, поневоле прибавил, — с такой только замерзать у решетки». Внешне, однако, он ограничился лишь тем, что погрозил помощнику кулаком; это исключало всякое сближение, и действительно, помощник испуганно попятился, пройдя задом порядочный кусок. Как раз в этот момент Фрида открыла одно из окон, чтобы, как было обговорено с К., проветрить комнату перед тем, как начать топить. Помощник сразу забыл про К. и, притягиваемый неодолимой силой, стал красться к окну. Фрида смотрела на К., дружелюбие к помощнику и беспомощная мольба искажали ее лицо; она слабо махнула из окна

рукой, было даже неясно, защищалась она или прощалась, — и помощника в его продвижении к окну это не остановило. Тогда Фрида поспешно закрыла наружную раму, но осталась за ней — рука на задвижке, склоненная набок голова, большие глаза и застывшая на губах усмешка. Знала ли она, что этим больше привлекает, чем отталкивает помощника? Но К. уже не оглядывался, он решил, что лучше пойдет как можно быстрее и быстро вернется назад.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Наконец — было уже темно: близился вечер — К. расчистил в саду дорожку, высоко набросал по обеим сторонам снег, похлопал его лопатой, и с работой на сегодня теперь было покончено. Он стоял у садовой калитки, далеко вокруг — ни души. Помощника он прогнал еще несколько часов назад; долго за ним гнался, потом потерял его где-то среди садиков и хижин, отыскать уже не смог, и с тех пор тот больше не показывался. Фрида была дома и полоскала что-то в маленькой ванночке — то ли уже белье, то ли все еще Гизину кошку: это было знаком большого доверия со стороны Гизы, что она поручила Фриде такую работу, — работу, правда, неаппетитную и неподобающую, на которую, разумеется, К. никогда бы не согласился, если бы не считал необходимым после всех служебных промашек использовать любой удобный случай, чтобы чем-то обязать Гизу. Гиза благосклонно наблюдала за тем, как К. тащил с чердака маленькую детскую ванночку, как грели воду и как, наконец, осторожно сажали в ванну кошку. Потом Гиза и вообще оставила кошку на Фриду, так как пришел Шварцер, знако-

мый К. по первому вечеру; Шварцер поздоровался с К. — при этом робость, основания для которой были заложены в тот первый вечер, смешивалась у него с непомерным презрением, естественным в отношении школьного сторожа, — и затем отправился с Гизой в соседний класс. Там они оба все еще и сидели. Как рассказывали К. в предмостном трактире, Шварцер, который был все-таки сыном кастеляна, из-за любви к Гизе уже давно жил в деревне и через свои связи добился от общины назначения сверхштатным учителем, но исполнение этой должности заключалось у него главным образом в том, что он не пропускал почти ни одного урока Гизы, сидя либо на школьной скамье среди детей, либо еще охотнее на ступеньке возвышения у ног Гизы. Это давно уже никому не мешало, дети легко к этому привыкли и, может быть, именно потому, что Шварцер детей не любил, не понимал и почти с ними не разговаривал; он взялся вести только уроки физкультуры, в остальном же был доволен тем, что живет вблизи Гизы, видит ее, слышит ее, дышит ее теплом. Самой большой радостью для него было сидеть рядом с Гизой и проверять ученические тетради. Этим они занимались и сегодня; Шварцер принес большую кипу тетрадей (учитель всегда

давал им и свои тоже), и, пока еще было светло, К. видел обоих, недвижимо, голова к голове работающих за маленьким столиком у окна, теперь там видны были только колеблющиеся язычки двух свечей. Любовь, связывающая этих двоих, была серьезна и молчалива, и тон в ней задавала Гиза; по натуре флегматичная, она, несмотря на то что иногда и делалась буйной и переходила при этом все границы, у другого в другое время никогда бы ничего подобного не потерпела, так что и бойкому Шварцеру тоже приходилось подчиняться, медленно ходить, медленно говорить, много молчать, но было видно, что за все это он с избытком вознагражден уже одним молчаливым присутствием Гизы. При этом Гиза, может быть, даже не любила его, во всяком случае, ее круглые, серые, буквально никогда не мигающие (скорее словно бы вращающиеся вокруг зрачков) глаза не давали ответа на этот вопрос; было видно только, что присутствие Шварцера она терпит без возражений, но чести быть любимой сыном кастеляна она определенно не умела оценить по достоинству и свое полное пышное тело несла всегда одинаково спокойно, независимо от того, провожал ее взглядом Шварцер или нет. Напротив, Шварцер, оставаясь в деревне, непре-

рывно приносил ей жертву; посыльных своего отца, довольно часто приходивших за ним, он выпроваживал с таким раздражением, как будто даже то краткое воспоминание о Замке и о его сыновнем долге, которое они вызывали, наносило какой-то чувствительный, невозместимый ущерб его счастью. И при этом он, вообще говоря, в избытке имел свободного времени, так как Гиза показывалась ему, как правило, только во время занятий и при проверке тетрадей — впрочем, не из расчета, но лишь потому, что больше всего любила комфорт, а следовательно — одиночество, и, видимо, более всего была счастлива, когда могла дома в полной свободе разлечься на канапе, положив рядом кошку, которая не мешала, потому что вообще едва могла двигаться. Так что Шварцер большую часть дня слонялся без дела, но и это было ему в радость, у него всегда была возможность — которой он часто и пользовался — пойти на Львиную улицу, где жила Гиза, подняться к ее комнатке под крышей, постоять у всегда запертой двери и затем поспешно уйти, убедившись всякий раз, что в комнате царит совершеннейшая, непостижимая тишина. Все же последствия такого образа жизни и у него проявлялись иногда (но никогда — в присутствии

Гизы) в забавных вспышках просыпавшегося на мгновение официального высокомерия, которое, впрочем, как раз к нынешнему его положению довольно мало шло; это, разумеется, большей частью не очень хорошо потом кончалось, в чем имел возможность убедиться и К.

Удивляло только то, что, по крайней мере в предмостном трактире, о Шварцере говорили все-таки с известным уважением, даже когда речь шла скорее о забавных, чем о достойных уважения вещах; уважение это распространялось и на Гизу. Но если Шварцер полагал, что, будучи сверхштатным учителем, он неизмеримо выше К., то это тем не менее было неверно, такого превосходства не существовало; школьный сторож для учителей вообще, а для учителя вроде Шварцера в особенности — очень важная персона, которую нельзя безнаказанно презирать и которой это презрение — если в силу сословных интересов от него не могут отказаться — по крайней мере должны соответствующей компенсацией сделать переносимым. К. собирался при случае об этом подумать, к тому же у него еще за первый вечер был к Шварцеру счет, который не стал меньше оттого, что последующие дни в общем-то оправдали прием, оказанный ему

Шварцером. Ведь не следовало забывать, что этот прием, может быть, дал направление всему последующему. Из-за Шварцера совершенно бездарным образом все внимание инстанций было сразу, в первый же час, привлечено к К., когда он, еще совершенно чужой в деревне, без знакомых, без крова, измученный переходом, абсолютно беспомощный, лежал там на мешке с соломой и инстанции могли сделать с ним все, что хотели. Уже на следующую ночь все могло произойти совсем иначе, тихо, почти тайно, во всяком случае, о нем бы ничего не знали, не имели бы никаких подозрений, по крайней мере, не задумываясь, пустили бы его, странника, на день к себе; увидели бы его полезность и надежность, пошли бы разговоры между соседями, и наверняка вскоре он сумел бы пристроиться где-нибудь слугой. Естественно, от инстанций он бы не укрылся. Но тут была существенная разница: одно дело, когда из-за него среди ночи поднимают на ноги центральную канцелярию или кого-то, кто там был у телефона, требуют моментального решения, требуют по видимости смиренно, но с досадной настырностью, к тому же исходит все от Шварцера, которого наверху, скорей всего, не любят; другое — если бы вместо всего этого К. на

следующий день в приемные часы постучался бы к старосте общины и, как полагается, представился бы странником из чужих краев, который уже остановился у такого-то члена общины и, вероятно, завтра снова двинется в путь; тогда выходило бы, что произошел совершенно невероятный случай, и он нашел здесь работу — разумеется, только на несколько дней, так как дольше он ни в коем случае оставаться не намерен. Так или примерно так было бы все без Шварцера. Инстанции все равно продолжали бы заниматься этим случаем, но — спокойно, в установленном порядке, не тревожимые этой, должно быть, особенно ненавистной для них нетерпеливостью клиента. Ну К.-то во всем этом был не виноват, вина лежала на Шварцере, но Шварцер — сын кастеляна, и формально он ведь действовал правильно, значит, заставить расплачиваться за это можно было только К. А смехотворная причина всего этого? Быть может, дурное настроение Гизы в тот день, из-за которого Шварцер не мог заснуть и шатался ночью, чтобы потом отыграться за свои мучения на К. Правда, с другой стороны, можно было сказать и то, что этому поведению Шварцера К. очень многим обязан. Только благодаря ему стало возможным нечто такое, чего К. сам

никогда бы не добился, да никогда и не посмел бы добиваться, и чего инстанции, со своей стороны, тоже, наверное, никогда бы не допустили: то, что он с самого начала, не увиливая, открыто выступил против инстанций, чтобы встретить их лицом к лицу, — насколько это вообще в отношении инстанций было возможно. Но это была плохая услуга; хотя это частично избавило К. от лжи и тайной возни, но зато и почти обезоружило, во всяком случае, повредило в борьбе и в итоге могло бы довести до отчаяния, если бы он не был вынужден сказать себе, что разница в силах между ним и инстанциями настолько чудовищна, что вся ложь и хитрость, на какие он был способен, не смогли бы существенно изменить эту разницу в его пользу. Однако эта мысль годилась только для самоуспокоения, к Шварцеру у него все равно оставался счет; пусть в тот раз Шварцер повредил К., в следующий раз он, может быть, сумеет помочь, а помощь — уже в создании самых ничтожных, самых исходных предпосылок — нужна будет К. и дальше, тем более что, к примеру, этот Барнабас, похоже, опять подведет.

Из-за Фриды К. за весь день так и не собрался сходить к Барнабасу и что-нибудь разузнать; чтобы не пришлось принимать его при Фриде,

он работал сейчас на улице и после работы все еще торчал здесь, ожидая Барнабаса, но Барнабас не шел. Не оставалось, таким образом, ничего другого, как пойти к его сестрам; он зайдет только на минуту, только спросит с порога, скоро он снова будет здесь. И он всадил лопату в снег и побежал. Задыхаясь, подбежал он к дому Барнабаса, распахнул, кратко постучав, дверь и спросил, не глядя кто и что в комнате:

— Барнабас все еще не пришел?

Только теперь он заметил, что Ольги там нет, старики опять сидят вдвоем вдали у стола в каком-то полузабытьи, — они еще не поняли, что произошло у двери и только теперь медленно поворачивают головы в его сторону, — а Амалия лежит под одеялом на скамье у печи: испуганная внезапным появлением К., она привстала и держит руку у лба, пытаясь прийти в себя. Будь Ольга в комнате, она бы тотчас ответила и К. мог бы сразу уйти, теперь же он вынужден был по крайней мере сделать несколько шагов к Амалии, протянуть ей руку, которую та молча пожала, и попросить ее, чтобы она удержала всполошившихся родителей от каких бы то ни было передвижений, что она и сделала, сказав им несколько слов. К. узнал, что Ольга во дворе

колет дрова, Амалия, вконец измучившись (она не сказала из-за чего), недавно вынуждена была лечь, а Барнабас хотя еще и не пришел, но очень скоро должен прийти, так как на ночь в Замке он никогда не остается. К. поблагодарил за справку, он мог теперь уходить, но Амалия спросила, не хочет ли он подождать Ольгу; к сожалению, у него не было времени. Тогда Амалия спросила, разговаривал ли он уже сегодня с Ольгой; он с удивлением ответил, что нет и спросил, не хотела ли Ольга сообщить ему что-либо особенное. Амалия покривила, будто в легкой досаде, губы, молча кивнула К. — это явно было прощание — и снова легла. Лежа на спине, она разглядывала его так, словно удивлялась, что он еще здесь. Взгляд ее был холоден, ясен, неподвижен, как всегда; он был направлен не совсем точно, — это мешало, — он немного, почти незаметно отклонялся от того, на что она смотрела; это, казалось, было вызвано не слабостью, а какой-то постоянной, превосходящей все другие чувства потребностью в уединении, о которой, быть может, и она сама узнавала только таким образом. К. вспомнил — так он полагал, — что этот взгляд уже в первый вечер занимал его, да и вообще, наверное, все то отталкивающее впечатление, которое

эта семья сразу же на него произвела, возникло из-за этого взгляда, хотя сам по себе он был не отталкивающим, а гордым и в своей замкнутости откровенным.

— Ты всегда такая грустная, Амалия, — сказал К., — тебя что-то мучает? Ты не можешь об этом говорить? Я еще никогда не встречал такой деревенской девушки, как ты. Мне только сегодня, собственно, только сейчас это пришло в голову. Ты — здешняя, из деревни? Ты здесь родилась?

Амалия подтвердила это так, словно К. задал только последний вопрос, и затем спросила:

— Значит, ты все-таки подождешь Ольгу?

— Я не понимаю, почему ты все время спрашиваешь одно и то же, — сказал К. — Я не могу больше задерживаться, потому что дома меня ждет невеста.

Амалия оперлась на локоть, она не слышала ни о какой невесте. К. назвал имя, Амалия такой не знала. Она спросила, знает ли о помолвке Ольга; К. полагал, что, вероятно, да. Ольга ведь видела его с Фридой, к тому же в деревне такие новости распространяются быстро. Амалия, однако, уверила его, что Ольга этого не знает и что это сделает ее очень несчастной, потому что она, кажется, любит К. Прямо она об этом не говорит,

так как она очень скрытна, но любовь все равно невольно себя выдает. К. был убежден, что Амалия ошибается. Амалия улыбнулась, и эта улыбка, хотя она была печальна, освещала ее угрюмо сосредоточенное лицо, делала молчание говорящим, делала чуждое понятным, выдавала какую-то тайну, отдавала какое-то до сих пор сберегавшееся достояние, которое хотя и можно было снова отобрать, но уже никогда — целиком. Амалия сказала, что она, конечно же, не ошибается, нет, она знает даже больше, она знает, что и К. неравнодушен к Ольге и что, хотя предлогом для его посещений служат какие-то там послания Барнабаса, на самом деле он приходит только ради Ольги. Но теперь, поскольку Амалия все знает, он может уже не относиться к этому так строго и приходить чаще. Только это она и собиралась ему сказать. К. покачал головой и напомнил о своей помолвке. Амалия, казалось, придавала этой помолвке не слишком большое значение, решающим для нее было непосредственное впечатление: ведь К. стоял перед ней все-таки один; она только спросила, когда же К. познакомился с этой девушкой, он же всего несколько дней в деревне. К. рассказал о вечере в господском трактире, на что Амалия сказала только, что

она была очень против того, чтобы его вели в господский трактир. В свидетельницы этого она призвала и Ольгу, которая как раз вошла с целой охапкой дров в руках, свежая и раскрасневшаяся с мороза, оживленная и сильная, словно работа пробудила ее от обычного тяжелого оцепенения. Она бросила дрова на пол, непринужденно поздоровалась с К. и сразу спросила про Фриду. К. многозначительно взглянул на Амалию, но та, казалось, не считала, что ее слова опровергнуты. Немного разозлившись на это, К. подробнее, чем сделал бы это в другое время, рассказал о Фриде, описал, в каких тяжелых условиях она все-таки ведет в школе что-то вроде домашнего хозяйства, и, спеша закончить рассказ — он ведь хотел сразу идти домой, — так забылся, что на прощание пригласил сестер как-нибудь его навестить. Тут, правда, он испугался и замолчал, и Амалия тотчас же, не оставив ему времени сказать еще хоть слово, объявила, что приглашение принято; теперь и Ольга была вынуждена присоединиться к ней и сделала это. Однако К., неотступно преследуемый мыслью о необходимости побыстрее распрощаться и чувствовавший себя неуютно под взглядом Амалии, не замедлил безо всякой уже дипломатии признаться, что его приглашение

было совершенно необдуманным и продиктовано было только его личными чувствами, но что он, к сожалению, не может оставить его в силе, так как между Фридой и Барнабасовым домом существует какая-то сильная, ему, впрочем, совершенно непонятная вражда.

— Это не вражда, — сказала Амалия и поднялась со скамьи, сбросив за спину одеяло, — вражда — это было бы слишком много; просто она повторяет то, что говорят все. Ну иди же, иди к своей невесте, я вижу, как ты торопишься. И можешь не бояться, что мы придем, я ведь сказала это только в шутку, со злости. Но ты можешь приходить к нам чаще, для этого, наверное, препятствий нет, ты ведь всегда можешь отговориться Барнабасовыми посланиями. И чтобы тебе это было еще легче, скажу, что Барнабас, даже если он принесет для тебя послание из Замка, не сможет идти еще и в школу, чтобы передать его тебе. Он не может столько бегать, бедный мальчик, он изматывается на этой службе, тебе придется самому прийти за своей запиской.

К. еще ни разу не слышал, чтобы Амалия произносила такую длинную речь, да и звучала она иначе, чем обычно, в ней было что-то вроде величия, которое почувствовал не только К., но,

очевидно, даже и Ольга — давно привыкшая к ней сестра. Она стояла чуть поодаль, снова в своей привычной позе: сцепив руки на животе, расставив ноги и слегка ссутулившись, глаза ее были устремлены на Амалию, но та все время смотрела только на К.

— Это ошибка, — сказал К., — большая ошибка, если ты думаешь, что к ожиданию Барнабаса я не отношусь серьезно. Привести мои дела с инстанциями в порядок — это мое самое большое, собственно, мое единственное желание. И Барнабас должен мне оказать в этом содействие, многое в моих надеждах связано с ним. Он, правда, один раз уже очень меня разочаровал, но там я сам был виноват больше, чем он, все происходило в неразберихе первых часов, я думал тогда, что за одну маленькую вечернюю прогулку смогу всего добиться, и в том, что невозможное оказалось невозможным, я тоже обвинил его. Это повлияло даже на мое мнение о вашей семье, о вас. Но это в прошлом, я думаю, что теперь понимаю вас лучше, вы ведь… — К. поискал точное слово, не смог сразу найти и удовлетворился тем, что подвернулось, — вы, может быть, более покладисты, чем кто-либо из здешних деревенских жителей, насколько я их сейчас знаю. Но теперь, Амалия,

ты снова смущаешь меня тем, что принижаешь если и не саму службу твоего брата, то, во всяком случае, то значение, которое она имеет для меня. Может быть, ты не посвящена в дела Барнабаса, тогда все хорошо, и пусть все остается как есть, но если ты посвящена — а у меня скорей такое впечатление, — тогда это плохо, тогда это означало бы, что твой брат меня зачем-то обманывает.

— Не волнуйся, — сказала Амалия, — я не посвящена, и ничто не могло бы склонить меня к тому, чтобы я позволила себя посвящать, ничто не могло бы склонить меня к этому, даже уважение к тебе, ради кого я все-таки многое бы сделала, потому что мы, как ты сказал, покладисты. Но дела моего брата — это его дела, я ничего о них не знаю, кроме того, что случайно против моей воли иногда услышу. Вот Ольга может дать тебе исчерпывающие сведения, она ведь — его доверенная.

И Амалия ушла сначала к родителям, с которыми пошепталась, потом — в кухню; она ушла не попрощавшись с К., словно знала, что он останется еще надолго и никаких прощаний не нужно.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

К. все еще стоял в некотором удивлении; Ольга засмеялась и утащила его к скамейке у печи, она, кажется, в самом деле была счастлива, что они теперь могут посидеть здесь одни, но это счастье было спокойным, ревность его определенно не омрачала. Именно благодаря отсутствию ревности, а следовательно, какой бы то ни было суровости, К. было с ней хорошо; он с удовольствием смотрел в ее голубые — не зовущие, не властные, а робко устремленные на него, робко выдерживавшие его взгляд глаза. Было похоже, что предостережения Фриды и хозяйки обострили не его чувствительность ко всему, что было здесь, а его внимательность и находчивость. И он засмеялся вместе с Ольгой, когда она удивилась, почему он именно Амалию назвал покладистой: ведь Амалия какая угодно, только, вообще-то говоря, не покладистая. На что К. объяснил, что похвала относилась, разумеется, к ней, к Ольге, но Амалия такая властная, что она не только присваивает себе все, что в ее присутствии говорится, но и тебя заставляет добровольно все ей отдать.

— Это верно, — заметила Ольга, становясь се-

рьезной, — даже более верно, чем ты думаешь. Амалия моложе меня и моложе Барнабаса, но именно она все решает в семье — и когда у нас радость, и когда горе; правда, на нее и груз ложится больший, чем на всех, — и радости, и горя.

К. нашел это преувеличенным: Амалия ведь только что сказала, что, например, о делах брата она не заботится, Ольга же, напротив, все о них знает.

— Как мне тебе это объяснить? — сказала Ольга. — Амалия не заботится ни о Барнабасе, ни обо мне, она не заботится, собственно, ни о ком, кроме родителей: за ними она ухаживает день и ночь, и сейчас вот опять спросила, чего им хочется, и пошла на кухню готовить им, ради них себя превозмогла, чтобы встать, потому что уже полдня как болеет и лежит здесь на скамье. Но хотя она о нас и не заботится, мы зависим от нее так, словно она здесь старшая, и если бы она нам в наших делах советовала, мы бы, конечно, ее слушались, но она этого не делает, мы для нее чужие. Ты же хорошо знаешь людей, ты пришел из чужих краев, скажи, разве она не кажется и тебе на редкость умной?

— На редкость несчастной она мне кажется, — сказал К., — но как же согласуется с вашим

уважением к ней то, что, например, Барнабас пошел на эту посыльную службу, которую Амалия не одобряет, может быть, даже презирает?

— Если бы он знал, что ему еще делать, он бы эту посыльную службу, которая его совсем не удовлетворяет, сразу бросил.

— А разве он не квалифицированный сапожник? — спросил К.

— Конечно, — ответила Ольга, — он же и работает, помимо всего, для Брунсвика и, если бы захотел, мог бы иметь горы сапожной работы и хороший заработок.

— Ну вот, — сказал К., — значит, он все-таки имел бы какую-то компенсацию за посыльную службу.

— За посыльную службу? — удивленно спросила Ольга. — Разве он пошел на нее ради заработка?

— Возможно, — предположил К., — однако ты вроде бы сказала, что она его не удовлетворяет.

— Она его не удовлетворяет — и по многим причинам, — подтвердила Ольга, — но это все-таки служба в Замке, что ни говори, — какая-то служба в Замке, так, по крайней мере, можно считать.

— Как, — удивился К., — вы даже в этом сомневаетесь?

— Ну, — сказала Ольга, — вообще-то нет. Барнабас ходит в канцелярии, разговаривает со слугами как равный, издали видит и отдельных чиновников, ему дают сравнительно важные письма — даже и поручения для устной передачи доверяют — это все-таки немало, и мы могли бы гордиться тем, сколького он в такие юные годы уже достиг.

К. кивал, о возвращении домой он уже не думал.

— У него есть и собственная ливрея? — спросил он.

— Ты имеешь в виду куртку? — уточнила Ольга. — Нет, куртку ему Амалия справила еще до того, как он стал посыльным. Но ты подошел к нашему больному месту. Он давно уже должен был бы получить по службе не какую-то ливрею, которых в Замке нет, а обмундирование, оно ему даже было обещано, но в этом отношении они там в Замке очень медлят, и хуже всего то, что никогда не знаешь, что эта медлительность означает: она может означать, что дело находится в производстве, но может также означать, что дело в производство вообще еще не запущено и, к примеру, Барнабаса все еще только хотят испытать; она может, наконец, означать и то, что

производство по делу уже закончено, обещание по каким-то причинам взято назад и Барнабас обмундирования никогда не получит. Точно этого узнать нельзя — или только спустя много времени. У нас здесь есть даже поговорка — ты, может быть, слышал: «Официальные решения стыдливы, как молодые девушки».

— Это очень верное наблюдение, — заметил К., он отнесся к этому еще серьезнее, чем Ольга, — очень верное, у решений и девушек могут быть и другие общие свойства.

— Возможно, — сказала Ольга. — Я, правда, не знаю, в каком смысле ты это говоришь. Может быть, даже в похвальном. Но что касается форменной одежды, то как раз это — одна из забот Барнабаса, а поскольку заботы у нас общие, — и моя тоже. Почему он не получает форменной одежды? — тщетно спрашиваем мы себя. Но, правда, все тут не так просто. Например, чиновники вообще, кажется, не имеют форменной одежды; судя по тому, что мы здесь знаем, и по рассказам Барнабаса, чиновники ходят там в обычной, разумеется, красивой одежде. Впрочем, ты уже видел Кламма. Ну, чиновником даже самой низкой категории Барнабас, естественно, не является — и не заносится настолько, чтобы

хотеть им стать. Но и старшие слуги — которых, правда, здесь в деревне вообще невозможно увидеть — по рассказам Барнабаса, не имеют форменного обмундирования; в первый момент кажется, что в этом можно найти некоторое утешение, но оно обманчиво, потому что разве Барнабас — старший слуга? Нет, при самой большой симпатии к нему этого сказать нельзя, он не старший слуга, уже то, что он приходит в деревню и даже живет здесь, доказывает обратное; старшие слуги живут еще более замкнуто, чем чиновники, и, возможно, по праву, возможно, они даже выше многих чиновников (кое-что говорит в пользу этого: они меньше работают), и, судя по словам Барнабаса, это должна быть удивительная картина, когда они, один к одному высокие, сильные мужчины, медленно идут по коридору; Барнабас всегда крутится там возле них. Короче, не может быть и речи о том, что Барнабас — старший слуга. Значит, он мог бы быть одним из младших слуг, но как раз эти-то получают форменное обмундирование, во всяком случае, тогда, когда они спускаются в деревню; это не в прямом смысле ливрея, к тому же там есть много различий, но все равно по одежде сразу узнаешь слугу из Замка — да ты сам видел

этих людей в господском трактире. Больше всего бросается в глаза в этой одежде то, что она, как правило, плотно облегает — крестьянину или ремесленнику такая одежда не годилась бы. Так вот этой одежды у Барнабаса нет; это не только, скажем, постыдно или унизительно, такое можно было бы перенести, но это — особенно в тяжелые часы, иногда, и не так уж редко, они у нас с Барнабасом бывают — заставляет сомневаться уже во всем. Замковая ли это вообще служба — то, что делает Барнабас, спрашиваем мы себя тогда; конечно, он ходит в канцелярии, но относятся ли эти канцелярии собственно к Замку? И даже если канцелярии принадлежат к Замку, то те ли это канцелярии, в которые допускается Барнабас? Он приходит в канцелярии, но это только какая-то их часть: дальше — барьеры, а за ними — еще другие канцелярии. Идти дальше ему в общем-то не запрещено, но не может же он идти дальше, если он уже нашел своих начальников, если они с ним уже все закончили и сказали «идите». Там ведь еще за тобой постоянно наблюдают, по крайней мере, возникает такое ощущение. И даже если бы он пошел дальше, что бы это дало, когда у него там никаких служебных дел и он был бы там просто нарушителем. Ты, кстати, не должен

представлять себе эти барьеры как какие-то установленные границы, Барнабас тоже все время мне об этом напоминает. Барьеры есть и в тех канцеляриях, в которых он бывает, есть и такие барьеры, через которые он проходит, и внешне они ничем не отличаются от тех, за которые он еще не проникал, поэтому нет причин с самого начала предполагать, что за этими последними барьерами находятся канцелярии, существенно отличающиеся от тех, в которых Барнабас уже бывал. Такие мысли посещают нас только в те наши тяжелые часы. И тогда от сомнений уже никуда не уйти, и нет от них барьеров. Барнабас разговаривает с чиновниками, Барнабасу дают поручения, но что это за чиновники и что за поручения? Теперь, как он говорит, его придали Кламму и он получает задания персонально от него. Ну это было бы уж очень много, даже старшие слуги не достигают таких высот, это было бы почти что слишком много, это-то и пугает. Подумай только, быть приданным персонально Кламму, вот так вот запросто разговаривать с ним — и чтобы все это было правдой? Ну да, все это правда, но почему же Барнабас сомневается в том, что чиновник, который значится там Кламмом, действительно Кламм?

— Ты ведь не собираешься шутить, Ольга, — сказал К., — какое может быть сомнение в том, как выглядит Кламм, когда известно, как он выглядит, я же сам его видел.

— Конечно нет, К., — ответила Ольга. — Это не шутки, это мои самые серьезные заботы. Но я рассказываю тебе это не для того, чтобы облегчить свою душу и как-то отяготить твою, а потому что ты спросил про Барнабаса, и Амалия поручила мне рассказать, и потом, я думаю, тебе тоже полезно знать подробности; я это делаю и ради Барнабаса — чтобы ты не возлагал на него слишком больших надежд; он тебя разочаровывает и потом сам от твоего разочарования страдает. Он очень чувствителен; например, сегодня ночью он не спал, потому что ты вчера вечером был им недоволен, ты будто бы сказал, что для тебя очень скверно иметь только такого посыльного, как Барнабас. И эти слова лишили его сна. Сам ты, может быть, и не заметил его волнения, замковые посыльные должны очень хорошо владеть собой, но ему это нелегко дается, даже с тобой — нелегко. Ты требуешь от него, с твоей точки зрения, конечно же, не слишком много, у тебя свои определенные представления о посыльной службе, и исходя из них, ты предъявляешь свои

требования. Но в Замке другие представления о посыльной службе, их нельзя было бы соединить с твоими, даже если бы Барнабас целиком посвятил себя службе, к чему он, к сожалению, иногда кажется расположен. И пришлось бы, конечно, смириться, и невозможно было бы ничего возразить, если б только не этот вопрос: действительно ли это посыльная служба — то, что он делает? При тебе он, естественно, не может высказывать на этот счет никаких сомнений, если бы он это сделал, это значило бы для него подорвать свое собственное существование, грубо нарушить законы, которые — он все-таки еще верит — на него тоже распространяются, и даже со мной он не говорит откровенно, мне приходится ласками, поцелуями выманивать у него его сомнения, а он еще упирается и не признает, что эти сомнения — действительно сомнения. У него в крови что-то от Амалии. И всего он мне, конечно, не рассказывает, хотя я — единственная его доверенная. Но о Кламме мы иногда разговариваем; я Кламма еще не видала (ты знаешь, Фрида меня не слишком любит и никогда не позволила бы мне взглянуть на него), но, естественно, внешность его в деревне известна, кое-кто его видел, все о нем слышали, и из этих впечатлений очевидцев, из

слухов и также из многих умышленно искаженных свидетельств составился портрет Кламма, который, вероятно, в основных чертах верен. Но только в основных. В остальном он изменчив и, возможно, еще даже не настолько изменчив, как действительная внешность Кламма. Он, судя по всему, когда приходит в деревню, выглядит совершенно иначе, чем когда он ее покидает, иначе — перед тем, как выпьет пива, и иначе — после этого, иначе — бодрствуя, иначе — во сне, иначе, когда один, и иначе, когда разговаривает, и, как уже понятно после всего этого, почти принципиально по-другому — наверху, в Замке. И, судя по рассказам, даже в пределах деревни есть довольно большие различия: различия роста, осанки, полноты, бороды, — только в отношении одежды все рассказы, к счастью, согласуются; он носит всегда одну и ту же одежду: черный фрак с длинными фалдами. Ну, объясняются все эти различия, естественно, не каким-то колдовством, а очень понятно, они происходят от мгновенного настроения, степени возбуждения, бесчисленных стадий надежды или отчаяния наблюдающего, который, к тому же и видит Кламма, как правило, лишь одно мгновенье. Я пересказываю тебе все это так, как это мне часто объяснял Барнабас, и

вообще-то, если не быть непосредственно, лично причастным к делу, то на этом можно бы и успокоиться, но мы так не можем: для Барнабаса это вопрос жизни, действительно ли он говорит с Кламмом или нет.

— Для меня тоже, — если не больше, — сказал К., и они еще ближе подвинулись друг к другу по скамейке.

Хотя все эти малоприятные Ольгины новости плохо подействовали на К., он все же усматривал значительную компенсацию для себя в том, что нашел здесь людей, положение которых, по крайней мере внешне, было похоже на его собственное, к которым он, следовательно, мог примкнуть, с которыми он во многом мог сойтись, а не только кое в чем, как с Фридой. Хотя он постепенно терял надежду на какой-либо успех данного Барнабасу поручения, но чем хуже складывались у Барнабаса дела наверху, тем ближе становился он ему здесь, внизу; К. никогда бы не подумал, что в самой деревне могло родиться такое несчастное стремление, какое было у Барнабаса и его сестры. Оно, впрочем, было еще далеко не достаточно объяснено и могло в конце концов обернуться своей противоположностью; нельзя было позволить, чтобы эта по-своему

невинная Ольгина сущность сразу же соблазнила его поверить и в искренность Барнабаса.

— Рассказы о внешности Кламма, — продолжала Ольга, — Барнабас знает очень хорошо, много их собирал и сравнивал, может быть, — слишком много, один раз сам видел Кламма в деревне через окошко кареты — или думает, что видел, — таким образом, он достаточно подготовлен к тому, чтобы его узнать, и тем не менее — как ты это объяснишь? — когда он в Замке заходит в канцелярию и ему среди многих чиновников указывают одного и говорят, что это — Кламм, он его не узнает, и даже потом еще долго не может привыкнуть к тому, что это и есть Кламм. Но если ты сейчас спросишь Барнабаса, чем этот человек отличается от того обычного представления, которое есть о Кламме, он ответить не сможет; более того — он ответит и опишет этого чиновника в Замке, но это описание в точности совпадет с тем описанием Кламма, которое мы знаем. Но в таком случае, Барнабас, говорю я, почему ты сомневаешься, почему ты мучаешь себя? На что он тогда, явно удрученный, начинает перечислять особенности того чиновника в Замке, которые, однако, скорее изобретает, чем пересказывает, и которые, кроме того, так незначительны (они

касаются, например, какого-нибудь особенного кивка головой или даже только расстегнутой жилетки), что их невозможно принимать всерьез. Еще более важным мне кажется то, как Кламм общается с Барнабасом. Барнабас часто мне это описывал, даже чертил. Обычно Барнабаса приводят в одну и ту же большую канцелярию, но это канцелярия не Кламма, вообще — не чья-то отдельная канцелярия. Эта комната разделена одной сплошной (идущей от боковой стены до боковой стены) конторкой на две части: узкую, где едва могут разойтись два человека, это помещение для чиновников, и широкую, это помещение для посетителей, зрителей, слуг, посыльных. На конторке лежат в ряд раскрытые большие книги, и около большинства из них стоят чиновники и читают в них. При этом они не остаются все время около одних и тех же книг, но меняются не книгами, а местами; Барнабаса больше всего поражает то, как им приходится при такой смене мест протискиваться друг мимо друга — из-за узости их помещения. Впереди, вплотную к конторке, стоят низкие столики, за ними сидят писцы и пишут под диктовку чиновников, если те пожелают. Барнабаса всегда удивляет, как это происходит. Никакого явного приказа

чиновник не отдает и громко не диктует, почти и не заметно, что что-то диктуется, скорее такое впечатление, что чиновник читает так же, как и раньше, только при этом еще что-то шепчет, и писец это слышит. Часто чиновник диктует так тихо, что писец, сидя, этого вообще не может услышать, тогда ему приходится все время вскакивать, схватывать диктуемое, быстро садиться и записывать, затем снова вскакивать и так без конца. Как это странно! Это почти невозможно понять. У Барнабаса, впрочем, достаточно времени, чтобы все это как следует разглядеть, так как там, в помещении для зрителей, он стоит часами, а иногда и днями, прежде чем взгляд Кламма упадет на него. Но даже если Кламм его уже увидел и Барнабас вытянулся по стойке «смирно» — это еще ничего не значит, потому что Кламм может снова отвернуться от него к книге и забыть его, так бывает часто. Но что же это за посыльная служба, если она так мало значит? У меня душу щемит всякий раз, когда Барнабас говорит утром, что он идет в Замок. Еще один наверняка совершенно бесполезный поход, еще один наверняка потерянный день, еще одна наверняка напрасная надежда — к чему все это? А здесь скапливаются горы сапожной работы, которую никто не делает

и выполнения которой требует Брунсвик.

— Ну хорошо, — сказал К., — Барнабасу приходится долго ждать, прежде чем он получит задание. Это понятно, здесь в самом деле, кажется, излишек служащих, и не всякому удается всякий день получать задание, на это вам не стоило бы жаловаться, это, вероятно, касается всех. Но ведь в конце концов и Барнабас получает задания, мне, например, он принес уже два письма.

— Возможно, это и верно, — сказала Ольга, — что мы не вправе жаловаться, в особенности я, ведь я знаю обо всем только понаслышке, и потом, я девушка и не могу в этом так хорошо разобраться, как Барнабас, который к тому же еще о многом умалчивает. Но вот послушай, как все происходит с письмами, например с письмами к тебе. Эти письма он получает не непосредственно от Кламма, а от писца. В какой угодно день и в какой угодно час — потому и служба эта, какой бы легкой она ни казалась, очень утомительна, так как Барнабас должен быть все время настороже — писец вспоминает о нем и подмигивает ему. Кламм, кажется, совершенно не имеет к этому отношения, он спокойно читает в своей книге, иногда, правда, он, как раз когда Барнабас подходит, протирает пенсне (но он это и вообще

довольно часто делает) и при этом, возможно, смотрит на Барнабаса — если предположить, что он вообще видит без пенсне, Барнабас в этом сомневается, — потом Кламм почти закрывает глаза и кажется, что он спит и только протирает во сне пенсне. В это время писец среди множества документов и писем, которые у него под столом, отыскивает письмо для тебя; это, следовательно, не то письмо, которое он только что написал, напротив, это, судя по виду конверта, очень старое письмо, и лежит оно там уже давно. Но если это старое письмо, то зачем заставлять так долго ждать Барнабаса? Да, наверное, и тебя? Да, наконец, — и само письмо, которое теперь ведь, наверное, уже устарело? А Барнабасу этим создают репутацию плохого, медлительного посыльного. Писцу-то, конечно, хорошо: даст Барнабасу письмо, скажет «от Кламма для К.» — и на этом с Барнабасом покончено. Вот, а потом Барнабас приходит домой, задыхаясь, с наконец-то добытым письмом, спрятанным под рубашкой, на голом теле, и мы садимся тогда здесь, на этой скамье, как теперь, он рассказывает, и мы обсуждаем потом все по отдельности, и оцениваем, чего он достиг, и приходим к выводу, что очень немногого и что даже это немногое сомнительно,

и Барнабас откладывает письмо в сторону, и ему не хочется его относить, но идти спать тоже не хочется, он принимается за сапожную работу и просиживает там, на той скамеечке, всю ночь. Вот как это выглядит, К., вот такие у меня тайны, и ты теперь, наверное, уже не удивляешься, что Амалия не желает о них слышать.

— А это письмо? — спросил К.

— Письмо? — повторила Ольга. — Ну, через какое-то время, если я буду достаточно подталкивать Барнабаса — при этом могут пройти дни, а то и недели, — он все-таки берет письмо и идет его вручать. В таких мелких формальностях он ведь очень зависит от меня, потому что я, если преодолею первое впечатление от его рассказа, могу потом снова взять себя в руки, чего он — вероятно, как раз из-за того, что знает больше, — сделать не в состоянии. И тогда я снова и снова говорю ему примерно так: «Чего же ты, собственно, хочешь, Барнабас? О каком пути, о какой цели ты мечтаешь? Может быть, ты хочешь пойти так далеко, что должен будешь совсем нас покинуть, меня покинуть? Неужели это — твоя цель? Разве не должна я так думать, ведь иначе невозможно понять, почему ты так ужасно недоволен тем, чего уже достиг. Оглянись

вокруг, разве кто-нибудь из наших соседей пошел уже так далеко? Правда, их положение не такое, как наше, и у них нет причин стремиться к чему-то за пределами их хозяйств, но, даже и не равняясь с ними, нужно признать, что у тебя все идет наилучшим образом. Да, есть препятствия, неясности, разочарования, но ведь это означает только, что тебе ничего не дарят просто так — а мы это и раньше знали, — что, напротив, каждую мелочь ты должен своими руками добывать в борьбе, — лишний повод испытывать гордость, а не уныние. И потом, ты ведь борешься и за нас? Неужели это совсем ничего для тебя не значит? Неужели это не придает тебе новых сил? Неужели тебе не придает уверенности то, что я счастлива и почти надменна, имея такого брата? Поистине ты разочаровываешь меня не тем, чего ты достиг в Замке, а тем, чего я достигла, уговаривая тебя. Ты допущен в Замок, ты — постоянный посетитель канцелярий, проводишь целые дни в одной комнате с Кламмом, являешься общепризнанным посыльным, претендуешь на получение форменной одежды, тебе дают для доставки важную корреспонденцию, все это — твое, все это тебе позволено, и вот ты спускаешься вниз, и тут бы нам, плача от счастья, обнимать друг

друга, а вместо этого ты при виде меня, похоже, теряешь всякое мужество, ты начинаешь во всем сомневаться, тебя привлекает только сапожная колодка, а письмо, этот залог будущего, ты оставляешь лежать». Так я ему говорю и повторяю все это целыми днями, и рано или поздно он берет, вздыхая, письмо и идет. Но это, наверное, совсем не из-за моих слов — просто его снова тянет в Замок, а не выполнив поручения, он не посмел бы туда пойти.

— Но ведь ты же в самом деле права во всем, что ты ему говоришь, — воскликнул К. — Ты на удивление правильно все это сформулировала. Как поразительно ясно ты мыслишь!

— Нет, — сказала Ольга, — ты обманываешься, вот так же, может быть, я обманываю и его. Чего он, собственно, достиг? Ну пускают его в канцелярию, но ведь похоже, что это даже не канцелярия, а скорей прихожая канцелярии; может быть, даже не прихожая, может быть, — такая комната, где должны задерживать всех, кого не пускают в настоящие канцелярии. С Кламмом он разговаривает — но Кламм ли это? Может, это просто кто-то, немного похожий на Кламма? Может быть, какой-нибудь секретарь — в лучшем случае, — который немного похож на Кламма и

старается стать еще более похожим, и пыжится, изображая из себя что-то заспанное и мечтательное в духе Кламма. Эту сторону его натуры легче всего скопировать, на этом пробуют свои силы многие, правда, других сторон они благоразумно не касаются. И вот такой человек, как Кламм, которого так часто жаждут достичь и так редко достигают, легко принимает в представлении людей различные облики. У Кламма, к примеру, есть здесь деревенский секретарь по имени Момус. Да? Ты его знаешь? Он тоже вечно прячется, но я его все-таки уже несколько раз видела. Такой молодой, крепкий господин, да? — то есть с виду, скорей всего, совсем не похожий на Кламма. И тем не менее ты найдешь в деревне людей, которые присягнут, что Момус — это Кламм и никто другой. Так люди запутывают сами себя. А почему в Замке это должно быть иначе? Кто-то сказал Барнабасу, что тот чиновник — Кламм, и действительно, какое-то сходство между ними есть, но такое, что Барнабас все время в нем сомневается. И все говорит в пользу его сомнений. Неужели Кламм будет толкаться в общей комнате среди других чиновников с карандашом за ухом? Это же совершенно невероятно. Барнабас время от времени говорит (несколько по-детски, но это

уже обнадеживающее настроение): чиновник в самом деле очень похож на Кламма, сиди он в собственной канцелярии за своим собственным письменным столом и будь на двери его имя, у меня не было бы сомнений. Он рассуждает по-детски, но его можно и понять. Правда, еще понятнее было бы, если бы Барнабас, оказавшись наверху, спросил бы сразу у нескольких человек, как все обстоит на самом деле, ведь, по его же словам, там в комнате толчется достаточно народу. И пусть даже их слова были бы ненамного надежнее слов того, кто без вопросов указал ему на Кламма, но ведь, по крайней мере, из их разноречивости должны были бы выявиться какие-то отправные точки, какие-то точки соприкосновения. Это не моя идея, это идея Барнабаса, но он не смеет ее осуществить; боясь из-за какого-нибудь невольного нарушения неизвестных инструкций потерять свое место, он не смеет ни к кому обратиться — так неуверенно он там себя чувствует, и эта, что ни говори, жалкая неуверенность лучше обрисовывает мне его положение, чем все описания. Каким подозрительным и угрожающим должно ему там все казаться, если он даже не смеет рот раскрыть, чтобы задать самый невинный вопрос. Когда я об этом думаю, я виню себя, что

пускаю его одного в эти неведомые прихожие, где такая обстановка, что даже он — а он скорее отчаянный, чем трусливый, — наверняка дрожит там от страха.

— Тут, я думаю, ты подходишь к самому главному, — сказал К. — Так оно и есть. После всего, что ты рассказала, мне теперь, я полагаю, все ясно. Барнабас слишком молод для такого задания; ничему из того, что он рассказывает, нельзя верить безоговорочно. Раз он наверху теряет голову от страха, он не способен там ничего увидеть, и если здесь все-таки заставить его рассказывать, то получишь путаные сказки. Меня это не удивляет. Почтение к инстанциям передается здесь у вас по наследству и потом на протяжении всей вашей жизни внушается вам всевозможными способами и со всех сторон, причем вы сами способствуете этому, как только можете. И я, в сущности, ничего против этого не имею: если какие-то инстанции хороши, почему бы и не испытывать к ним почтения. Но тогда нельзя неопытного юнца вроде Барнабаса, который не дорос еще, чтобы выходить из деревни, вдруг посылать в Замок и потом требовать от него достоверного рассказа, и каждое его слово изучать как слово откровения, и ставить в зависимость

от его истолкования счастье собственной жизни. Не может быть ничего ошибочнее. Впрочем, и я точно так же, как ты, позволил ему сбить себя с толку, и надежды на него возлагал, и разочарования из-за него испытал, и все это — полагаясь только на его слова, то есть почти ни на что.

Ольга молчала.

— Мне нелегко, — продолжал К., — разрушать твое доверие к брату, я ведь вижу, как ты его любишь и чего ты от него ждешь. Но сделать это надо, и не в последнюю очередь — ради твоей любви и твоих ожиданий. Ведь смотри, каждый раз что-то — я не знаю, что именно, — мешает тебе до конца понять, что же удалось Барнабасу — не достичь, конечно, а получить в подарок. Его пускают в канцелярии, или, если тебе так больше нравится, в некую переднюю; ну хорошо, пусть это будет передняя, но там есть двери, которые ведут дальше, барьеры, за которые можно пройти, если уметь это делать. Мне, например, по крайней мере — пока, эта передняя совершенно недоступна. С кем Барнабас там разговаривает, я не знаю; возможно, этот писец — самый младший слуга, но даже если он самый младший, он может привести к ближайшему из старших, а если не может к нему привести, то все-таки может, по

крайней мере, его назвать, а если не может его назвать, то может все-таки указать на кого-то, кто сможет его назвать. Этот мнимый Кламм может не иметь с настоящим решительно ничего общего, сходство может существовать лишь для незрячих от волнения глаз Барнабаса, он может быть самым младшим чиновником, он может даже и не быть чиновником, но для чего-то же он стоит у этой конторки, что-то он читает в своей большой книге, что-то он нашептывает этому писцу, что-то он думает, когда его взгляд наконец падает на Барнабаса — и даже если все это неверно, и он, и его поступки вообще ничего не означают, то все-таки кто-то его туда поставил и сделал это с какой-то целью. Всем этим я хочу сказать: что-то тут есть, что-то Барнабасу все-таки поручают, по крайней мере — что-то, и вина только самого Барнабаса, если он из этого не может извлечь ничего, кроме сомнений, страха и отчаяния. И при этом я еще беру самый неблагоприятный случай, вероятность которого просто отсутствует. Ведь у нас же в руках эти письма, которым я хоть и не очень доверяю, но все же куда больше, чем Барнабасовым словам. Пусть это даже старые, ничего не стоящие письма, вытащенные наугад из груды точно таких же ничего

не стоящих писем — наугад и с пониманием не большим, чем у канареек, которые на ярмарках вытаскивают клювом из груды бумажек предсказание судьбы все равно кому, — пусть это так, но все-таки эти письма имеют, по крайней мере, какое-то отношение к моей работе; они явно предназначены для меня — хотя, может быть, и не для того, чтобы мне от них была какая-то польза; они, как это удостоверили староста общины и его жена, собственноручно подписаны Кламмом и имеют — опять-таки по словам старосты общины — пусть всего лишь неофициальное и малопонятное, но тем не менее большое значение.

— Староста общины так сказал? — спросила Ольга.

— Да, так он сказал, — ответил К.

— Я расскажу это Барнабасу, — быстро сказала Ольга, — это его очень подбодрит.

— Но его не нужно подбадривать, — возразил К., — подбодрить его — значит сказать ему, что он прав, что он и дальше должен действовать только тем же способом, что и прежде, но именно этим способом он никогда ничего не достигнет. Сколько бы ты ни подбадривала кого-то, у кого завязаны глаза, чтобы он смотрел сквозь повязку, он все равно никогда ничего не увидит, он

сможет видеть, только если снять с него повязку. Барнабасу помощь нужна, а не подбадривания. Подумай сама, ведь там, наверху, инстанции во всем их неопределимом величии — я до того, как сюда пришел, считал, что имею о них приблизительное представление, какая детская наивность! — там, стало быть, инстанции, и против них выходит Барнабас — не кто иной, а именно он и, грустно сказать, — в одиночку; для него еще слишком много чести, что его не оставляют горбиться всю его жизнь забытым всеми в каком-нибудь темном углу канцелярии.

— Не думай, К., — сказала Ольга, — что мы недооцениваем всю тяжесть задачи, которую взял на себя Барнабас. В почтении перед инстанциями у нас ведь недостатка нет, ты сам это сказал.

— Да почтение-то у вас не к тому, к чему надо, — сказал К. — Неуместное почтение только унижает свой объект. Можно ли вообще называть это почтением, если Барнабас злоупотребляет дарованным ему допуском в то помещение, без дела проводя там целые дни, — или если он спускается сюда и подозревает и принижает тех, перед кем он только что дрожал, или если он от отчаяния или от усталости не сразу доставляет письма и не сразу выполняет доверенные ему поручения?

Это уж, пожалуй, и не почтение. Но упрек еще серьезнее, это упрек и тебе, Ольга, я не могу тебе этого не сказать. Ведь ты, хотя у тебя, как ты считаешь, достаточно почтения к инстанциям, послала Барнабаса, при его-то молодости, слабости и беспомощности, в Замок или, во всяком случае, не удержала его.

— В том, в чем ты меня упрекаешь, — сказала Ольга, — я и сама себя упрекаю, и уже давно. Не в том, конечно, меня надо упрекать, что я послала Барнабаса в Замок, я его не посылала, он сам пошел, но, наверное, я должна была всеми средствами: силой, хитростью, убеждением — удерживать его. Я должна была удержать его, но если бы сегодня был тот день, тот решающий день, и я бы так же, как тогда и сейчас, чувствовала беду Барнабаса, беду нашей семьи, и если бы Барнабас снова — ясно сознавая свою ответственность и опасность — с улыбкой мягко высвободился от меня, чтобы идти, — я бы и сегодня не удерживала его, несмотря на весь приобретенный за это время опыт; думаю, что и ты на моем месте не смог бы поступить иначе. Ты не знаешь нашей беды, поэтому ты несправедлив к нам, и прежде всего — к Барнабасу. Тогда у нас было больше надежды, чем сейчас, но и тогда

наша надежда была невелика, велика была только наша беда — такой она и осталась. Разве тебе Фрида ничего про нас не рассказывала?

— Только намеки, — сказал К., — ничего определенного, но одно ваше имя раздражает ее.

— И хозяйка тоже ничего не рассказывала?

— Нет, ничего.

— И вообще никто?

— Никто.

— Естественно, как бы они смогли что-то рассказать! Все что-то о нас знают: либо правду, насколько она доступна людям, либо, по крайней мере, какой-нибудь подхваченный или чаще всего ими самими выдуманный слух, и все думают про нас больше, чем нужно, но прямо рассказывать этого никто не станет, таких вещей касаться они брезгуют. И они правы. Об этом трудно говорить даже при тебе. К., ведь разве не может так случиться, что ты, когда выслушаешь это, уйдешь прочь и больше не захочешь нас знать, хотя тебя это вроде бы и не касается. Тогда мы потеряем тебя, а ведь ты для меня теперь — я признаюсь в этом — значишь едва ли не больше, чем вся прежняя замковая служба Барнабаса. И все-таки — это противоречие мучит меня сегодня весь вечер — ты должен это узнать, ведь иначе ты не

получишь представления о нашем положении, будешь по-прежнему несправедлив к Барнабасу (это было бы мне особенно больно), у нас не возникнет необходимого полного единства, и ты не сможешь ни нам помочь, ни нашу, совершенно особую помощь принять. Но остается еще один вопрос: хочешь ли ты вообще это знать?

— Почему ты об этом спрашиваешь? — удивился К. — Если это необходимо — я хочу это знать, но почему ты так спрашиваешь?

— Из суеверия, — ответила Ольга. — Ты ведь окажешься втянут в наши дела, безвинно, не более виновный, чем Барнабас.

— Давай рассказывай, — сказал К., — я не боюсь. К тому же ты своими бабьими страхами делаешь все хуже, чем есть на самом деле.

Тайна Амалии

— Суди сам, — начала Ольга, — впрочем, все это выглядит очень просто, не сразу и поймешь, как это может иметь какое-то большое значение. Есть в Замке один важный чиновник, которого зовут Сортини.

— Я о нем уже слышал, — вставил К. — Он был причастен к моему приглашению.

— Не думаю, — сказала Ольга, — Сортини почти

не участвует в делах общины. Ты не путаешь с Сордини — через «д»?

— Ты права, — сказал К., — тот был Сордини.

— Да, — продолжала Ольга, — Сордини очень известен, один из самых старательных чиновников, о нем много говорят; Сортини же, напротив, очень обособлен и большинству незнаком. Я видела его в первый и последний раз больше трех лет тому назад. Это было третьего июля на празднике союза пожарников; Замок тогда тоже участвовал и подарил новый пожарный насос. Сортини, который, видимо, занимался отчасти и делами пожарной охраны (а может быть, он просто замещал кого-то: чиновники, как правило, взаимно замещают друг друга, поэтому трудно определить компетенцию того или другого чиновника), принимал участие в передаче насоса; были, естественно, еще и другие из Замка: чиновники и прислуга, и Сортини, соответственно своему характеру, держался позади всех. Такой маленький, слабый, задумчивый господин; всем, кто его вообще заметил, бросилось в глаза, как у него лоб собирался в морщины: все морщины — а их было множество, хотя ему никак не больше сорока, — веером расходились от переносицы, я никогда ничего подобного не видела. Ну вот,

значит, был тот праздник. Мы с Амалией еще за несколько недель радовались ему, выходные платья немножко подновили, особенно платье Амалии было красиво: белый лиф, и спереди так высоко вспенивались кружева, один ряд над другим — мать одолжила для этого все свои кружева; я была тогда завистливая и проплакала перед праздником полночи. Только когда утром хозяйка предмостного трактира пришла посмотреть на нас…

— Хозяйка предмостного трактира? — спросил К.

— Да, — сказала Ольга, — она была с нами очень дружна; так вот, она пришла, вынуждена была признать, что Амалия смотрится лучше, и поэтому одолжила мне, чтобы меня успокоить, свое ожерелье из богемских гранатов. Но потом, когда мы были уже готовы к выходу, — Амалия стояла передо мной, и мы все ею восхищались, и отец сказал: «Сегодня, помяните мое слово, получит Амалия жениха», — тогда я, сама не знаю почему, сняла это ожерелье, мою гордость, и надела на Амалию, нисколько больше не завидуя. Я склонилась тогда перед ее победой, и мне казалось, все должны были перед ней склоняться; может быть, нас поразило, что она выглядела иначе, чем все-

гда, потому что красивой она ведь, в сущности, не была, но ее потемневший взгляд, который таким с тех пор и остался, был устремлен высоко поверх наших голов, и перед ней невольно почти и в самом деле склонялись. Это замечали все, и Лаземан с женой, которые за нами зашли, — тоже.

— Лаземан? — спросил К.

— Да, Лаземан, — сказала Ольга. — Нас ведь тогда очень уважали, и праздник, например, без нас, может быть, и не начали бы, отец же был третьим инструктором пожарной команды.

— Отец был еще таким бодрым? — спросил К.

— Отец? — переспросила Ольга, словно не вполне понимая. — Три года назад отец был еще сравнительно молодым человеком; он, например, во время пожара в господском трактире одного чиновника, этого грузного Галатера, рыцой вынес из дома на спине, я сама при этом была. Опасности пожара, правда, не было, просто сухие дрова возле одной печки начали дымиться, но Галатер испугался, позвал из окна на помощь, прибыла пожарная команда, и моему отцу пришлось его выносить, хотя огонь был уже потушен. Ну, Галатер человек малоподвижный и в таких случаях вынужден быть осторожным. Я рассказываю это только из-за отца; с тех пор прошло

немногим больше трех лет, а ты посмотри, как он там сидит.

Только теперь К. заметил, что Амалия уже снова в комнате, но она была далеко, возле стола родителей; она кормила мать, которая не могла двигать ревматическими руками, и одновременно уговаривала отца, чтобы он еще немного потерпел с едой, она сию минуту подойдет и накормит его. Но ее призывы успеха не имели, так как отец, которому очень не терпелось приступить к своему супу, преодолевая слабость, пытался то хлебнуть суп с ложки, то выпить прямо из тарелки и сердито ворчал, когда ни то ни другое ему не удавалось: ложка оказывалась пуста задолго до того, как доходила до рта, и всякий раз не губы, а только свисавшие густые усы окунались в суп, и он потом капал и летел брызгами во все стороны, только не ему в рот.

— И это с ним сделалось за три года? — спросил К., но ни старики, ни весь этот угол с их семейным столом все еще не вызывали в нем никакого сочувствия — только отвращение.

— За три года, — медленно произнесла Ольга, — а точнее, за несколько часов одного праздничного дня. Праздник устраивали на лугу за деревней у ручья; когда мы подошли, там была уже большая

толпа, много народу пришло и из соседних деревень, можно было совсем оглохнуть от шума. Сначала отец, естественно, повел нас к пожарному насосу, он засмеялся от радости, когда его увидел, новый насос был для него счастьем, он начал его ощупывать и нам объяснять, он не допускал никаких возражений или отговорок, если следовало что-то осмотреть под насосом, мы все должны были нагибаться и почти подлезать под насос; когда Барнабас отказался, он получил за это взбучку. Только Амалия не интересовалась насосом, стояла выпрямившись рядом в своем красивом платье, и никто не осмеливался ей что-нибудь сказать; я часто подбегала к ней и брала ее под руку, но она молчала. Я и сегодня не могу себе объяснить, как это получилось, что мы так долго стояли перед насосом, но только когда отец от него оторвался, заметили Сортини, который, очевидно, все это время стоял там, облокотившись на ручку насоса. Тогда, правда, был ужасный шум, не просто такой, как обычно бывает на празднике. Дело в том, что Замок подарил пожарной команде еще и несколько труб — такие особенные инструменты, из которых можно было ничтожнейшим напряжением сил, — это смог бы и ребенок — извлекать самые дикие

звуки, услышав их, можно было подумать, что уже пришли турки; к этим трубам невозможно было привыкнуть, каждый раз, когда в них дули, пробирала дрожь. И так как трубы были новые, всем хотелось попробовать, а так как это был все-таки народный праздник, то всем разрешали. Как раз вокруг нас (возможно, их привлекала Амалия) было несколько таких трубачей; тут трудно было вспомнить, где находишься, а когда к тому же еще надо было по требованию отца осматривать насос, то ни на что другое нас уже не хватало, поэтому и Сортини (которого мы ведь до того и вообще не знали) мы так необычно долго не замечали. «Там — Сортини», — прошептал наконец (я стояла рядом) Лаземан отцу. Отец низко поклонился и возбужденно сделал нам знак, чтобы и мы поклонились. Отец, до того времени с ним незнакомый, с давних пор уважал Сортини как специалиста в делах пожарный охраны и нередко говорил о нем дома, поэтому для нас это было тоже очень неожиданно и значительно — увидеть теперь Сортини наяву. Но Сортини не обращал на нас внимания — это не было какой-то отличительной чертой Сортини, большинство чиновников во время публичных церемоний выглядят безучастными, к тому же

он был утомлен и только служебный долг удерживал его здесь, внизу; многие, совсем не самые худшие чиновники воспринимают как раз такие обязанности представительства как особенно тягостные; другие чиновники и слуги, раз уж они все равно тут оказались, смешались с народом, но он оставался у насоса и всякого, кто пытался подойти к нему с какой-нибудь просьбой или лестью, он отпугивал своим молчанием. Поэтому получилось так, что он нас заметил еще позже, чем мы его. Только когда мы ему почтительно поклонились и отец попытался извиниться за нас, он посмотрел в нашу сторону — устало так посмотрел, переводя взгляд вдоль шеренги от одного к другому, и, казалось, вздыхал оттого, что рядом с одним каждый раз оказывается еще другой, — пока не остановился на Амалии, на которую ему пришлось смотреть снизу вверх, так как она была намного выше его. Тут он изумился и перепрыгнул через рычаг, чтобы оказаться ближе к Амалии; мы сперва этого не поняли и хотели все во главе с отцом к нему подойти, но он остановил нас, подняв руку, а затем кивнул, чтобы мы ушли. И это было все. Мы потом все дразнили Амалию, что она и в самом деле нашла жениха; по своей наивности мы весь тот вечер

были очень веселы, а Амалия — молчаливей, чем всегда. «Да она по уши втрескалась в Сортини», — сказал Брунсвик, который всегда был грубоват и таких натур, как Амалия, совсем не понимает, но тогда его слова показались нам почти правильными, мы в тот день вообще были глупые, и, когда за полночь пришли домой, все, кроме Амалии, от сладкого замкового вина были словно одуревшие.

— А Сортини? — спросил К.

— Да, Сортини, — сказала Ольга, — Сортини я во время праздника еще несколько раз видела, проходя мимо; он сидел на рычаге, скрестив руки на груди, и так и просидел, пока не прибыла карета из Замка, чтобы его забрать. Он не пошел даже на соревнования пожарной команды, на которых отец тогда — как раз надеясь, что Сортини смотрит, — отличился среди всех мужчин своего возраста.

— И больше вы о нем не слышали? — спросил К. — Да, ты, кажется, питаешь к Сортини большое уважение.

— Да, уважение, — сказала Ольга. — Да. И мы еще о нем услышали. На следующее утро нас разбудил от нашего хмельного сна крик Амалии; остальные сразу же снова рухнули в постели, а

я совершенно проснулась и подбежала к Амалии. Она стояла у окна и держала в руке письмо, которое какой-то человек подал ей через окно; человек еще ждал ответа. Письмо — оно было коротким — Амалия уже прочла и держала его в безжизненно повисшей руке; как я любила ее, даже когда она была такой усталой. Я опустилась около нее на колени и прочла письмо. Едва я кончила, Амалия, коротко взглянув на меня, снова поднесла письмо к глазам, но не решилась прочесть, порвала, бросила клочки в лицо человеку на улице и закрыла окно. Это и было то решающее утро. Я называю его решающим, но и каждое мгновение предыдущего вечера было таким же решающим.

— И что было в письме? — спросил. К.

— Да, я это еще не рассказала, — кивнула Ольга. — Письмо было от Сортини, адресовано оно было девушке с гранатовым ожерельем. Содержание его и не могу передать. Это было требование прийти к нему в господский трактир, причем Амалия должна была прийти немедленно, так как через полчаса Сортини надо было уезжать. Письмо было составлено в самых гадких выражениях, каких я еще никогда не слышала и только по общему смыслу наполовину угадала. Кто не

знал бы Амалию и прочел только это письмо, тот должен был бы девушку, которой кто-то посмел так написать, считать обесчещенной, даже если бы к ней никто и не прикасался. И это не было любовное письмо, ни одного ласкового слова не было в нем, напротив, Сортини явно злился, что образ Амалии захватил его, отвлек его от дел. Мы позднее объяснили себе это так, что Сортини, скорей всего, хотел сразу же вечером ехать в Замок, остался в деревне только из-за Амалии и утром, в ярости от того, что и за ночь ему не удалось забыть Амалию, написал письмо. Такое письмо поначалу должно было возмутить даже самую хладнокровную, но потом у какой-нибудь не такой, как Амалия, скорей всего, победил бы страх перед сердитым, угрожающим тоном письма, — у Амалии все остановилось на возмущении (она не знает страха ни за себя, ни за других). И потом, когда я уже снова залезла в постель и повторяла про себя последнюю оборванную фразу: «Так вот, чтоб сейчас же пришла — или…!», Амалия все сидела на подоконнике и смотрела в окно, словно ждала еще новых посыльных и была готова обойтись с каждым из них, как с первым.

— Вот такие, значит, эти чиновники, — проговорил К., помедлив, — такие среди них попадаются

экземпляры. Что сделал твой отец? Я надеюсь, он подал в соответствующую инстанцию основательную жалобу на Сортини — если не предпочел более надежный и короткий путь в господский трактир. Самое омерзительное во всей этой истории ведь не оскорбление Амалии, это легко можно было поправить, я не знаю, почему ты придаешь такое чрезмерно большое значение именно этому; почему подобным письмом Сортини должен был навсегда скомпрометировать Амалию? — по твоему рассказу вроде бы получается так, но как раз такого быть и не может: Амалии легко можно было устроить какое-то удовлетворение, и через пару дней инцидент был бы забыт; не Амалию Сортини скомпрометировал, а самого себя. Меня главным образом ужасает Сортини, ужасает сама возможность подобных злоупотреблений властью. То, что не удалось в этом случае, потому что было совершенно прозрачно, коротко и ясно высказано, и потому что Амалия оказалась слишком сильным противником, могло бы в тысяче других случаев при чуть более неблагоприятных обстоятельствах полностью удаться и могло бы пройти для всех незамеченным, в том числе и для жертвы.

— Тише, — сказала Ольга, — Амалия сюда смот-

рит.

Амалия закончила кормление родителей и теперь, собираясь раздевать мать, развязывала на ней юбку; затем она положила руки матери себе на плечи, приподняла ее немного и, стащив юбку, осторожно усадила обратно. Отец, постоянно недовольный тем, что сначала обслуживают мать (это, очевидно, происходило только потому, что мать была еще более беспомощна, чем он), попытался — возможно, чтобы наказать дочь за ее мнимую медлительность, — раздеться сам, но хотя он начал с самого ненужного и легкого, с непомерно больших тапок, в которых его ноги только ерзали как палки, ему все же никаким способом не удавалось их скинуть, вскоре он вынужден был это оставить и с хриплым сипением снова откинулся на спинку своего стула.

— Главного ты не понял, — сказала Ольга. — Пусть ты во всем даже прав, но главным было то, что Амалия не пошла в господский трактир; как она поступила с посыльным, это само по себе еще могло обойтись, это можно было замять, но она не пошла — и проклятие нашей семье было произнесено, а тогда, конечно, и обращение с посыльным стало чем-то непростительным, — да, для общественного мнения это было даже выдви-

нуто на первый план.

— Как! — крикнул К., но тут же приглушил голос, так как Ольга умоляюще подняла руки. — Не хочешь же ты, ее сестра, сказать, что Амалия должна была подчиниться Сортини и бежать в господский трактир?

— Нет, — ответила Ольга, — сохрани меня бог — такое подозрение, как ты можешь так думать? Я никого не знаю, кто был бы так безупречно прав, как Амалия, во всем, что она делает. Если бы она пошла в господский трактир, я, разумеется, точно так же сказала бы, что она права, но то, что она не пошла, это был героизм. Что касается меня, я откровенно тебе признаюсь: если бы я получила такое письмо, я бы пошла. Я не вынесла бы страха перед будущим, на такое способна только Амалия. А так легко было придумать какую-нибудь уловку, например, другая на ее месте постаралась бы покрасивее нарядиться и на это ушло бы время, и потом она бы пришла в господский трактир и узнала бы, что Сортини уже нет, может быть, — что он уехал сразу же после того, как отправил посыльного, такое даже очень вероятно, так как настроения господ переменчивы. Но Амалия ничего подобного не сделала, она была слишком глубоко оскорблена и ответила бесповоротно.

Если б она хоть как-нибудь для виду подчинилась, если б только переступила вовремя порог господского трактора — и гибели можно было бы избежать; у нас здесь есть очень умные адвокаты, которые совершенно из ничего могут сделать все, что только захочешь, но в этом случае не только не было даже такого благоприятного «ничего», а напротив, было еще унижение достоинства сортиниевского письма и оскорбление посыльного.

— Да какая там гибель, — сказал К., — какие адвокаты, нельзя же было из-за преступного образа действий Сортини обвинять или тем более наказывать Амалию?

— Представь себе, — возразила Ольга, — можно было; правда, не так, как положено, не судебным процессом — да ее ведь и не наказали непосредственно, — но наказали по-другому, ее и всю нашу семью, и как тяжело это наказание, ты, наверное, начинаешь понимать. Тебе это кажется несправедливым и чудовищным; на этот счет в деревне только у тебя такое мнение, оно очень для нас благоприятное и должно было бы нас утешать — и утешало бы, если бы не проистекало из явных ошибок. Я легко могу тебе это доказать; прости, если я при этом буду говорить о Фриде, но между ней и Кламмом произошло — не говоря о

том, во что это в конце концов вылилось, — нечто совершенно подобное тому, что было между Амалией и Сортини, и тем не менее ты, даже если поначалу ты, возможно, и испугался, теперь уже считаешь это нормальным. И это не привыкание, от привыкания так отупеть нельзя, ведь речь идет о простой оценке — это только следствие ошибок.

— Нет, Ольга, — запротестовал К., — я не понимаю, зачем ты впутываешь сюда Фриду, ведь это совершенно другой случай; не вали ты в одну кучу такие принципиально разные вещи и рассказывай дальше.

— Пожалуйста, — попросила Ольга, — не обижайся на меня, если я буду настаивать на этом сравнении, это — последняя из ошибок, и в отношении Фриды тоже, если ты считаешь, что должен защищать ее от сравнений. Ее совсем не нужно защищать — только хвалить. Если я и сравниваю эти случаи, то я ведь не говорю, что они одинаковые, они в отношении друг к другу — белое и черное, и белое — Фрида. В худшем случае над Фридой можно посмеяться, как это невежливо сделала я в пивной, — потом я очень об этом сожалела, — и даже если того, кто смеется, считать злобным или завистливым, все-таки

здесь можно смеяться. Амалию же, если не связан с ней кровным родством, можно только презирать. Поэтому хотя эти случаи и принципиально, как ты говоришь, различные, но все-таки — и похожие.

— Они и не похожи, — сказал К. и раздраженно мотнул головой, — оставь ты Фриду в покое, Фрида таких милых писем, как Амалия от Сортини, не получала, и Фрида Кламма действительно любила, а кто в этом сомневается, может спросить у нее, она и сейчас еще его любит.

— Разве тут такая большая разница? — спросила Ольга. — Ты думаешь, Кламм не мог бы такое же написать Фриде? Когда господа выходят из-за письменного стола, они — такие, они не могут разобраться в житейских делах и тогда по рассеянности говорят самые ужасные грубости — не все, но многие. Ведь это письмо к Амалии могло быть набросано в задумчивости, при полном невнимании к тому, что в действительности пишется. Откуда нам знать, что думают господа! Разве ты не слышал сам или по рассказам, в каком тоне Кламм разговаривал с Фридой? О Кламме известно, что он очень груб; он, говорят, часами не разговаривает, а потом вдруг скажет такую грубость, что дрожь пробирает. О Сортини

это не известно, он ведь и вообще очень мало известен. Про него, собственно, знают только то, что его фамилия похожа на фамилию Сордини; если бы не это сходство фамилий, его бы, наверное, совсем не знали. И как специалиста по пожарной охране его, наверное, тоже путают с Сордини, который действительно специалист и пользуется сходством фамилий, чтобы как раз эти обязанности представительства в первую очередь сваливать на Сортини и таким образом без помех продолжать заниматься своей работой. Ну и когда вот такого неприспособленного к жизни человека, как Сортини, вдруг охватывает любовь к деревенской девушке, то, естественно, это принимает другие формы, чем если бы влюбился соседский подмастерье столяра. Потом не нужно ведь забывать, что между чиновником и дочерью сапожника все-таки большое расстояние, которое как-то надо преодолеть; Сортини попытался это сделать таким способом, другой мог бы сделать по-другому. Хотя говорится, что все мы принадлежим к Замку и никакого расстояния вообще нет и нечего преодолевать, и, может быть, в общем так оно и есть, но мы, к сожалению, имели возможность убедиться, что как раз, когда доходит до дела, это совсем не так. Во всяком

случае, теперь образ действий Сортини стал для тебя более понятным и не таким чудовищным; в сравнении с Кламмовым, он действительно намного понятнее и, даже если это совсем близко тебя касается, — намного переносимее. Когда Кламм пишет нежное письмо, это больнее, чем самое грубое письмо Сортини. Но пойми меня правильно, я не смею судить о Кламме, я только сравниваю, в то время как ты от этого сравнения защищаешься. Кламм же — как комендант над женщинами — приказывает то одной, то другой прийти к нему, ни одну долго не терпит и как приказывает прийти, так приказывает и уйти. Ах, Кламм даже не потрудился бы написать сначала письмо. И в сравнении с этим, разве уж так чудовищно, когда живущий совершенно уединенно Сортини, чьи связи с женщинами по меньшей мере неизвестны, однажды садится за стол и своим красивым почерком чиновника пишет — разумеется, омерзительное — письмо. И если здесь, таким образом, не только не оказывается никакой разницы в пользу Кламма, а даже наоборот, то разве ее создает любовь Фриды? Отношения женщин с чиновниками, поверь мне, очень нелегкие, или, вернее, о них всегда очень легко судить. Без любви здесь никогда не обходит-

ся. Несчастной любви у чиновников не бывает. В этом смысле когда о какой-то девушке говорят — я имею в виду вовсе не только Фриду, — будто она только потому отдалась чиновнику, что любила его, то это не похвала. Она любила его и отдалась ему — так это было, и хвалить тут не за что. Но Амалия не любила Сортини, возразишь ты. Ну да, она его не любила, но, может быть, она его все же и любила — кто это может знать? Даже она сама не может. Как она может считать, что она его не любила, когда она его так круто отвергла, как, наверное, еще никогда ни одного чиновника не отвергали? Барнабас говорит, что она еще и теперь иногда вздрагивает от того движения, которым три года назад захлопнула окно. И это правда, и поэтому ее спрашивать нельзя; она покончила с Сортини, и это все, что она знает, а любит ли она его или нет — она не знает. Но мы знаем, что женщинам ничего не остается, как только любить чиновников, если те когда-либо бросят на них взгляд, — да они любят чиновников уже заранее, как бы они ни пытались это отрицать, — а Сортини ведь не только бросил на Амалию взгляд, а даже через рычаг перепрыгнул, когда Амалию увидел; своими окостеневшими от сидения за письменным столом ногами — через

рычаг перепрыгнул. Но Амалия ведь исключение, скажешь ты. Да, она — исключение, она это доказала своим отказом идти к Сортини, это достаточно исключительно; а что она якобы к тому же и не любила Сортини — это уж было бы почти что слишком большим исключением, этого уже вообще нельзя было бы понять. Да, конечно, в тот вечер на нас куриная слепота напала, но то, что сквозь весь наш тогдашний туман мы все же какую-то влюбленность в Амалии, кажется, заметили, свидетельствует, наверное, о каком-то остатке сознания. И если теперь все это сопоставить, то какое останется тогда различие между Фридой и Амалией? Единственное — что Фрида сделала то, что Амалия сделать отказалась.

— Возможно, — сказал К., — но для меня главное различие в том, что Фрида — моя невеста, а Амалия меня волнует, в сущности, лишь постольку, поскольку она сестра Барнабаса, замкового посыльного, и ее судьба, возможно, переплетается со службой Барнабаса. Если бы какой-то чиновник поступил с ней так вопиюще несправедливо, как мне вначале из твоего рассказа показалось, меня бы это сильно заинтересовало, но и то скорее как общественное явление, чем как личное несчастье Амалии. Но теперь твой рассказ

меняет для меня всю картину каким-то хотя и не вполне понятным, но, поскольку это рассказываешь ты, каким-то достаточно правдоподобным образом, и поэтому я бы с удовольствием вообще об этой истории больше не вспоминал; я не пожарный, какое мне дело до Сортини. Но мне очень есть дело до Фриды, и поэтому мне странно, как ты, которой я совершенно доверяю, и хочу, и рад буду доверять всегда, все время стараешься в обход через Амалию задеть Фриду и вызвать у меня подозрения. Я не думаю, что ты делаешь это с умыслом или тем более со злым умыслом, ведь иначе мне давно уже пришлось бы уйти. Ты делаешь это не с умыслом, просто обстоятельства толкают тебя на это, из любви к Амалии тебе хочется превознести ее выше всех женщин, а поскольку ты не находишь достаточно похвального в самой Амалии, то для компенсации принижаешь других женщин. Поступок Амалии примечателен, но чем больше ты о нем рассказываешь, тем становится труднее решить, серьезный он или мелкий, умный или глупый, героический или трусливый, а побудительные мотивы поступка Амалия похоронила в своей груди и никто их у нее не вырвет. Напротив, Фрида решительно ничего примечательного не

совершала, а следовала только своему сердцу; это ясно каждому, кто занимается всем этим добросовестно, это каждый может заново проверить, для сплетен тут почвы нет. Но я не собираюсь ни развенчивать Амалию, ни защищать Фриду, — а только хочу разъяснить тебе, как я отношусь к Фриде и почему всякое покушение на Фриду есть покушение на мое существование. Я по собственной воле сюда пришел и по собственной воле здесь зацепился, но за все, что с тех пор произошло и прежде всего за мои виды на будущее (как бы они ни были мрачны, но они все-таки есть), — за все это я должен благодарить только Фриду, тут и обсуждать нечего. Хоть я, правда, и был принят здесь в качестве землемера, но это была одна лишь видимость, мной играли, меня выгоняли из всех домов, — мной и сегодня еще играют, но насколько церемоннее стала игра! — я в некотором смысле выиграл в пространстве, а это уже что-то значит; у меня, как бы ни было все это ничтожно, все-таки уже есть какой-то дом, какая-то должность и реальная работа, у меня есть невеста, которая, когда я занят другими делами, берет на себя мои служебные обязанности, я женюсь на ней и стану членом общины, у меня есть, кроме официальной, еще и некая личная

связь с Кламмом — пока, правда, не удавалось ее использовать. Это, наверное, все-таки немало? И когда я прихожу к вам — кого вы приветствуете? Кому ты доверяешь историю вашей семьи? С кем ты связываешь надежду на возможность, пусть даже самую ничтожную, невероятную возможность какой-то помощи? Ведь, наверное, не со мной, землемером, которого, например, неделю назад Лаземан с Брунсвиком выперли из своего дома, — нет, ты связываешь ее с человеком, который уже имеет какие-то возможности, но за эти возможности я должен благодарить Фриду, — Фриду, которая скромна настолько, что, если ты попробуешь ее о чем-нибудь таком спросить, она наверняка скажет, что вообще об этом ничего не знает. И все-таки, судя по всему, похоже, что Фрида в своей невинности совершила больше, чем Амалия со всем ее высокомерием, потому что у меня, видишь ли, такое впечатление, что ты ищешь помощи для Амалии. И у кого? Ведь, в сущности, ни у кого другого, как у Фриды?

— Разве я действительно так скверно говорила о Фриде? — спросила Ольга. — Я этого, конечно, не хотела и думаю, что ничего такого и не сказала, но вообще-то могла, — наше положение таково, что мы злы на весь свет и уж если начинаем

жаловаться, нас заносит мы сами не знаем куда. И ты прав, между нами и Фридой теперь большая разница, и полезно иногда ее подчеркнуть. Три года назад мы были барышнями, а сирота Фрида — служанкой в предмостном трактире, мы проходили мимо, не удостаивая ее взглядом, мы были, конечно, слишком высокомерны, но нас так воспитали. А как обстоит дело теперь, ты мог понять в тот вечер в господском трактире: Фрида с кнутом в руках и я в толпе слуг. Но все даже еще хуже. Пусть нас презирает Фрида, это соответствует ее положению, ее вынуждают существующие отношения. Но кто только нас не презирает, боже мой! Ведь тот, кто решает нас презирать, сразу же попадает в подавляющее большинство. Ты знаешь преемницу Фриды? Ее Пепи зовут. Я только позавчера вечером с ней познакомилась, до этого она была горничной. В презрении ко мне она уж точно превосходит Фриду. Увидела в окно, что я иду за пивом, подбежала к двери и заперла ее; мне пришлось долго просить и пообещать ей ленту, которая у меня была в волосах, прежде чем она мне открыла. Но когда я потом дала ей ленту, она швырнула ее в угол. Ну пусть она меня презирает, ведь она — служанка в пивной в господском трактире, и отчасти я от-

дана ей на милость; правда, это ненадолго, у нее определенно нет качеств, которые нужны, чтобы ее долго там держали. Стоит только послушать, как хозяин разговаривает с Пепи, и сравнить с тем, как он разговаривал с Фридой. Но это не мешает Пепи презирать даже Амалию, — Амалию, одного взгляда которой хватило бы, чтобы эта коротышка Пепи со всеми своими косами и бантами так быстро вылетела из комнаты, как она никогда бы не смогла сама со своими толстенькими ножками. Какой возмутительный вздор она вчера болтала об Амалии, и я должна была снова это слушать, пока посетители наконец не занялись мной — таким, правда, способом, как ты уже один раз видел.

— Как ты запугана, — сказал К., — я же не вас хотел унизить — ты не так меня поняла, — я только Фриду поставил на подобающее ей место. Я не скрываю, что-то особенное есть в вашей семье и для меня тоже, но как эта особенность может быть поводом для презрения, этого я не понимаю.

— Ах, К., — вздохнула Ольга, — боюсь, что и ты тоже это поймешь; первым поводом для презрения было то, как вела себя Амалия в отношении к Сортини, — этого ты совсем никак не можешь

понять?

— Это было бы уж слишком странно, — ответил К., — восхищаться Амалией или осуждать ее за это можно было, но презирать? И если в силу непонятного мне чувства Амалию в самом деле презирают — почему это презрение распространяется на вас, на невинную семью? Что, например, Пепи тебя презирает, это уже просто наглость, и если я как-нибудь опять приду в господский трактир, я ей это вспомню.

— Если ты собираешься, К., — сказала Ольга, — переубедить всех, кто нас презирает, то это будет тяжелая работа, потому что все идет от Замка. Я, как сейчас, помню все, что потом было в то утро. Пришел, как приходил каждый день, Брунсвик, — он тогда был наш подмастерье, — отец дал ему работу и отослал домой, потом мы сидели за завтраком; все, за исключением Амалии и меня, были очень оживлены, отец все рассказывал о празднике, у него были различные планы относительно пожарной команды; дело в том, что в Замке есть своя пожарная команда, которая на праздник тоже прислала делегацию, с ними многое обсуждалось, присутствовавшие господа из Замка познакомились с подготовкой нашей пожарной команды, очень положительно о ней

отозвались, сравнили ее с подготовкой замковой пожарной команды, результат был в нашу пользу, было сказано о необходимости реорганизации замковой пожарной команды, для этого требовались инструкторы из деревни, и, хотя кандидатур было несколько, отец все же надеялся, что выбор падет на него. Об этом он тогда и говорил; по своей привычке вольготно располагаться за столом, он сидел тут, обхватив руками полстола, и, когда через раскрытое окно он смотрел вверх на небо, его лицо было так молодо и так светилось надеждой — никогда больше мне не суждено было увидеть его таким. И тогда Амалия сказала — с таким превосходством, какого мы за ней прежде не замечали, — что этим господским разговорам не следует очень доверять, в подобных случаях господам приятно бывает сказать что-нибудь любезное, но стоит это немного или вообще ничего, не успеют тебе что-то сказать, как это уже навсегда забыто, правда, в следующий раз снова попадаешься на их удочку. Мать сделала ей выговор за такие слова, отец же только посмеялся ее мудрости и многоопытности, но вдруг осекся, начал словно бы искать что-то, потерю чего он только теперь заметил, но ничто не терялось, и он тогда сказал, что Брунсвик рассказывал о каком-

то посыльном и каком-то разорванном письме, и он спрашивает, знаем ли мы что-нибудь об этом, о ком тут речь и в чем тут вообще дело. Мы молчали, Барнабас, тогда еще маленький, совсем ягненок, сказал что-то особенно глупое или дерзкое, заговорили о другом, и все дело забылось.

Наказание Амалии

Но вскоре нас уже со всех сторон засыпали вопросами об этой истории с письмом; приходили друзья и враги, знакомые и посторонние, но оставались недолго, и самые лучшие друзья уходили поспешней всех. Лаземан, всегда такой медлительный и достойный, зашел так, словно хотел только проверить размеры комнаты, один взгляд по сторонам — и его уже нет (это было похоже на какую-то страшную детскую игру: Лаземан убегает, а отец высвобождается от других людей, бежит за ним до самой двери и застывает на пороге); пришел Брунсвик и взял у отца расчет, он совершенно честно сказал, что хочет теперь работать самостоятельно, — умная голова, умеет использовать момент; приходили заказчики и выискивали в кладовой свои сапоги, отданные отцу для починки, отец сначала пытался переубедить заказчиков, и мы все поддерживали его

по мере наших сил, — потом он оставил это и молча помогал людям искать; в книге заказов вычеркивалась строчка за строчкой, запасы кожи, которые люди держали у нас, забирались, долги выплачивались, все шло без малейших споров, люди были довольны, когда удавалось быстро разорвать с нами все связи, и если при этом даже терпели убытки, на это не смотрели. И наконец, как и следовало ожидать, появился Зееман, старшина пожарной команды, я как сейчас вижу эту сцену: Зееман, высокий и сильный, но немного сутулый и с больными легкими, всегда серьезный (он вообще не умел смеяться), стоит перед моим отцом, которым он восхищался, которому он в часы откровенности намекал на возможность получения в будущем места одного из заместителей старшины и которому теперь должен сообщить, что союз с ним расстается и предлагает возвратить диплом. Люди — как раз в это время у нас были люди — оставляют свои дела и толпятся вокруг них двоих. Зееман ничего не может сказать, только все время встряхивает отца за плечи так, словно хочет вытрясти из отца те слова, которые должен сказать сам, но не может найти. При этом он все время смеется, желая, вероятно, немного успокоить этим себя и всех, а так как смеяться он

не умеет и никто еще никогда не слышал, чтобы он смеялся, то никому не приходит в голову, что это смех. Но отец за день уже слишком устал и отчаялся для того, чтобы кому-то помогать, он, кажется, слишком устал даже для того, чтобы вообще сообразить, о чем идет речь. Да и мы все были в таком же отчаянии, но так как мы были молоды, мы не могли поверить в такое полное крушение, нам все казалось, что в длинной веренице посетителей появится наконец кто-то, кто прикажет, чтобы все это остановилось и пошло обратно. По нашей наивности Зееман казался нам для этого особенно подходящим человеком. Мы с нетерпением ждали, что из его непрерывного смеха вырвется наконец ясное слово. Над чем же тут было смеяться? Только над глупой несправедливостью, которая с нами произошла. «Господин старшина, господин старшина, скажите же вы наконец этим людям», — думали мы и теснились к нему, но это только заставляло его как-то странно повертываться. Наконец он все-таки заговорил — правда, не для того, чтобы исполнить наше тайное желание, а в ответ на подбадривающие или раздраженные возгласы людей. Мы все еще надеялись. Он начал с больших похвал отцу. Назвал его гордостью союза,

недостижимым образцом для подрастающего поколения, незаменимым членом, чей уход должен был чуть ли не развалить союз. Все это было очень хорошо, если бы только он на этом остановился! Но он говорил дальше. Если же теперь тем не менее союз решил предложить отцу — разумеется, только временно — расстаться, то надо понять серьезность причин, которые союз к этому вынудили. Может быть, все и не зашло бы так далеко, если бы не блестящие успехи отца на вчерашнем празднике, но именно эти успехи привлекли особенно пристальное внимание; союз теперь весь на виду и должен заботиться о своей чистоте еще больше, чем раньше. И после того как случилось это оскорбление посыльного, союз не нашел никакого иного выхода, и он, Зееман, взял на себя тяжелую обязанность это сообщить. Отец не должен утяжелять ему ее еще больше. Как рад был Зееман, что сумел это произнести, он был так в этом уверен, что уже не был и чрезмерно почтителен; он показал на диплом, который висел на стене, и поманил пальцем. Отец кивнул и пошел за дипломом, но дрожащими руками никак не мог снять его с крюка; я встала на стул и помогла ему. И с этого момента все было кончено; отец даже не вынул диплом из рамки,

а отдал Зееману целиком, как было. После этого он сел в углу, больше уже не двигался и ни с кем не говорил, нам пришлось самим объясняться с людьми, как умели.

— И в чем ты здесь видишь влияние Замка? — спросил К. — Пока он, кажется, еще не вмешивался. В том, что ты рассказала, видны только бессмысленная людская пугливость, радость при несчастье ближнего, ненадежная дружба — вещи, которые встречаешь повсюду, а у твоего отца, впрочем, еще и — так мне по крайней мере кажется — некоторая мелочность, ведь что такое этот диплом? Подтверждение его способностей, а они ведь при нем остались; если они делают его незаменимым — тем лучше, и он мог действительно затруднить старшине все дело, только если бы он сразу, после первого же слова швырнул ему этот диплом под ноги. Но особенно показательным мне кажется то, что Амалию ты даже не упоминаешь; Амалия, которая во всем и была виновата, наверное, стояла себе спокойненько в стороне и наблюдала за опустошением.

— Нет, — сказала Ольга, — тут никого нельзя упрекать, никто не мог поступить иначе, все это уже было влияние Замка.

— Влияние Замка, — повторила Амалия, кото-

рая незаметно вошла со двора: родители давно были в постели, — замковые истории рассказываем? Все еще сидите вдвоем? Но ты же собирался сразу уйти, К., а теперь уже десятый час. Разве тебя волнуют такие истории? Вообще-то здесь есть люди, которые такими историями питаются, они усаживаются рядышком, вот как вы сейчас, и наперебой угощают ими друг друга, но мне казалось, что ты к таким людям не относишься.

— Напротив, — возразил К., — как раз к ним я и отношусь, а вот люди, которых такие истории не волнуют и которые только других заставляют волноваться, на меня большого впечатления не производят.

— Ну да, — сказала Амалия, — но ведь интересы у людей очень разные, я как-то слышала об одном молодом человеке, у которого голова была день и ночь занята мыслями о Замке, обо всем остальном он забывал, опасались даже за его душевное здоровье, так как вся его душа была наверху, в Замке. Но в конце концов выяснилось, что на самом деле ему был нужен не Замок, а только дочь одной судомойки в канцеляриях, которую он, разумеется, и получил, и тогда снова все стало хорошо.

— Этот человек, я думаю, мне бы понравился, —

заметил К.

— Сомневаюсь, чтобы он тебе понравился, — сказала Амалия, — вот разве что его жена. Ну, не буду вам мешать: я, впрочем, иду спать и должна буду потушить свет — из-за родителей: хотя они засыпают сразу и крепко, но через какой-нибудь час настоящий сон уже кончается, и тогда им мешает даже самый слабый свет. Спокойной ночи.

И действительно, сразу стало темно; Амалия, видимо, постелила себе где-то на полу возле кровати родителей.

— Что это за молодой человек, о котором она говорила? — спросил К.

— Не знаю, — ответила Ольга. — Может быть, Брунсвик, хотя это к нему не совсем подходит, но может быть — и кто-то другой. Понять ее довольно трудно, потому что часто не знаешь, серьезно она говорит или с иронией. Большей частью-то это серьезно, но звучит как ирония.

— Да брось ты эти толкования! — разозлился К. — Как ты вообще попала в такую большую зависимость от нее? Так было еще до вашего великого несчастья? Или только после него? Неужели тебе никогда не хотелось стать от нее независимой? И разве есть для этой зависимости какие-нибудь разумные основания? Она самая

младшая и как младшая должна подчиняться. Виновата или не виновата, но она навлекла на семью несчастье. И вместо того чтобы каждый день у каждого из вас снова и снова просить за это прощения, она ходит задрав нос, не беспокоится ни о ком, кроме родителей, да и то самую малость, словно из милости, не желает, как она выражается, ни во что быть посвящена, и если уж она с вами когда-то разговаривает, то большей частью это серьезно, но звучит как ирония. Или, может быть, она царит благодаря своей красоте, которую ты тут несколько раз поминала? Ну вы все трое очень похожи друг на друга, а то, чем она от вас двоих отличается, — отнюдь не в ее пользу, еще когда я ее в первый раз увидел, меня оттолкнул ее тупой, равнодушный взгляд. И потом, хоть она самая младшая, но по ней этого никак не скажешь, у нее внешность женщины без возраста, такие едва ли старятся, но и едва ли бывают по-настоящему молодыми. Ты видишь ее каждый день, ты даже не замечаешь, какое у нее жестокое лицо. Поэтому и склонность Сортини, когда я о ней размышляю, я не могу даже принять особенно всерьез; может быть, этим письмом он хотел ее только наказать, а не позвать.

— О Сортини я не хочу говорить, — сказала

Ольга. — У господ в Замке все возможно, будь это самая красивая девушка или самая уродливая. Но в остальном ты насчет Амалии совершенно заблуждаешься. Посуди сам, у меня ведь нет никаких особых причин склонять тебя в пользу Амалии, и если я все-таки пытаюсь это сделать, то я делаю это только ради тебя. Амалия в некотором смысле была причиной нашего несчастья, это, конечно, так, но даже отец, которого несчастье затронуло ведь сильнее всех и который никогда особенно не сдерживал себя в выражениях, а дома — тем более, — даже отец и в самые худшие времена не упрекнул Амалию ни единым словом. И совсем не потому, что одобрял действия Амалии; как мог он, почитатель Сортини, их одобрить, ни вот настолечко не мог он этого понять; и себя, и все, что он имел, он наверняка с радостью принес бы в жертву Сортини, но, конечно, не так, как это в действительности случилось: ведь Сортини, по-видимому, разгневался. По-видимому, так как ничего большее о Сортини мы не узнали; если до того он жил обособленно, то с тех пор его как будто совсем не стало. И если бы ты видел Амалию в то время. Мы все знали, что никакого явного наказания не будет. От нас только отстранились — и здешние жители, и Замок. Но если

отстранение жителей было, разумеется, заметно, то со стороны Замка совсем ничего нельзя было заметить. Мы и раньше-то никакого попечения Замка не замечали — как мы могли заметить теперь какую-то перемену? Эта тишина была хуже всего. Вовсе не отстранение жителей: они ведь это сделали не по убеждению и, возможно, вообще ничего серьезного против нас не имели (теперешнего презрения тоже совсем еще не было), они это сделали только из страха и теперь ждали, что из всего этого выйдет. И нужды нам тоже еще не приходилось бояться, все должники с нами расплатились, итог был в нашу пользу, с продуктами, которых у нас не было, нас тайком выручали родственники, это было нетрудно, было ведь время сбора урожая; правда, у нас не было земли, и нас нигде не брали работать; впервые в жизни мы были почти что приговорены к безделью. И вот мы сидели все вместе, за закрытыми окнами в июльскую и августовскую жару, и ничего не случалось. Не было ни повесток, ни новостей, ни известий, ни гостей — ничего.

— Ну, — сказал К., — раз ничего не случалось и никакого явного наказания ожидать тоже не приходилось, так чего вы боялись? Странные вы все-таки люди!

— Как тебе это объяснить? — проговорила Ольга. — Мы не боялись ничего в будущем, мы страдали уже от настоящего, мы были в кольце наказания. Люди в деревне ведь только и ждали, чтобы мы к ним пришли, чтобы отец снова открыл свою мастерскую, чтобы Амалия, которая умела шить очень красивые платья (разумеется, только для самых изысканных), снова стала выполнять заказы, ведь люди жалели о том, что они сделали: когда какая-нибудь уважаемая в деревне семья вдруг исключается из жизни общины, каждый терпит от этого какой-то ущерб; отрекаясь от нас, они верили, что выполняют свой долг, и мы тоже на их месте поступили бы так же. Они ведь толком и не знали, в чем вообще дело, — знали только, что посыльный возвратился в господский трактир с клочками бумаги в руке. Фрида видела, как он выходил и как вернулся, перемолвилась с ним несколькими словами и, что узнала, сразу же всем сообщила, но опять-таки совсем не из враждебности к нам, а просто из чувства долга — как это было бы долгом всякого другого в подобном случае. Так что людям, как я уже сказала, счастливое разрешение этого дела было бы приятнее всего. Если бы в один прекрасный день мы вдруг появились с известием, что все уже в

порядке и что это было, к примеру, лишь какое-то уже полностью разъяснившееся недоразумение, или — что хоть и был проступок, но он уже заглажен делом, или — даже этого людям было бы достаточно — что нам через наши связи в Замке удалось прекратить это дело, нас несомненно снова приняли бы с распростертыми объятиями, были бы поцелуи, поздравления, празднования, я несколько раз видела такое у других. Но и в таком известии не было необходимости; если бы мы только вышли на волю и сами вызвались восстановить старые связи, даже ни единым словом не упомянув об истории с письмом, — уже этого было бы достаточно, все с радостью отказались бы от обсуждения такого дела; ведь, помимо страха, от нас отделились прежде всего из-за его неблаговидности: просто чтобы ничего не слышать об этом деле, чтобы не говорить, не думать о нем, чтобы никоим образом не оказаться к нему причастными. Если Фрида и предала это дело огласке, то сделала это совсем не для того, чтобы позлорадствовать, а для того, чтобы себя и всех от него оградить, чтобы привлечь внимание общины к тому, что тут произошло что-то такое, от чего надо старательнейшим образом держаться подальше. Здесь в расчет принимались не

мы как семья, а только само дело, а мы — уже только в связи с делом, в которое впутались. Так что если бы мы попросту снова вышли на люди, оставили прошлое в покое, показали бы своим поведением, что мы все преодолели, неважно как, — и общественность таким образом приобрела бы уверенность, что это дело, каково бы оно ни было, больше обсуждаться не будет, — то уже все было бы хорошо, повсюду мы встретили бы прежнюю готовность помочь, и даже если бы мы это дело не вполне забыли, люди бы нас поняли и помогли нам забыть его совсем. Но вместо этого мы сидели дома. Я не знаю, чего мы ждали, — решения Амалии, наверное; в то утро она взяла бразды правления в свои руки и крепко удерживала их. Ничего специально для этого не делая, без приказов, без просьб, почти одним только молчанием. Правда, нам, остальным, нужно было многое обсуждать, беспрерывное перешептывание продолжалось с утра до вечера, и, бывало, отец, вдруг забеспокоившись, звал меня к себе, и я проводила у его кровати полночи. Или, бывало, мы усаживались на корточках, я и Барнабас (который ведь поначалу очень мало что во всем этом понимал и, страшно горячась, требовал разъяснений, все время одних и тех же;

он, видимо, чувствовал, что беззаботной жизни, которая ждет в его возрасте других, у него уже не будет), и сидели вдвоем — совсем так же, К., как мы сейчас, — и не замечали, как наступала ночь — и новое утро. Мать была самой слабой из нас, вероятно, потому, что она переживала не только общее наше несчастье, но еще и каждое несчастье в отдельности, и вот мы с ужасом стали замечать в ней перемены, которые, как мы догадывались, ожидали всю нашу семью. Ее любимое место было в углу дивана (у нас давно уже его нет, он стоит в большой комнате Брунсвика), там она сидела и то ли дремала, то ли — точно нельзя было понять, но, судя по шевелившимся губам, можно было так думать — вела сама с собой долгие разговоры. Это же было так естественно, что мы все время обсуждали историю с письмом, обсуждали вдоль и поперек, во всех несомненных подробностях и во всех сомнительных возможностях, и что мы все время превосходили самих себя в выдумывании способов хорошего решения, — это было естественно и неизбежно, но нехорошо, ведь тем самым мы все глубже и глубже погружались в то, от чего хотели уйти. Да и что было пользы от этих пусть даже отличных идей: ни одну из них нельзя было осуществить без Амалии, все

это были только предварительные обсуждения, бессмысленные из-за того, что результаты их не доходили до Амалии, но если бы они и дошли до нее, то не встретили бы ничего, кроме молчания. Ну сегодня я, к счастью, понимаю Амалию лучше, чем тогда. Она переживала больше, чем все мы, просто непостижимо, как она перенесла все это и по-прежнему живет среди нас. Мать, может быть переживала наше общее несчастье — потому что оно обрушилось на нее, — но переживала недолго; что она и сегодня еще как-то переживает его, этого сказать нельзя, да и тогда уже рассудок ее помутился. Амалия же не только переживала это несчастье, но и имела достаточно ума понять его; мы видели только следствия — она смотрела в корень, мы надеялись на какое-нибудь простенькое средство — она знала, что все уже решено, нам приходилось шептаться — ей приходилось только молчать, она смотрела правде в глаза, и жила, и переносила эту жизнь, и тогда и сейчас. Насколько нам при всей нашей беде было легче, чем ей! Нам, правда, пришлось уйти из нашего дома, в него переехал Брунсвик; нам указали эту хижину, на ручной тележке мы в несколько поездок перевезли сюда наше имущество, Барнабас и я тянули, отец и Амалия подталкивали

сзади; мать, которую мы с самого начала сюда привезли, каждый раз встречала нас, сидя на сундуке, тихим причитанием. Но я помню, что мы даже во время этих мучительных поездок, которые к тому же были очень стыдными, так как довольно часто мы встречали телеги, на которых везли урожай, и сопровождавшие их при встрече с нами умолкали и отводили взгляд, — что мы с Барнабасом даже во время этих поездок не могли не говорить о наших заботах и планах, и, заговорившись, иногда останавливались, и только отцовское «эй!» снова напоминало нам о наших обязанностях. Но все эти разговоры — и после переезда тоже — нашей жизни не изменили, только теперь постепенно стала давать о себе знать и бедность. Родственники помогать перестали, средства наши были почти на исходе, и именно в это время начало возникать то презрение к нам, которое ты застал. Люди заметили, что мы не в силах выпутаться из истории с письмом и за это очень на нас рассердились; они не преуменьшали тяжести нашей участи, хотя точно о ней не знали, они чувствовали, что, наверное, сами выдержали бы такое испытание не лучше, чем мы, но тем необходимее было от нас отделиться; если бы мы все преодолели, они бы нас стали,

соответственно, высоко уважать, но нам это не удалось, и то, что до этого было сделано лишь предварительно, сделали окончательно: перед нами захлопнули все двери. О нас теперь уже больше не говорили как о людях, фамилию нашу не произносили, когда бывали вынуждены о нас говорить, нас называли «Барнабасовы» по имени самого невинного из нас, даже наша хижина приобрела дурную славу, и если ты заглянешь в себя, то должен будешь признать, что даже тебе при первом посещении показалось, что презрение это обоснованное; позднее, когда к нам снова стали иногда приходить люди, они воротили носы из-за совсем неважных вещей, из-за того, например, что эта маленькая керосиновая лампа висит там, над столом. Где же ей еще висеть, как не над столом, но им это казалось невыносимым. И если мы эту лампу вешали где-нибудь в другом месте, их отвращение нисколько не уменьшалось. И все, что мы делали, и все, что у нас было, вызывало такое же презрение.

Прошения

— И что же мы делали в это время? Худшее из того, что мы могли делать, то, за что нас по справедливости следовало презирать больше, чем за

все остальное: мы предавали Амалию, мы преступали ее молчаливый приказ, мы не могли больше так жить, не могли жить совсем без надежды, и мы каждый по-своему начали просить или домогаться, чтобы Замок нас простил. Мы знали, что не в состоянии что-либо исправить, и знали также, что единственная обнадеживающая связь с Замком, которую мы имели, — через Сортини, чиновника, благоволившего к нашему отцу, — как раз из-за этого происшествия стала нам недоступна, но, несмотря на это, мы принялись за работу. Начал отец, начались бессмысленные хождения с просьбами к старосте, к секретарям, к адвокатам, к писцам; большей частью его не принимали, а если благодаря хитрости или случаю его все-таки принимали (как мы радовались при каждом таком известии, как потирали руки), то чрезвычайно быстро выпроваживали и больше не принимали никогда. Да и было уж слишком легко ему отвечать — Замку это всегда так легко. Чего он, собственно, хочет? Что с ним случилось? За что он хочет прощения? Когда и кто это в Замке тронул его хотя бы пальцем? Да, он разорился, потерял клиентуру и так далее, но это обычные в жизни явления, превратности ремесла и рынка — разве Замок должен всем заниматься? Занима-

ются-то, положим, всем, но нельзя же так грубо вмешиваться в процесс, так вот запросто и не имея в виду ничего другого, кроме интересов одного отдельного человека. Или, может быть, Замок должен послать своих чиновников, чтобы они побежали вдогонку за клиентами отца и возвратили их ему силой? Но, возражал тогда отец (мы все эти вещи и до и после подробно обсуждали дома, забившись в угол, словно прячась от Амалии, которая хотя и видела все это, но не мешала), — но, возражал тогда отец, он же не жалуется на разорение, все потерянное он бы с легкостью наверстал, все это было бы не так важно, если бы только его простили. «Но что, собственно, ему должны простить?» — отвечали ему, материалов на него пока не поступало, во всяком случае, в протоколах они еще не фигурируют, по крайней мере — в протоколах, доступных для широких адвокатских кругов; следовательно, ничего, насколько это можно установить, против него не предпринималось и не предпринимается. Или он может назвать официальное постановление, которое было издано против него? Этого отец не мог. Или имело место вмешательство какого-либо официального органа? Об этом отец ничего не знал. Ну так раз он ничего не знает

и ничего не произошло, то чего он, собственно, хочет? Что ему могут простить? В лучшем случае — то, что он теперь бесцельно надоедает службам, но как раз это и непростительно. Отец не сдавался, он тогда все еще был очень крепкий, а из-за вынужденного безделья времени у него было в избытке. «Я восстановлю честь Амалии, теперь уже недолго ждать», — говорил он Барнабасу и мне по нескольку раз на день, но только очень тихо, так как Амалия не должна была этого слышать, и все же говорилось это только для Амалии, потому что в действительности он думал совсем не о восстановлении чести, а лишь о прощении. Но для того чтобы получить прощение, он должен был сначала установить вину, а ее-то службы и отрицали. Он пришел к мысли (и это уже указывало на ослабление его рассудка), что от него скрывают вину, потому что он недостаточно платит, ведь до этого он всегда платил только установленные налоги, которые, по крайней мере при наших обстоятельствах, были достаточно высоки. Но тут он решил, что должен платить больше, и конечно, это было неправильно, потому что хотя в наших службах — простоты ради, чтобы избежать ненужных объяснений, — и принимают взятки, достичь

этим ничего нельзя. Но так как это была надежда отца, мы не хотели ее отнимать. Чтобы достать отцу средства для его расспросов, мы продали то, что у нас еще оставалось (а это было уже почти самое необходимое), и долго потом каждое утро испытывали удовлетворение от того, что отец, отправляясь с утра в путь, все-таки мог хоть несколькими монетами позвенеть в кармане. Мы, правда, весь день голодали, и при этом единственное, чего в действительности добились, достав деньги, было то, что мы поддерживали в отце состояние какой-то радостной надежды. Но едва ли это шло на пользу. Он изматывал себя своими хождениями, и то, что без денег очень скоро пришло бы к естественному концу, теперь затягивалось. Поскольку на самом деле ничего особенного за эти лишние деньги сделать было нельзя, то иногда какой-нибудь писец пытался хотя бы для видимости что-то сделать, обещал разузнать, намекал, что уже найдены некие следы, которыми будут заниматься не по обязанности, а только в порядке одолжения отцу, а отец, вместо того чтобы насторожиться, становился все доверчивей. Он возвращался с каким-нибудь таким явно бессмысленным обещанием так, словно уже нес в дом всеобщее благословление, и было

мучительно видеть, как он — всегда за спиной Амалии, — криво ухмыляясь и делая большие глаза, кивал на нее, желая дать нам подать, что спасение Амалии (которое никого так не поразит, как ее саму) благодаря его усилиям уже совсем близко, но что все это пока тайна и мы должны строго ее хранить. Так наверняка продолжалось бы еще долго, но в конце концов мы оказались уже совершенно не в состоянии доставать отцу все новые деньги. Хотя за это время Брунсвик после многих просьб взял Барнабаса в подмастерья (правда, только с условием, чтобы он приходил за работой вечером, когда стемнеет, и приносил ее тоже в темноте, — надо признать, что Брунсвик ради нас в известной степени ставил под угрозу свое дело, но зато он и платил Барнабасу очень мало, а работа Барнабаса безупречная), однако этого заработка только-только хватало, чтобы нам совсем не умереть с голоду. С большой осторожностью и после долгих подготовок мы объявили отцу о прекращении нашей денежной поддержки, но он принял это очень спокойно. Рассудком он уже не способен был понять безнадежность своих ходатайств, но от непрерывных разочарований он все-таки устал.

Хотя он и стал говорить (он говорил уже не так

отчетливо, как раньше, он раньше почти что слишком отчетливо говорил), что ему бы нужно еще совсем немного денег, завтра или даже сегодня он бы уже все узнал, а теперь все пропадет зря, все сорвется только из-за денег и так далее, но по его тону, по тому, как он это говорил, было видно, что во все это он не верит. К тому же у него сразу вдруг появились новые планы. Раз ему не удалось доказать вину и вследствие этого официальным путем он дальше продвинуться не может, то он должен заняться исключительно просьбами и приступать с ними непосредственно к чиновникам. Среди них наверняка есть такие, у которых доброе, жалостливое сердце, к голосу которого они хотя и не могут прислушиваться на службе, но вне службы, вероятно, могут, если их застать врасплох в подходящий момент.

Тут К., до сих пор слушавший Ольгу совсем отрешенно, прервал рассказ вопросом:

— А по-твоему, это неправильно?

Хотя это и должно было стать ясно из дальнейшего рассказа, но он хотел получить ответ сразу.

— Нет, — ответила Ольга, — о жалости или о чем-то подобном вообще не может быть речи. Как мы ни были молоды и неопытны, мы это знали — и отец, естественно, тоже знал, но он забыл

это, как и почти все остальное. Он придумал себе такой план: встать на дороге недалеко от Замка, там, где мимо проезжают чиновники, и, если повезет, изложить свою просьбу о прощении. План, откровенно говоря, совсем бессмысленный — даже если бы и произошло невозможное и просьба действительно достигла ушей какого-нибудь чиновника. Разве какой-то один чиновник может прощать? В лучшем случае такой вопрос могли бы решить инстанции в целом, но, видимо, даже и они не могут прощать, — только судить. И вообще, разве какой-то чиновник, даже если он выйдет из своей кареты и пожелает заняться этим делом, сможет составить себе о нем представление по тому, что пробормочет ему отец, бедный, усталый, состарившийся человек? Чиновники очень образованны, но все же — только односторонне, по своей специальности чиновник с одного слова сразу схватывает всю цепь рассуждений, но что-нибудь из области другого отдела ему можно объяснять часами, и он, возможно, будет вежливо кивать, но не поймет ни слова. Все это, конечно, само собой понятно, ведь только попытайся даже мелкий служебный вопрос, какой-нибудь тебя же касающийся ничтожный пустяк, который чиновник решает одним пожа-

тием плеч, только попытайся разобраться в нем до основания — и тебе хватит дела на всю жизнь, и до конца не дойдешь. Но даже если бы отец и попал на компетентного чиновника, тот все равно ничего не смог бы решить, не подняв дела, тем более — на дороге; он ведь и не может прощать, он может только решать дело в официальном порядке и для этого опять-таки указать только официальный путь, но именно на этом пути отцу уже полностью не удалось ничего достичь. Как все это у отца должно было далеко зайти, если с таким новым планом он собирался куда-то пробиться! Да если б хоть какая-то, пусть даже самая ничтожная возможность такого рода существовала, так дорога там кишела бы просителями, но поскольку речь тут идет о невозможном, и это уже в самых младших классах вдалбливают каждому школьнику, то там совершенно пусто. Возможно, это тоже укрепило в отце его надежду; он находил для нее пищу во всем. А это ему очень требовалось: ведь в здравом рассудке человек вообще и пускаться бы не стал в такие сложные рассуждения, а с одного взгляда ясно увидел бы невозможное. Когда чиновники едут в деревню или обратно в Замок, это совсем не увеселительные поездки, и в деревне, и в Замке их ждет

работа, и едут они поэтому с огромной скоростью. И им даже в голову не придет выглядывать в окно кареты и искать на дороге просителей, ведь кареты загружены актами, над которыми чиновники трудятся.

— Но я, — возразил К., — видел изнутри сани одного чиновника, там никаких актов не было.

В рассказе Ольги перед ним открылся такой огромный, почти неправдоподобный мир, что он не мог удержаться и не прикоснуться к нему своими маленькими приключениями, чтобы надежнее убедиться как в его существовании, так и в своем собственном.

— Возможно, — сказала Ольга, — но тогда это еще хуже, тогда, значит, у чиновника такие важные дела, что папки слишком ценны или слишком объемисты, чтобы можно было взять их с собой; такие чиновники приказывают тогда мчаться галопом. В любом случае для отца никакого времени остаться не может. И кроме того, к Замку есть несколько подъездов. Иногда в моде один, и тогда большинство ездит там, иногда — какой-нибудь другой, тогда все устремляются туда. По какому правилу происходит эта смена, еще не выяснено. Иногда в восемь часов утра все едут по одной дороге, через полчаса — тоже все —

по какой-то другой, через десять минут — уже по какой-то третьей, через полчаса, может быть, — снова по первой и так потом и ездят там целый день, но каждый миг может произойти какое-то изменение. Правда, возле деревни все подъездные дороги соединяются, но там уже все кареты мчатся, тогда как вблизи Замка скорость все-таки немного умереннее. И как нет закономерности и нельзя указать порядка выездов в смысле дорог, так же — и с количеством карет. Часто бывают, например, такие дни, когда вообще ни одной кареты не увидишь, а потом они опять едут одна за другой. И вот после всего этого представь себе нашего отца. В лучшем своем костюме — скоро он будет у него единственным — каждое утро выходит он из дому, напутствуемый нашими пожеланиями удачи. Он берет с собой маленький значок пожарной команды (который он сохранил вообще-то не по праву), чтобы приколоть его за деревней; в самой деревне он боится его показывать, хотя значок такой маленький, что с двух шагов его почти не видно, — но отец считает, что он годится даже для того, чтобы привлечь внимание проезжающих мимо чиновников. Недалеко от подъезда к Замку есть одно коммерческое садоводство, которое принадлежит некоему Бертуху,

он поставляет в Замок овощи, — там, на узком каменном цоколе садовой решетки, отец и выбрал себе место. Бертух терпел это, потому что он раньше был дружен с отцом и к тому же принадлежал к самым верным его клиентам: у него немного покалечена нога, и он считал, что только отец может сделать ему подходящий сапог. И вот отец сидел там день за днем, была хмурая дождливая осень, но он не обращал никакого внимания на погоду; утром в определенный час он брался за ручку двери и кивал нам на прощание, вечером он приходил (казалось, что с каждым днем он все больше горбился) насквозь промокший и валился куда-нибудь в угол. Первое время он рассказывал нам о своих маленьких происшествиях — что, скажем, Бертух из сострадания и по старой дружбе бросил ему через решетку одеяло, или что в одной из проезжавших мимо карет он, кажется, узнал того или иного чиновника, или что его там уже опять узнал один кучер и в шутку хлестнул вожжами. Но потом он перестал об этом рассказывать, очевидно, он уже не надеялся хоть чего-то там достичь, он уже только считал своим долгом, своей безрадостной обязанностью ходить туда и проводить там весь день. Тогда и начались его ревматические боли; приближалась зима, выпал

первый снег — у нас зима наступает очень рано; ну вот он и сидел то на мокрых от дождя камнях, то на снегу. Ночью он стонал от боли и утром иногда бывал в нерешительности, идти ли ему, но потом все-таки перебарывал себя и шел. Мать висла на нем, не хотела отпускать, и он, видимо напуганный тем, что члены его уже не слушались, позволял ей идти с ним, так заболела и мать. Мы часто бывали у них, приносили еду или просто приходили проведать, или пытались убедить их вернуться домой; сколько раз мы видели, как они сидят там, бессильно прислонившись друг к другу, на этом узком приступке, съежившись под тонким одеялом, которое их едва прикрывало, а вокруг — ничего, кроме серого снега и серого тумана, ни вблизи ни вдали, и за весь день — ни одного человека или кареты… если б ты видел, К., если б ты видел! Так продолжалось до того утра, когда отец уже не смог спустить с кровати негнущиеся ноги; это было ужасно грустно, он немного бредил в жару, и ему казалось, что он видит, как в этот самый миг наверху у Бертуха остановилась карета, вышел чиновник, обежал взглядом решетку в поисках отца и, качая головой и сердясь, снова возвратился в карету. Отец в это время так кричал, словно хотел отсюда привлечь

внимание чиновника наверху и объяснить ему, как невиновен он в своем отсутствии. И это было долгое отсутствие: больше он вообще туда не возвращался, недели напролет он был вынужден оставаться в постели. Амалия взяла на себя все: обслуживание, уход, лечение — и, в сущности, продолжает это с перерывами до сегодняшнего дня. Она знает целебные травы, успокаивающие боль, ей почти не требуется сна, она никогда не пугается, ничего не боится, ни разу не выказала нетерпения, она выполняла для родителей всю работу; в то время как мы, не в силах чем-либо помочь, лишь беспокойно толклись вокруг, она, что бы ни случилось, оставалась холодна и спокойна. Когда же самое худшее миновало и отец, с осторожностью и поддерживаемый с двух сторон, уже снова мог выбираться из кровати, Амалия тут же отстранилась и оставила его нам.

Планы Ольги

— Теперь нужно было снова найти отцу какое-нибудь занятие, которое ему было еще под силу, что-нибудь такое, чтобы он мог по крайней мере верить в то, что это помогает снять с семьи вину. Найти что-то в этом роде было нетрудно: таким целесообразным, как это сидение перед

садом Бертуха, было, в сущности, все что угодно, но я нашла кое-что такое, что даже мне подавало какую-то надежду. Всякий раз, когда в службах, или у писцов, или где-то еще заходила речь о нашей вине, упоминалось только оскорбление сортиньевского посыльного, а проникать дальше никто не осмеливался. Ну, сказала я себе, если, кроме оскорбления посыльного ничего не знают — пусть даже это только видимость, — то все можно снова исправить — пусть даже опять-таки только для видимости, — если удастся помириться с посыльным. Ведь никаких же материалов, они говорят, не поступало, дело, следовательно, еще не попало ни в какую инстанцию, и посыльному в таком случае не возбраняется простить от своего имени — о большем тут речи нет. Все это могло, конечно, и не иметь решающего значения, было только видимостью и, соответственно, ничего, кроме видимости, не могло и дать, но отцу это все же доставило бы радость, а всех этих много обещающих, которые так его измучили, возможно, удалось бы немного окоротить — отец был бы доволен. Вначале, правда, надо было найти посыльного. Когда я рассказала мой план отцу, он вначале очень рассердился; дело в том, что он сделался чрезвычайно упрям и считал (это раз-

вилось у него за время болезни), что мы ему все время мешаем добиться окончательного успеха: вначале прекращением денежной поддержки, теперь — тем, что удерживаем в постели; кроме того, он вообще уже был не способен полностью воспринимать чужие мысли. Я еще не дорассказала до конца, как мой план уже был отброшен; по его мнению, он должен был продолжать ждать у сада Бертуха, и, поскольку он, конечно, был уже не в состоянии ежедневно подниматься наверх, мы должны были отвозить его туда на тачке. Но я не отступала, и постепенно он смирился, при этом мешало ему только то, что он в этом деле целиком зависел от меня, ведь посыльного видела только я, он его не знал. Правда, слуги похожи друг на друга, и в том, что я узнаю того слугу, не была уверена и я. Тогда мы начали ходить в господский трактир и искать среди слуг. Хотя это был слуга Сортини, который в деревне больше не появлялся, но господа часто меняются слугами, и его вполне можно было встретить в свите какого-нибудь другого господина, а если бы оказалось, что его самого не найти, то, возможно, все-таки удалось бы получить сведения о нем от других слуг. Для этого, однако, нужно было ежевечерне бывать в господском трактире, а нам нигде не ра-

ды, в таком месте — тем более, ведь являться как посетители, которые платят, мы же не могли. Но оказалось, что мы все-таки можем пригодиться. Ты, наверное, знаешь, каким мучением были эти слуги для Фриды; по сути, это большей частью спокойные люди, обленившиеся и отяжелевшие от легкой службы. «Пусть тебе живется как слуге» — есть такая поговорка у чиновников, и на самом деле, в том, что касается беззаботной жизни, настоящими господами в Замке должны быть слуги, — и они умеют это ценить, и в Замке, где они живут по его законам (мне это неоднократно подтверждали), они ведут себя тихо и достойно; остатки этого можно заметить у слуг и здесь, но только остатки, а в остальном — из-за того, что в деревне замковые законы на них уже не полностью распространяются, они здесь словно перерождаются: дикие, необузданные, подчиняющиеся не законам, а только своим ненасытным вожделениям, животные. Их бесстыдство не знает границ, счастье для деревни, что они не могут без приказа покидать господский трактир, но в самом господском трактире с ними нужно стараться ладить; Фриде это давалось с большим трудом, и поэтому ей было очень кстати, что она могла использовать меня для успокоения слуг;

уже больше двух лет по крайней мере дважды в неделю я провожу ночь со слугами в хлеву. Раньше, когда отец еще мог ходить вместе со мной в господский трактир, он спал где-нибудь в пивной зале и ждал там новостей, которые должна была утром принести я. Их было мало. Того посыльного мы до сих пор так и не нашли; он, как говорят, все еще служит у Сортини, тот его очень ценит, и он должен быть при нем, когда Сортини уединяется в дальних канцеляриях. Слуги — почти все — его не видели так же давно, как и мы, и если кто-то из них все-таки утверждает, что за это время видел его, то это, вероятно, ошибка. Так что мой план должен был бы, в сущности, рухнуть, но все-таки это еще не совсем так; посыльного мы, правда, не нашли, и отца хождения в господский трактир и ночевки там (а может быть, даже и сочувствие ко мне — насколько он еще был на это способен), к несчастью, доконали, и он вот уже почти два года в том состоянии, в каком ты его видел, и при этом ему, может быть, еще не так плохо, как матери, чьей кончины мы ждем со дня на день и которая отодвигается только благодаря непомерным усилиям Амалии, но чего я все-таки в господском трактире достигла — это установления определенной связи с Замком. Не презирай меня, если

я скажу, что не жалею о том, что сделала. Как велика эта связь с Замком ты, наверное, можешь себе представить. И ты прав, эта связь не велика. Но все-таки я теперь знаю многих слуг, чуть ли не всех слуг всех господ, которые за последние годы приезжали в деревню, и, если когда-нибудь мне случится прийти в Замок, я там буду не чужая. Правда, такие эти слуги только в деревне, в Замке они совсем другие, там они, наверное, уже никого не узнают, и в особенности тех, с кем у них были сношения в деревне, даже если они сто раз поклянутся в хлеву, что будут очень рады встретиться в Замке. Да я, впрочем, уже испытала, как мало значат все такие обещания. Но это, конечно, совсем не самое главное. Я имею связь с Замком не только через самих слуг, но, может быть — я на это надеюсь, — еще и благодаря тому, что кто-то, кто сверху наблюдает за мной и за тем, что я делаю (а управление большим штатом слуг, разумеется, крайне важная и хлопотная часть работы инстанций), — что, следовательно, тот, который за мной наблюдает, может быть, станет судить обо мне не так сурово, как другие; может быть, он увидит, что я — пусть каким-то жалким образом — но все-таки тоже борюсь за нашу семью и продолжаю попытки отца. Если на

это так взглянут, тогда, может быть, мне простят и то, что я принимаю от слуг деньги и расходую их на нашу семью. И еще другого я достигла — это, правда, и ты поставишь мне в вину. Я много узнала от слуг о том, как можно обходным путем, минуя тяжелую и тянущуюся годами процедуру приема, попасть на замковую службу; при этом хотя и не становишься официальным служащим, а только негласно и наполовину допущенным, и не имеешь ни прав, ни обязанностей (то, что не имеешь обязанностей, — хуже), но поскольку все-таки находишься поблизости от всего, то одно преимущество тут есть: можно уловить и использовать благоприятную возможность; ты — не служащий, но случайно для тебя может найтись какая-нибудь работа: служащего вдруг не оказывается на месте — зовут — бежишь на зов — и становишься тем, кем за минуту до этого еще не был; ты — служащий. Правда, когда представляется такая возможность? Иногда — сразу, только попал туда, только огляделся — и вот эта возможность уже представилась, не у всякого даже хватит присутствия духа вот так, новичком, сразу за нее ухватиться, но другой раз это уже длится годами, дольше, чем официальная процедура приема, и стать законно, официально принятым

такой полудопущенный уже вообще не сможет. Так что здесь есть о чем подумать; но они к тому же еще умалчивают о том, что при официальном приеме отбирают очень педантично, и кандидатура члена какой-либо сомнительной семьи отбрасывается с самого начала; к примеру, такой кандидат подвергает себя этой процедуре, годами дрожит, ожидая результатов, со всех сторон с самого первого дня его удивленно спрашивают, как он решился на такое безнадежное дело, но он все-таки надеется — как ему иначе жить? — и через много лет, иногда — уже стариком, он узнает об отказе, узнает, что все пропало и жизнь его прошла напрасно. Правда, и тут бывают исключения, потому так легко на это и клюют. Случается, что именно сомнительные люди в конце концов оказываются принятыми, есть чиновники, которые прямо-таки против своей воли любят запах такой дичи, во время приемных экзаменов они втягивают носом воздух, кривят рот, закатывают глаза, такой человек кажется им чудовищно аппетитным, и они должны очень крепко держаться за кодексы законов, чтобы быть в состоянии противостоять ему. Иногда, правда, это способствует не приему такого человека, а только бесконечному затягиванию процедуры приема, которая тогда

вообще не кончается, а только обрывается со смертью человека. Так что в приеме и по закону и иначе есть масса явных и скрытых трудностей, и, прежде чем в такие дела пускаться, очень рекомендуется тщательно все взвесить. Ну тут у нас с Барнабасом не должно быть упущений. Каждый раз, когда я приходила из господского трактира, мы усаживались вдвоем, я рассказывала все то новое, что я узнавала, мы подробно обсуждали это целыми днями, и часто работа в руках Барнабаса не двигалась дольше, чем следовало бы. И тут я, может быть, с твоей точки зрения, виновата. Ведь я знала, что рассказам слуг нельзя слишком доверять. Я знала, что им никогда не хотелось рассказывать мне о Замке, они всегда старались уклониться, каждое слово у них приходилось выпрашивать, а потом, начав уже говорить, они расходились, мололи чепуху, важничали, перекрывали друг друга преувеличениями и выдумками, так что ясно было, что в этих нескончаемых криках там, в темном хлеву, когда один сменял другого, в лучшем случае могло быть два-три жалких намека на истину. Но я все пересказывала Барнабасу — так, как помнила, и он, вообще еще не способный отличить правду от выдумки и из-за положения нашей семьи почти

томившийся жаждой по таким вещам, — он все впивал в себя и сгорал от нетерпения, ожидая, что будет дальше. И мой новый план основывался действительно на Барнабасе. От слуг ничего больше нельзя было добиться. Посыльный Сортини не отыскивался и никогда бы не отыскался; казалось, что Сортини, а вместе с ним и посыльный удаляются все дальше, их вид и имена уже забывались, и зачастую я должна была долго их описывать, не достигая этим ничего, кроме того, что их с трудом вспоминали, но дальше ничего про них сказать не могли. И в отношении того, что я жила со слугами, я, естественно, никак не могла повлиять на то, как об этом будут судить, и могла только надеяться, что это поймут правильно и что за это снимут немного вины с нашей семьи, но никаких признаков этого я не видела. И все же я продолжала, потому что никакой другой возможности добиться для нас чего-то в Замке я для себя не видела. Но для Барнабаса я видела такую возможность. Из рассказов слуг я при желании — а недостатка в таком желании у меня не было — могла заключить, что тот, кто принят на замковую службу, очень много может сделать для своей семьи. Но что в этих рассказах было достоверно? Это невозможно было устано-

вить, было только ясно, что очень немногое. Ведь когда, например, какой-нибудь слуга, которого я никогда больше не увижу, а даже если увижу, то вряд ли узнаю, торжественно меня уверял, что посодействует моему брату насчет какого-нибудь места в Замке или, если Барнабас как-то иначе попадет в Замок, по крайней мере поддержит его, то есть как-то подбодрит (потому что, по рассказам слуг, бывает, что соискатели должностей во время чересчур долгого ожидания слабеют или запутываются, и тогда, если о них не позаботятся друзья, они пропали), — когда это и многое другое мне рассказывали, то предостережения эти были, по-видимому, обоснованные, обещания же, которые при этом давались, были совершенно пустые. Но не для Барнабаса: хоть я его и предостерегала от того, чтобы верить обещаниям, но уже того, что я их ему пересказывала, было достаточно, чтобы он принял мои планы. То, что я сама приводила в их пользу, действовало на него меньше, в основном на него действовали рассказы слуг. Таким образом мне, по существу, приходилось надеяться только на саму себя: с родителями вообще никто, кроме Амалии, не мог объясниться; Амалия, чем больше я по-своему продолжала старые планы отца, тем больше от

меня отворачивалась, при тебе или других она со мной еще разговаривает, наедине — уже никогда; для слуг в господском трактире я была игрушкой, которую они яростно старались сломать (за два года я ни с кем из них ни разу не поговорила по душам — все только скрытничали, или лгали, или несли вздор), так что мне оставался только Барнабас, но Барнабас был еще очень молод. Когда я увидела, как во время моих рассказов в его глазах появляется этот блеск, который у него с тех пор так и остался, я испугалась, но не остановилась, слишком многое казалось мне поставленным на карту. Правда, таких грандиозных (хотя и пустых) планов, как у моего отца, у меня не было; не было у меня этой мужской решительности, я не шла дальше желания загладить оскорбление посыльного и даже надеялась, что мою скромность мне засчитают как заслугу. Но чего не удалось добиться мне самой, я хотела теперь иначе и наверняка достигнуть через Барнабаса. Мы оскорбили посыльного и спугнули его из передних канцелярий, что же могло быть естественней, как предложить в лице Барнабаса нового посыльного для выполнения работы оскорбленного и таким образом дать возможность оскорбленному спокойно оставаться в стороне столько, сколько

он захочет, сколько ему нужно, чтобы забыть оскорбление. Я, правда, хорошо понимала, что в этом плане при всей его скромности была и дерзость, что могло возникнуть впечатление, будто мы хотим диктовать инстанциям, как им решать кадровые вопросы, или будто мы сомневаемся в том, что инстанции способны сами распорядиться наилучшим образом — и давно уже так распорядились, — раньше, чем мы вообще додумались до того, что здесь можно что-то сделать. Однако, с другой стороны, я все-таки не верила, что инстанции могли так неверно меня понять, или что если они это сделали, то сделали это умышленно, и, следовательно, все, что я делала, было с самого начала, без дальнейшего рассмотрения отвергнуто. Так что я не остановилась, и тщеславие Барнабаса делало свое дело. В это время приготовлений Барнабас сделался таким заносчивым, что сапожную работу стал считать для себя, будущего служителя канцелярий, слишком грязной; мало того, он даже осмеливался противоречить — и очень принципиально — Амалии, когда она (довольно редко) что-то ему говорила. Я охотно позволяла ему эту недолгую радость, потому что в первый же день, когда он пошел в Замок, и радость и заносчивость, как это

легко можно было предвидеть, сразу исчезли. И вот началась эта видимость службы, о которой я тебе уже рассказала. Удивительно было, как Барнабас без всяких затруднений в первый раз вошел в Замок, или, точнее, в ту канцелярию, которая стала его, так сказать, местом работы. От этой удачи я тогда чуть не помешалась; когда вечером по дороге к дому Барнабас шепотом рассказал мне это, я побежала к Амалии, обхватила ее, прижала в угол и целовала, впиваясь губами и зубами так, что она заплакала от боли и ужаса. Сказать я от волнения ничего не могла, к тому же мы ведь так долго друг с другом не разговаривали, и я отложила разговор на следующие дни. Но в следующие дни уже больше не о чем было говорить. На этом, так быстро достигнутом, все и остановилось. Два года вел Барнабас эту однообразную, угнетающую жизнь. Со слугами совершенно ничего не получилось. Я снабдила Барнабаса маленьким письмом, в котором рекомендовала его вниманию слуг и одновременно напоминала им об их обещаниях, и Барнабас, как только видел какого-нибудь слугу, вытаскивал это письмо и протягивал тому; и даже если он, видимо, иногда попадал на слуг, которые были со мной незнакомы, и даже если знакомых его

манера молча показывать письмо (потому что говорить он наверху не осмеливался) раздражала, то все равно это было позорно, что никто ему не помог, и для нас было избавлением (его, правда, мы и сами, и давно могли получить), когда один из слуг, которому, видимо, уже несколько раз надоедали этим письмом, скомкал его и выбросил в мусорную корзину. При этом он — так мне подумалось — мог бы даже сказать: «Примерно так ведь и вы обычно поступаете с письмами». Но как ни бесполезно в остальном прошло это время, на Барнабаса оно повлияло благотворно, если называть благотворным то, что он раньше времени старился, раньше времени становился мужчиной, а кое в чем даже выходил — серьезно и разумно — за пределы мужественности. Часто мне бывало очень грустно смотреть на него и сравнивать его с тем мальчиком, которым он был еще два года назад. И при этом ни утешения, ни поддержки, которые от него, как от мужчины, я, наверное, могла бы получить, я совсем не имела. Без меня он вряд ли попал бы в Замок, но с тех пор, как он там, он от меня независим. Я — его единственная доверенная, но он высказывает мне, конечно, только малую часть того, что у него на сердце. Он много рассказывает мне о Замке,

но из его рассказов, из тех мелочей, которые он сообщает, совершенно нельзя понять, почему свою смелость, которая всех нас, когда он был мальчиком, приводила в отчаяние, — почему он ее теперь, став мужчиной, напрочь утратил там, наверху. Правда, это бесполезное стояние и ожидание — день за днем, все снова и снова, без всяких надежд на какую-то перемену — изматывает, лишает уверенности и в конце концов делает уже не способным ни к чему другому, кроме этого обреченного стояния там. Но почему же он и раньше не оказывал никакого сопротивления? В особенности когда он вскоре понял, что я была права и для удовлетворения тщеславия там ничего сделать нельзя, а вот для того, чтобы улучшить положение нашей семьи, видимо, — можно. Ведь там во всем — если не считать капризов слуг — царит умеренность, удовлетворения тщеславия там ищут в работе, и поскольку при этом превыше всего ставят само дело, то он совершенно теряется; детским желаниям там места нет. Но зато Барнабас полагал — так он мне рассказывал, — что хорошо понял, как велики власть и знания даже тех очень все-таки сомнительных чиновников, в комнате которых он имел возможность находиться. Как они диктовали:

быстро, полузакрыв глаза, отрывисто жестикулируя; как они одним движением указательного пальца, без единого слова отсылали этих ворчливых слуг, которые в такие мгновения тяжело переводили дух и счастливо ухмылялись; или как они находили в своих книгах какое-нибудь важное место, как с головой уходили в чтение, и как туда сбегались — насколько это было возможно в тесноте — остальные и тянули к ним шеи. Такие и подобные таким картины внушили Барнабасу большое уважение к этим людям, и у него сложилось впечатление, что если бы только они его каким-то образом заметили и он смог бы немножко с ними поговорить — не как посторонний, а как коллега по канцелярии, хоть и из породы подчиненных, — необозримо многого можно было бы достичь для нашей семьи. Но как раз до этого еще не дошло, а сделать что-то, что могло бы это приблизить, он не решается, хотя прекрасно понимает, что, несмотря на свою молодость, он в силу несчастных обстоятельств уже выдвинут в нашей семье на обремененное ответственностью место отца семейства. Ну и чтобы уж признаться во всем: неделю назад пришел ты. Я услышала в господском трактире, как кто-то мимоходом сказал об этом, и не обратила

внимания; пришел какой-то землемер, я даже не знала, что это такое. Но на следующий день вечером Барнабас приходит домой раньше, чем всегда (обычно я к определенному времени выходила и шла часть пути ему навстречу), увидев в комнате Амалию, он тащит меня на улицу, там прижимается лицом к моему плечу и плачет несколько минут. Снова он маленький мальчик, каким был прежде. С ним случилось что-то, до чего он еще не дорос. Словно перед ним вдруг открылся совсем новый мир, и счастья и тревог всей этой новизны он не в силах вынести. И при этом с ним ничего не случилось, кроме того, что он получил для доставки письмо к тебе. Но это, правда, первое письмо, первая работа, которую он вообще за все это время получил.

Ольга прервала рассказ. Было тихо, слышалось только тяжелое, временами хриплое дыхание родителей. К. небрежно, как бы только резюмируя рассказ Ольги, заметил:

— Прикидываетесь вы передо мной. Барнабас передал мне письмо как бывалый, загруженный делами посыльный, а ты — в точности, как Амалия, которая, значит, на этот раз была с вами заодно, изобразила все таким образом, как будто его посыльная служба и эти письма — так просто,

не пришей не пристегни.

— Ты должен нас различать, — сказала Ольга. — Барнабас от двух этих писем снова стал счастливым ребенком, несмотря на все его сомнения в его деятельности. Эти сомнения — только для него и для меня, перед тобой же он старается держать марку, пытаясь вести себя как настоящий посыльный, то есть так, как, по его представлениям, ведут себя настоящие посыльные. И мне, например, — при том, что ведь теперь его надежда на получение обмундирования увеличивается, — пришлось два часа так перешивать его брюки, чтобы они стали хотя бы похожи на плотно облегающие брюки форменной одежды и он мог бы перед тобой — тебя ведь в этом отношении, естественно, еще легко обмануть — в них появиться. Таков Барнабас. Но Амалия презирает эту посыльную службу, и теперь, когда, кажется, достигнут маленький успех (она легко может догадаться об этом по Барнабасу, и по мне, и по тому, как мы сидим с ним и шушукаемся), — теперь она презирает ее еще больше, чем раньше. Так что она говорит правду, и ты никогда не сомневайся в этом, не поддавайся заблуждению. Если же я, К., иногда принижала значение посыльной службы, то это было не для того, чтобы обмануть

тебя, а от страха. Те два письма, которые прошли через руки Барнабаса, — это первый за три года, впрочем, еще достаточно сомнительный знак милости по отношению к нашей семье. Эта перемена — если это перемена, а не обман: обманы случаются чаще, чем перемены, — связана с твоим прибытием сюда; наша судьба стала каким-то образом зависеть от тебя; быть может, эти два письма — только начало и сфера деятельности Барнабаса расширится за пределы этой, касающейся тебя посыльной службы, мы будем на это надеяться — до тех пор, пока сможем, но пока все тянется только к тебе. Ведь там, наверху, мы должны довольствоваться тем, что нам дадут, но здесь, внизу, мы, наверное, можем все-таки и сами что-то сделать: например, заручиться твоим расположением, или, по крайней мере, предохраниться от твоего предубеждения против нас, или, что самое важное, защитить тебя — насколько хватит наших сил и опытности, — чтобы твоя связь с Замком (которой мы, возможно, могли бы жить) у тебя не пропала. Как же теперь лучше всего за это взяться, чтобы у тебя не возникло никаких подозрений, если мы с тобой сблизимся? — ведь ты здесь человек чужой и поэтому, конечно, полон по отношению ко всему

подозрений, — обоснованных подозрений. Кроме того, ведь нас же презирают, и на тебя влияет всеобщее мнение, особенно через твою невесту; как же нам подобраться к тебе, не противопоставляя себя, к примеру, — хотя у нас совсем нет такого намерения — твоей невесте и не задевая тем самым тебя? И эти послания, которые я, прежде чем ты их получил, внимательно прочла (Барнабас их не читал, как посыльный он себе этого не позволял), кажутся на первый взгляд не очень важными, устаревшими и сами себя обесценивают, отсылая тебя к старосте общины. Как же в таком случае нам следовало вести себя по отношению к тебе? Если бы мы подчеркивали их важность, показалось бы подозрительным, что мы переоцениваем такие явно неважные сообщения, и, являясь теми, кто эти сообщения передает, тебе их расхваливаем, то есть преследуем не твои, а свои цели; кроме того, мы же могли уронить в твоих глазах сами эти сообщения и таким образом, крайне того не желая, тебя обмануть. Но если бы мы представили эти письма как не имеющие большого значения, это было бы точно так же подозрительно, так как — почему тогда мы занимаемся доставкой этих неважных писем, почему противоречат друг другу наши

поступки и слова, почему мы так обманываем не только тебя, адресата, но также и того, кто дал нам это поручение, ведь он, конечно, не затем передал нам письма, чтобы мы своими объяснениями обесценивали их в глазах адресата? А держаться середины между этими крайностями, то есть правильно судить об этих письмах, просто невозможно: они сами беспрерывно меняют свое значение; размышления, к которым они дают повод, бесконечны, и на чем именно при этом остановишься, зависит только от случая, следовательно, и суждение о них — тоже случайно. А когда к этому еще добавляется страх за тебя, то уже все перепутывается; ты не должен слишком строго относиться к моим словам. Когда, к примеру, Барнабас, как это однажды было, приходит с известием, что ты недоволен его посыльной службой, и он с перепугу и, к сожалению, тоже не без обидчивости посыльного заявляет, что хочет с этой службы уйти, тогда я, разумеется, чтобы исправить эту ошибку, готова обманывать, лгать, предавать, творить любое зло, если только это поможет. Но тогда — по крайней мере, я так считаю — я это делаю не только ради нас, но и ради тебя.

В дверь постучали. Ольга побежала к двери и открыла. В темноту упала полоса света от чьего-то

потайного фонаря. Поздний посетитель шепотом что-то спросил, ему что-то прошептали в ответ, но не удовлетворили этим, и он пытался проникнуть в комнату. Ольга, видимо, уже не могла его удержать и позвала Амалию, очевидно надеясь, что та, охраняя родительский сон, пойдет на все, чтобы удалить посетителя. И действительно, Амалия уже бежала туда; отстранив Ольгу, она вышла на улицу и закрыла за собой дверь. Тут же — это длилось лишь мгновение — она вернулась; так быстро она добилась того, что для Ольги было невозможно.

К. узнал затем от Ольги, что приходили к нему: это был один из помощников, который искал его по поручению Фриды. Ольга решила защитить К. от помощника; если К. захочет впоследствии признаться Фриде, что посетил их, он сможет это сделать, но это не должно было открыться через помощника. К. одобрил это. Однако от предложения Ольги провести у них ночь и подождать Барнабаса он отказался; вообще говоря, он, возможно, и принял бы его, ведь была уже глубокая ночь, и ему казалось, что, хочет он того или нет, он теперь уже так связан с этой семьей, что здесь для него — может быть, неудобное по другим причинам, но, учитывая эту связь, — самое есте-

ственное место для ночлега во всей деревне, и все же он отказался от предложения: приход помощника испугал его, ему было непонятно, каким образом Фрида, которая ведь знала его волю, и помощники, которые научились его бояться, снова так сошлись, что Фрида не побоялась послать за ним одного из помощников, кстати — только одного, в то время как второй, очевидно, остался при ней. Он спросил Ольгу, есть ли у нее кнут; кнута у нее не было, но был хороший ивовый прут, К. его взял; потом он спросил, есть ли в доме какой-нибудь другой выход, такой выход был — через двор, но для того, чтобы попасть на улицу, нужно было еще перелезть через забор соседского сада и пройти сквозь этот сад. Так К. и намерен был сделать. Пока Ольга вела его через двор к забору, К. постарался быстро рассеять ее тревоги; он заявил, что за ее маленькие уловки в рассказе он совсем на нее не сердится, а напротив, очень даже ее понимает, поблагодарил за доверие к нему, которое она выказала своим рассказом, и поручил ей сразу же, как только вернется Барнабас, послать его в школу, даже если еще будет ночь. Хотя послания Барнабаса — не единственная его надежда (иначе его дело было бы плохо), но отказываться от них он ни в коем случае не

намерен, он намерен за них держаться и не забывать при этом Ольгу, потому что для него очень важна, чуть ли не важнее этих посланий, сама Ольга, ее храбрость, ее осмотрительность, ее ум, ее самопожертвование во имя семьи. Если бы он должен был выбирать между Ольгой и Амалией, ему не пришлось бы долго раздумывать. И уже запрыгивая на забор соседского сада, он еще успел сердечно пожать ей руку.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Выбравшись на улицу, он вверху, поодаль, разглядел, насколько позволяла хмурая ночь, помощника, который все еще ходил взад-вперед перед домом Барнабаса; иногда помощник останавливался и пытался через занавешенное окно посветить в комнату. К. окликнул его, тот без видимого испуга прекратил свое разнюхивание и направился к К.

— Кого ты ищешь? — спросил К. и проверил на колене гибкость ивового прута.

— Тебя, — ответил помощник, подходя.

— А кто ты, собственно? — спросил вдруг К., так как это, кажется, был не помощник.

Он выглядел старше, утомленнее, морщинистей, но круглей лицом, и походка его была совсем не похожа на юркую, словно намагниченную походку помощников, она была медленной, немного хромающей, лениво-расслабленной.

— Ты меня не узнаешь? — спросил человек. — Иеремия, твой старый помощник.

— Так, — сказал К. и снова слегка выставил ивовый прут, который уже было спрятал за спину. — Но ты выглядишь совсем иначе.

— Это потому, что я один, — сказал Иеремия. — Когда я один, тогда и веселой юности больше нет.

— А где же Артур? — спросил К.

— Артур? — переспросил Иеремия. — Этот славный малыш? Он бросил службу. Но ты тоже был немного груб и суров с нами. Его нежная душа не выдержала. Он возвратился в Замок и подает жалобу на тебя.

— А ты? — спросил К.

— Я мог остаться, — сказал Иеремия, — Артур подает жалобу и за меня.

— На что же вы жалуетесь? — спросил К.

— На то, — ответил Иеремия, — что ты шуток не понимаешь. Что мы такого сделали? Немного пошутили, немного посмеялись, немного твою невесту подразнили. Но все, кстати, согласно заданию. Когда Галатер посылал нас к тебе…

— Галатер? — спросил К.

— Да, Галатер, — сказал Иеремия. — Он тогда как раз замещал Кламма. Когда он посылал нас к тебе, он сказал (я это точно запомнил, потому что мы же из этого исходили): «Вы отправляетесь туда как помощники землемера». Мы сказали: «Но мы ничего не понимаем в этой работе». А он нам: «Это не самое важное, если потребуется,

он вам объяснит. Самое важное — чтобы вы его немного развеселили. Как мне сообщают, он все воспринимает слишком серьезно. Он сейчас пришел в деревню, и это для него сразу же — большое событие, в то время как в действительности это вообще ничто. Это вы должны объяснить ему».

— И что же, — спросил. К., — Галатер был прав, и вы выполнили задание?

— Этого я не знаю, — ответил Иеремия. — За такое короткое время это было, наверное, и невозможно. Я знаю только то, что ты был очень груб, и на это мы жалуемся. Я не понимаю, как ты — ведь ты тоже всего лишь служащий, и даже не служащий Замка — не можешь понять, что такая служба — это тяжелая работа и что очень некрасиво — так нарочно, почти по-детски затруднять работнику его работу, как ты это делал. С какой беспощадностью ты оставил нас замерзать у решетки! — а как ты Артура, человека, который по нескольку дней переживает каждое сердитое слово, чуть не пришиб кулаком на матраце, или как ты за мной сегодня гонялся по всей деревне по сугробам, — что я потом час в себя приходил после этой травли. Я ведь уже не молод!

— Дорогой Иеремия, — сказал К., — во всем этом ты прав, только тебе бы следовало изложить это

Галатеру. Он послал вас, потому что сам так захотел, я вас у него не выпрашивал. И поскольку я не просил вас, то вполне мог отправить вас обратно и, между прочим, с удовольствием сделал бы это мирно, а не силой, но вы, очевидно, хотели, чтобы все произошло именно так. Кстати, почему ты сразу, когда вы ко мне пришли, не говорил так же прямо, как теперь?

— Потому что был на службе, — сказал Иеремия, — это же само собой понятно.

— А теперь ты уже не на службе? — спросил К.

— Теперь уже нет, — ответил Иеремия, — Артур в Замке от этой службы отказался, или, по крайней мере, там идет разбирательство, которое должно окончательно освободить нас от нее.

— Однако ты все еще ищешь меня так, словно ты на службе, — заметил К.

— Нет, — сказал Иеремия, — я ищу тебя, только чтобы успокоить Фриду. Потому что, когда ты ради Барнабасовых девочек ее бросил, она была очень несчастна — не столько из-за потери, сколько из-за твоего предательства; правда, она уже давно видела, что к этому идет, и уже много из-за этого выстрадала. Я просто еще раз подошел к окну школы посмотреть, не образумился ли ты наконец. Но тебя там не было, только Фрида

сидела на скамье в классе и плакала. Тогда я, следовательно, пошел к ней, и мы соединились. И вообще, все уже устроено. Я теперь коридорный в господском трактире, по крайней мере до тех пор, пока в Замке не рассмотрят мое дело, а Фрида снова в пивной. Так для Фриды лучше. Не было ей никакого смысла становиться твоей женой. Даже ту жертву, которую она собиралась тебе принести, ты не сумел оценить. Сейчас, правда, эта добрая душа еще временами сомневается, не получилось ли с тобой несправедливо: что, может быть, ты все-таки не был у этих Барнабасовых, и хотя, естественно, никакого даже сомнения не могло быть насчет того, где ты, я все-таки пошел установить это раз и навсегда, потому что после всех волнений Фрида в конце концов заслужила право спокойно спать — и я, разумеется, тоже. Так что я, следовательно, пошел и не только нашел тебя, но, кроме того, еще убедился, что эти девочки бегают за тобой как на веревочке. Особенно эта черная тебя защищала, прямо дикая кошка. Ну, у каждого свой вкус. Но во всяком случае, обход через соседский сад можно было не делать: я эту дорогу знаю.

Итак, это все-таки произошло: это можно было предвидеть, но нельзя было предотвратить.

Фрида ушла от него. Ну это не окончательно, не должно быть, так плохо это не будет. Фриду можно будет отобрать обратно, она легко поддается чужому влиянию, даже влиянию этих помощников, которые считают положение Фриды аналогичным своему, и раз они теперь уходят, то и ее потащили за собой; К. надо будет только появиться перед ней, напомнить ей все, что говорит в его пользу, — и, полная раскаяния, она снова будет его, в особенности если ему как-нибудь удастся оправдать визит к этим девицам успехом, которого он достиг у них. Но несмотря на эти рассуждения, которыми он пытался успокоить себя в отношении Фриды, К. не успокаивался. Еще недавно в разговоре с Ольгой он хвастался Фридой и называл ее своей единственной опорой, — что ж, опора оказалась не самой прочной; чтобы отнять Фриду у К., не понадобилось даже вмешательства кого-то могущественного, хватило и этого не очень аппетитного помощника, этого тела, которое иногда производило такое впечатление, словно оно не совсем живое.

Иеремия уже начал удаляться, К. вернул его.

— Иеремия, — сказал он, — я хочу говорить с тобой совершенно откровенно, ответь и ты мне честно на один вопрос. Мы ведь теперь не состо-

им в отношениях господина и слуги, чему рад не только ты, но и я тоже, так что у нас нет никаких причин друг друга обманывать. Вот я на твоих глазах ломаю прут, который был предназначен для тебя, потому что не из страха перед тобой я выбрал дорогу через сад, а для того, чтобы захватить тебя врасплох и этим прутом тебя пару раз обласкать. Ну уж не обижайся на меня за это, все это уже в прошлом; если бы ты не был для меня слугой, которого мне навязали службы, а просто знакомым, то, хотя твой вид меня иногда немного и раздражал, мы наверняка отлично бы друг с другом поладили. А то, что мы в этом смысле упустили, мы отлично могли бы и теперь наверстать.

— Думаешь? — сказал помощник и, зевая, зажмурил утомленные глаза. — Я, конечно, мог бы объяснить тебе это дело подробнее, но у меня нет времени, мне надо к Фриде, детка ждет меня, она еще не вышла на службу, наверное, чтобы забыться, она хотела сразу кинуться в работу, но я уговорил хозяина дать ей еще немного отдохнуть, и нам все-таки хочется хоть это время провести вместе. А что касается твоего предложения, то у меня, конечно, нет никаких причин тебе врать, но и не больше причин что-то тебе доверять.

Потому что у меня ведь не так, как у тебя. Пока меня связывали с тобой служебные отношения, ты, естественно, был для меня очень важной персоной — не из-за каких-то твоих качеств, а из-за служебного задания — и я бы для тебя все сделал, что бы ты ни пожелал, но теперь мне до тебя дела нет. И это переламывание прута меня не трогает, оно только напоминает мне, какого дикого господина я имел; чтобы расположить меня к тебе, это не подойдет.

— Ты так разговариваешь со мной, — сказал К., — как будто уже абсолютно точно известно, что тебе никогда больше не придется меня опасаться. Но на самом деле ведь это не так. Ты ведь, скорее всего, еще от меня не свободен, так быстро здесь дела не решаются…

— Иногда — еще быстрее, — перебил Иеремия.

— Иногда, — сказал К., — но ничто не указывает на то, что так произошло и в этот раз, по крайней мере, ни у тебя, ни у меня письменного решения на руках нет. Следовательно, рассмотрение еще только идет, и я через мои связи пока что никак не вмешивался, но я это сделаю. И если оно кончится не в твою пользу, то окажется, что ты не очень-то позаботился о том, чтобы твой господин хорошо к тебе относился, так что, может быть, не стоило

даже ломать этот прут. И хоть ты и увел Фриду, от чего тебя сейчас так невероятно распирает гордость, но при всем уважении к твоей персоне (которое у меня есть, даже если у тебя ко мне его уже нет) нескольких моих слов Фриде будет достаточно — я это знаю, — чтобы разорвать ту паутину лжи, которой ты ее опутал. Ведь только ложью можно было сманить у меня Фриду.

— Я твоих угроз не боюсь, — заявил Иеремия. — Ты же не хочешь, чтоб я был у тебя помощником, ты вообще боишься помощников, только со страху ты ударил бедного Артура.

— Возможно, — сказал К. — От этого было не так больно? Возможно, таким способом я еще не раз смогу показать мой страх перед тобой. Я вижу, что быть помощником для тебя не очень-то радостно, а для меня, несмотря на весь мой страх, наоборот, самое развлечение — заставить тебя быть им. Причем на этот раз я позабочусь о том, чтобы получить тебя одного, без Артура; я смогу тогда уделить тебе больше внимания.

— Ты думаешь, я хоть самую малость всего этого боюсь?

— Да, я думаю, — сказал К., — что немного ты, конечно, боишься, а если ты умен, то сильно боишься. Иначе почему же ты до сих пор не ушел

к Фриде? Скажи, ты что — ее любишь?

— Люблю? — удивился Иеремия. — Она — хорошая, умная девушка, бывшая возлюбленная Кламма, следовательно, во всяком случае, достойна уважения. И если она непрерывно просит меня избавить ее от тебя, почему бы мне не сделать ей одолжение, тем более что я и тебе тоже никакого огорчения не причиняю, ты же утешился у этих проклятых барнабасовских.

— Вот теперь я вижу, что ты испугался, — сказал К., — испугался самым жалким образом и пытаешься заморочить мне голову. Фрида просила только об одном: избавить ее от одичавших, похотливых, как псы, помощников; к сожалению, у меня не было времени как следует выполнить ее просьбу, и вот последствия моего упущения.

— Господин землемер! Господин землемер! — закричал кто-то на всю улицу.

Это был Барнабас. Он подбежал, еле переводя дыхание, но не забыл поклониться К.

— Мне удалось, — проговорил он.

— Что удалось? — спросил К. — Ты передал Кламму мою просьбу?

— Не вышло, — сказал Барнабас. — Я очень старался, но это было невозможно; я протиснулся вперед, стоял целый день — хотя меня не

приглашали — так близко у конторки, что один раз писец, которому я загородил свет, даже меня оттолкнул; когда Кламм отрывался от книги, я привлекал к себе внимание — хотя это запрещено, — поднимая руку, пробыл дольше всех в канцелярии, остался там потом уже только один со слугами и очень обрадовался, когда увидел, что Кламм возвращается, но это было не из-за меня, он только быстро посмотрел еще что-то в одной книге и сразу же снова ушел, а я все еще стоял не двигаясь, и под конец слуга почти что вымел меня метлой в дверь. Я признаюсь во всем этом, чтобы ты не был снова недоволен моей работой.

— Что мне от всех твоих стараний, Барнабас, — сказал К., — если они не имели успеха.

— Но я имел успех, — возразил Барнабас. — Когда я вышел из моей канцелярии — я называю ее моей канцелярией, — я увидел, как из внутреннего коридора медленно приближается какой-то господин: кроме него, нигде уже никого не было, ведь уже было очень поздно. Я решил его подождать, это была хорошая возможность еще остаться там, я ведь и вообще лучше бы там остался, чтобы не надо было нести тебе плохое известие. Но и без того стоило подождать этого господина, ведь это был Эрлангер. Ты его не

знаешь? Он один из первых секретарей Кламма. Такой хилый, маленький господин, он немного хромает. Он узнал меня сразу, он славится своей памятью и знанием людей, он только сдвинет брови — и ему этого достаточно, чтобы узнать любого, часто даже — людей, которых он никогда не видел, о которых он только слышал или читал: меня, например, он вряд ли когда-нибудь видел. Но хотя он любого сразу узнает, он сначала спрашивает так, как будто сомневается: «Ты случайно не Барнабас?» — сказал он мне. И потом спросил: «Ты землемера знаешь, да?» И потом сказал: «Это очень кстати, я сейчас еду в господский трактир. Землемер должен прийти ко мне туда. Я живу в комнате номер пятнадцать. Но пусть приходит прямо сейчас. Мне там надо только кое с кем переговорить, и в пять часов утра я уже возвращаюсь. Скажи ему, что у меня к нему очень важный разговор».

Неожиданно Иеремия бросился бежать. Барнабас, из-за своего возбуждения до сих пор почти не обращавший на него внимания, спросил:

— А что хочет Иеремия?

— Опередить меня у Эрлангера, — бросил К.; он уже бежал за Иеремией, догнал его, вцепился ему в руку и спросил:

— Это страсть к Фриде тебя вдруг так охватила? У меня она не меньше, так что мы с тобой пойдем рядом, шаг в шаг.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Перед затемненным господским трактиром стояла маленькая группа людей; у двоих или троих были ручные фонарики, так что некоторые лица можно было различить. К. увидел только одного знакомого — Герштеккера, возницу. Герштеккер встретил его вопросом:

— Ты все еще в деревне?

— Да, — ответил К., — я прибыл надолго.

— А мне это все равно, — сказал Герштеккер, сильно закашлялся и отвернулся к остальным.

Как выяснилось, все ждали Эрлангера. Эрлангер уже приехал, но беседовал пока еще с Момусом, а посетителей начнет принимать позже. Общий разговор крутился вокруг того, что в доме ждать не разрешили и приходится стоять здесь на улице, в снегу. Хотя пока еще и не очень холодно, но все равно это невежливо — ночью, может быть, часами держать посетителей перед домом. Правда, виноват в этом не Эрлангер, он, напротив, господин очень любезный, едва ли об этом подозревает и наверняка очень бы рассердился, если бы ему об этом сообщили. Виновата во всем хозяйка господского трактира, которая в

своем уже болезненном стремлении к изысканности не желала, чтобы в господский трактир приходило сразу много посетителей. «Если уж это необходимо и им непременно нужно приходить, — обычно говорила она, — то ради бога — только по одному». И она добилась того, что посетители, которые вначале ждали прямо в коридоре, затем — на лестнице, потом — в сенях, а под конец — в пивной, в итоге были выдворены на улицу. Но даже и этого ей было мало. Ей было невыносимо в своем собственном доме постоянно находиться, как она выражалась, «в осаде». Ей было непонятно, для чего вообще нужно это хождение посетителей. «Чтобы грязь у крыльца разводить», — сказал как-то в ответ на ее вопрос, видимо, в раздражении один чиновник, но для нее это было очень убедительно, и она охотно это высказывание цитировала. Она хотела — и это уже совпадало с желаниями посетителей, — чтобы напротив господского трактира был построен для них специальный дом ожидания. Приятнее всего ей было бы, если бы и разговоры с посетителями и допросы происходили вне господского трактира, но этому противились чиновники, а когда чиновники всерьез чему-то противились, то, естественно, хозяйке этого было не преодолеть,

хотя во второстепенных вопросах она, благодаря своей неутомимой и по-женски ласковой настойчивости, добивалась многого, установив что-то вроде маленькой тирании. Но было похоже, что эти беседы и допросы хозяйке и дальше придется терпеть в своем доме, так как господа из Замка, находясь в деревне, отказывались по служебным делам покидать господский трактир. Они всегда торопились, бывать в деревне очень не любили, задерживаться в ней дольше, чем было безусловно необходимо, не имели ни малейшей охоты, и поэтому от них нельзя было требовать, чтобы только из уважения к тишине и покою в господском трактире они то и дело тащились со всеми своими бумагами через улицу в какой-то другой дом и теряли таким образом время. Охотнее всего чиновники разбирали бы служебные дела вообще в пивной, или в своих комнатах (по возможности — во время еды), или в кровати перед сном, или утром, когда им было тяжело вставать и хотелось еще поваляться в постели. Напротив, вопрос о возведении дома ожидания, кажется, близился к благоприятному разрешению, правда, чувствительным наказанием для хозяйки было то (над этим немного посмеивались), что как раз дело о постройке дома ожидания потребовало

многочисленных обсуждений и коридоры трактира почти не бывали пусты.

Обо всем этом ожидающие вполголоса переговаривались между собой. К. недоумевал, почему никто не высказывает никаких возражений (хотя недовольства было достаточно) по поводу того, что Эрлангер созвал посетителей среди ночи. Он спросил об этом и получил разъяснение, что за это нужно быть еще очень благодарными Эрлангеру. Ведь он вообще приезжает в деревню исключительно по своей доброй воле, потому что он высокого мнения о своей службе; ведь он мог бы, если бы захотел — и, возможно, это даже более соответствовало бы инструкциям, — послать кого-нибудь из младших секретарей составлять протоколы. Но он по большей части отказывается так делать, хочет сам все видеть и слышать, но для этого уже должен жертвовать своими ночами, так как его служебное расписание времени для поездок в деревню не предусматривает. К. возразил, что ведь и Кламм приезжает в деревню днем и даже остается здесь по нескольку дней; разве Эрлангер — ведь он всего лишь секретарь — более незаменим наверху? Некоторые добродушно усмехнулись, другие озадаченно молчали; этих последних оказалось большинство, и К.,

можно сказать, не ответили. Только один, помедлив, сказал, что, разумеется, Кламм незаменим и в Замке и в деревне.

В это время раскрылась дверь дома и появился Момус в сопровождении двух слуг, которые несли лампы.

— Первыми, — объявил он, — к господину секретарю Эрлангеру будут допущены Герштеккер и К. Оба здесь?

Они отозвались, но еще раньше их со словами «я здесь коридорный» в дом прошмыгнул Иеремия; Момус встретил его усмешкой и дружеским хлопком по плечу. «Надо будет обратить на Иеремию больше внимания», — сказал себе К., сознавая в то же время, что Иеремия, по-видимому, далеко не так опасен, как Артур, который действовал против него в Замке. Возможно, было даже умнее допустить, чтобы они изводили его в качестве помощников, чем позволять им вот так бесконтрольно шнырять вокруг и свободно плести свои интриги, к которым у них, кажется, были особые способности.

Когда К. проходил мимо Момуса, тот сделал вид, будто только теперь узнал его.

— А-а, — проронил он, — тот самый господин землемер, который так неохотно позволяет себя

допрашивать, теперь рвется на допрос. Со мной тогда это прошло бы проще. Ну, конечно, выбрать нужные допросы — это сложно.

Когда К. в ответ на это обращение хотел остановиться, Момус продолжил:

— Идите, идите! Мне ваши ответы нужны были тогда, а не сейчас.

Тем не менее К., раздраженный поведением Момуса, сказал:

— Вы думаете только о себе. А ради одной только службы я на вопросы не отвечаю — ни тогда, ни сейчас.

Момус удивился:

— О ком же мы должны думать? Кто же тут еще есть? Идите!

В сенях их встретил слуга и повел уже знакомой К. дорогой по двору, через открытый вход и затем — в нижний, шедший несколько под уклон коридор. В верхних этажах помещались, очевидно, только высшие чиновники, а все секретари, в том числе и Эрлангер, хотя он был среди них одним из старших, жили в этом коридоре. Слуга потушил свой фонарь, так как тут горел яркий электрический свет. Все было миниатюрно, но изысканно. Пространство использовалось максимально. Высоты коридора едва хватало, чтобы

идти не сгибаясь. Двери по бокам коридора почти примыкали одна к другой. Боковые стены не доходили до потолка — очевидно, из соображений вентиляции, так как комнатки в этом глубоком, подвального типа коридоре, вероятно, не имели окон. Но из-за этих не до конца доведенных стен в коридоре стоял шум, неизбежно проникавший также и в комнаты. По-видимому, большинство комнат было занято; во многих еще не спали, слышались голоса, стук молотка, звон стаканов. Однако впечатления особого веселья не было. Голоса были приглушены, иногда с трудом можно было разобрать какое-нибудь слово, но и это, похоже, были не разговоры, а скорей всего, кто-то диктовал или читал что-то вслух; как раз в тех комнатах, из которых доносился звон стаканов и тарелок, не слышно было ни слова, а удары молотка напомнили К. чьи-то рассказы о том, что многие чиновники для отдыха от непрерывного умственного напряжения занимаются иногда столярным делом, точной механикой и тому подобным. Сам коридор был пуст, только перед одной дверью сидел бледный, худой, высокий господин в шубе, из-под которой выглядывало нижнее белье; по-видимому, в комнате ему стало слишком душно, он выбрался в коридор и читал

тут газету, но делал это невнимательно, часто зевая, отрывался от чтения, наклонялся вперед и смотрел в даль коридора, — возможно, ждал какого-то посетителя, которого он пригласил и который долго не являлся. Когда они прошли мимо высокого господина, слуга сказал Герштеккеру:

— Оглобля!

Герштеккер кивнул.

— Давно он внизу не появлялся, — сказал он.

— Очень давно, — подтвердил слуга.

Наконец они подошли к двери, которая ничем не отличалась от остальных, и, однако, за ней, как сообщил слуга, находился Эрлангер. Слуга с помощью К. забрался ему на плечи и через щель вверху заглянул в комнату.

— Он лежит на кровати, — сообщил слуга, спрыгивая, — правда, в одежде, но я все-таки думаю, что он дремлет. На него нападает иногда такая вот усталость здесь в деревне, когда меняется распорядок жизни. Придется подождать. Если он проснется, он позвонит. Правда, уже бывало так, что он все свое пребывание в деревне просыпал, а проснувшись, сразу же должен был ехать обратно в Замок. Ведь то, что он здесь делает, это добровольная работа.

— Уж лучше бы он теперь спал до конца, —

сказал Герштеккер, — потому что если, когда он проснется, у него еще останется немного времени на работу, то он будет очень недоволен, что спал, будет стараться все быстрей решить и, считай, ничего и сказать нельзя будет.

— Вы пришли насчет сдачи подвод для строительства? — спросил слуга.

Герштеккер кивнул, отвел слугу в сторону и начал тихо убеждать его в чем-то, но слуга его почти не слушал и, глядя куда-то поверх Герштеккера (он был больше чем на полголовы выше), серьезно и медленно приглаживал волосы.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

И тогда К., бесцельно глазевший по сторонам, далеко на повороте коридора увидел Фриду; она делала вид, что не узнает его, только смотрела на него застывшим взглядом; в руке она несла поднос с посудой. Он сказал слуге, который, однако, даже не обратил на него внимания (казалось, чем больше с этим слугой говорили, тем более отсутствующим становилось его лицо), что он сейчас вернется, и бросился к Фриде. Подбежав к ней, он схватил ее за плечи так, как будто снова завладел своим имуществом, и задал несколько незначащих вопросов, испытующе вглядываясь ей в глаза. Но ее отчужденность почти не ослабла, в задумчивости она несколько раз переставила по-новому посуду на подносе и спросила:

— Что ты, собственно, от меня хочешь? Иди к этим… ну, ты-то знаешь, как они называются. Ты и пришел-то прямо от них, по тебе видно.

К. быстро переменил тему; объяснение не должно было произойти так вдруг и начаться с самого худшего, с самого для него невыгодного.

— Я думал, ты в пивной, — сказал он.

Фрида удивленно посмотрела на него и потом

мягко провела той рукой, которая у нее была свободна, по его лбу и по щеке. Казалось, она забыла черты его лица и хотела таким способом снова вызвать их в памяти; в затуманенном взгляде ее глаз тоже было выражение напряженного вспоминания.

— Меня снова приняли в пивную, — медленно проговорила она так, словно то, что она говорила, было неважно, но за этими словами она вела еще один разговор с К., и он был важнее. — Эта работа не для меня, этим может заниматься и любая другая, если она умеет стелить постель и делать приветливое лицо и не боится приставания гостей, а даже их вызывает, — любая такая может работать в комнатах. Но в пивной — там все немножко не так. А меня сразу же снова приняли в пивную, хотя я тогда не очень почетно оттуда ушла; правда, у меня теперь протекция. Но хозяин был счастлив, что у меня протекция: ему легко было снова меня принять. Им даже пришлось уговаривать меня принять эту должность, вот как было; если ты задумаешься, о чем мне напоминает пивная, ты это поймешь. В конце концов я приняла должность. Здесь я только временно. Пепи попросила не позорить ее, не заставлять сразу уходить из пивной, и, так как она

все-таки старалась и все, что могла, выполняла — насколько ей позволяли способности, мы дали ей срок двадцать четыре часа.

— Замечательно вы все устроили, — похвалил К., — только когда-то ты ради меня ушла из пивной, а теперь, когда у нас скоро свадьба, ты снова туда возвращаешься?

— Свадьбы не будет, — проговорила Фрида.

— Потому что я был неверен? — спросил К.

Фрида кивнула.

— Послушай, Фрида, — сказал К., — об этой так называемой неверности мы уже не один раз говорили, и каждый раз ты в конце концов вынуждена была признать, что это было несправедливое подозрение. Но с тех пор с моей стороны ничего не изменилось, все осталось так же невинно, как было, и иначе и не может быть. Следовательно, должно было что-то измениться с твоей стороны — в результате чьих-то нашептываний или чего-то еще. В любом случае ты поступаешь со мной несправедливо, потому что ведь как обстоит с этими двумя девушками? Одна из них, брюнетка, — мне почти стыдно вот так, в подробностях оправдываться, но ты меня вынуждаешь, — так вот, брюнетка мне неприятна, по-видимому, не меньше, чем тебе; когда я

хоть как-то могу держаться от нее в стороне, я это делаю, да она к тому же и облегчает это: нельзя быть скромней, чем она.

— Да, — выкрикнула Фрида, слова вырывались у нее словно бы против ее воли; К. был рад, что она так отвлеклась, она была не такой, какой хотела быть, — считай ее скромной, самую бесстыжую из всех ты называешь скромной, и ты действительно так думаешь, как ни трудно в это поверить, ты не притворяешься, я это знаю. Хозяйка предмостного трактира говорит о тебе: «Я его терпеть не могу, но и бросить тоже не могу, ведь когда видишь маленького ребенка, который, еще не умея как следует ходить, отваживается заходить далеко, тоже невозможно сдержаться и приходится вмешиваться».

— Прислушайся на этот раз к ее поучениям, — сказал К., улыбаясь, — но эту девушку — скромная она или бесстыжая — мы можем оставить в покое, я не хочу о ней слышать.

— Но почему ты называешь ее скромной? — упрямо спросила Фрида; К. расценил такую заинтересованность как благоприятный для него знак. — Ты это проверил или ты хочешь этим принизить другую?

— Ни то ни другое, — ответил К., — я называю

ее скромной из благодарности, потому что она вела себя так, что мне было легко не замечать ее, ведь если бы она хоть пару раз со мной заговорила, я уже не решился бы снова пойти туда, а это было бы для меня большой потерей, потому что я должен ходить туда ради нашего с тобой будущего, как ты знаешь. И поэтому же я должен разговаривать и с другой девушкой, которую я хоть и ценю за ее трудолюбие, осмотрительность и самоотверженность, но о которой уже никто не сможет утверждать, что она обольстительна.

— Слуги придерживаются другого мнения, — заметила Фрида.

— Об этом, так же как, наверное, и о многом другом, — сказал К. — И значит, по-твоему, если они самцы, то и я неверен?

Фрида промолчала и не возразила, когда К. забрал у нее поднос, поставил на пол, взял ее под руку и начал медленно ходить с ней взад-вперед на маленьком пространстве.

— Тебе неизвестно, что такое верность, — сказала она, как бы защищаясь от его близости. — И что бы там ни было у тебя с этими девками, это ведь не самое главное; то, что ты вообще ходишь в эту семью и возвращаешься с запахом их комнаты в одежде, — уже невыносимый позор для

меня. И ты убегаешь, ничего не говоря, из школы, и даже остаешься у них на полночи. А когда за тобой приходят, ты выпускаешь этих девок, и они тебя заслоняют, прямо грудью заслоняют, особенно эта несравненная скромница. Ты тайком крадешься из их дома — еще, пожалуй, для того, чтобы не повредить репутации этих девок, репутации таких девок! Нет, об этом мы больше не будем говорить!

— Об этом — нет, — согласился К., — кое о чем другом, Фрида. Об этом и говорить-то нечего. Почему я должен туда ходить, ты знаешь. Мне это нелегко, но я пересиливаю себя. Тебе бы не следовало еще больше затруднять мне это. Сегодня я думал только на минутку сходить туда и узнать, не пришел ли наконец Барнабас, который уже давно должен был принести мне одно важное сообщение. Его еще не было, но он, как меня уверили — и это было похоже на правду, — должен был очень скоро прийти. Его могли бы послать вслед за мной в школу, но я этого не хотел, чтобы не обременять тебя его присутствием. Часы шли, а он, к сожалению, не приходил. Зато пришел кое-кто другой, которого я ненавижу. Мне совсем не хотелось, чтобы он меня выслеживал, и поэтому я пошел через соседский сад, но я не

собирался прятаться от него, а открыто пошел потом к нему на улице с таким — признаюсь в этом — очень гибким ивовым прутом. Это — все, и, таким образом, об этом больше говорить нечего, но вот кое о чем другом… как там все-таки обстоит дело с этими помощниками, упоминать о которых мне почти так же противно, как тебе — о той семье. Сравни твои с ними отношения с тем, как я вел себя в этой семье. Я понимаю твое отвращение к этой семье и готов его разделить. Я к ним хожу только ради дела, иногда мне даже кажется, что я поступаю с ними нехорошо, использую их. А взять тебя с этими помощниками! Ты даже не пыталась отрицать, что они тебя преследуют, и призналась, что тебя к ним тянет. А я не рассердился на тебя за это, я понял, что тут замешаны такие силы, с которыми тебе не справиться, я был счастлив уже тем, что ты, по крайней мере, сопротивляешься, я помогал тебе защищаться, — и только потому, что я на несколько часов отлучился, надеясь на твою верность и, конечно, на то, что дом надежно заперт и помощники окончательно изгнаны (боюсь, что я все еще недооценивал их), — только потому, что я на несколько часов отлучился, и этот Иеремия, между нами говоря, не очень здоровый,

потрепанный парень, имел наглость подойти к окну, — только поэтому, Фрида, я должен тебя потерять и слышать вместо приветствия «свадьбы не будет»? Ведь это, в сущности, я мог бы делать упреки, а я их не делаю, все еще не делаю.

И снова К. показалось, что хорошо будет немного отвлечь Фриду, и он попросил ее принести что-нибудь поесть, потому что он с самого полудня ничего не ел. Фрида, тоже явно испытывая облегчение от этой просьбы, кивнула и побежала что-нибудь принести, но не по коридору, не туда, где, как предполагал К., была кухня, а вбок, на несколько ступенек вниз. Вскоре она принесла тарелку с нарезанной колбасой и бутылку вина, но это, по-видимому, были остатки чьей-то еды: чтобы это было незаметно, отдельные куски были наскоро снова разложены, лежала даже забытая колбасная кожура, а бутылка была на три четверти пуста. Однако К. ничего на это не сказал и с хорошим аппетитом принялся за еду.

— Ты была на кухне? — спросил он.

— Нет, в моей комнате, — ответила она, — у меня здесь внизу комната.

— Ты бы лучше взяла меня с собой, — попросил К. — Я спущусь туда, хоть поем сидя.

— Я принесу тебе стул, — сказала Фрида и уже

хотела идти.

— Спасибо, — поблагодарил К. и удержал ее, — я не буду спускаться, и стул мне уже не нужен.

Фрида, низко опустив голову, пыталась освободиться от его руки и кусала губы.

— Ну да, он внизу, — сказала она. — Ты ожидал чего-то другого? Он лежит в моей кровати, он простудился на морозе, его знобит, он почти не ел. По существу, все это твоя вина: если бы ты не выгнал помощников и не бегал бы в эту семью, мы сейчас могли бы спокойно сидеть в школе. Ты сам разрушил наше счастье. Ты думаешь, Иеремия, пока он был на службе, посмел бы меня увести? Тогда ты вообще ничего не понимаешь в здешних порядках. Он хотел ко мне, он мучился, он подстерегал меня, но это была только игра — как голодный пес играет, но все-таки не смеет прыгнуть на стол. И точно так же я. Меня тянуло к нему, он мой товарищ по детским играм (мы с ним вместе играли на склонах замковой горы — чудное время, ты никогда не спрашивал меня о моем прошлом), но все это ничего не решало, пока Иеремию связывала служба, потому что ведь я, как твоя будущая жена, не забывала своего долга. Но потом ты выгнал помощников и еще хвастался этим, как будто сделал что-то для меня;

впрочем, в каком-то определенном смысле это так. С Артуром ты достиг того, чего хотел — разумеется, только временно, — он нежен, у него нет не боящейся никаких трудностей страсти Иеремии, и потом ты же тогда ночью ударом кулака (это был удар и по нашему счастью) почти сломал его, он убежал в Замок жаловаться, и если даже он скоро и возвратится, все-таки сейчас его нет. А Иеремия здесь. На службе он пугается, когда господин глазом моргнет, но вне службы он ничего не боится. Он пришел и взял меня; покинутая тобой, оказавшись в его руках, в руках старого друга, я не могла устоять. Я не открывала дверей школы — он разбил окно и вытащил меня. Мы убежали сюда; хозяин ценит его, и для гостей тоже не может быть ничего лучше, чем такой коридорный, так что нас приняли; не он у меня живет, а это наша общая комната.

— Несмотря на все это, — сказал К., — я не жалею, что выгнал помощников со службы. Если все было так, как ты описываешь, и твоя верность, следовательно, была обусловлена только служебной связанностью помощников, тогда хорошо, что все кончилось. Счастье супружеской жизни между двух хищников, которые подчиняются только кнуту, было бы не слишком велико. Тогда

я благодарен и этой семье за ее неумышленный вклад в то, чтобы нас разлучить.

Они замолчали и снова начали ходить взад-вперед, причем нельзя было понять, кто из них теперь это начал. Фрида, шагая рядом с К., казалось, была недовольна, что он не взял ее снова под руку.

— И все было бы в порядке, — продолжал К., — и мы могли бы расстаться; ты пошла бы к твоему господину Иеремии, которого ты, учитывая, что он простужен, наверное, еще со школьного сада, уже слишком надолго оставила одного, а я — в школу или, поскольку я теперь один и без тебя мне там делать нечего, — еще куда-нибудь, где меня принимают. И если я все еще медлю, то это потому, что у меня есть серьезные основания все-таки немного сомневаться в том, что ты мне рассказала. На меня Иеремия произвел прямо противоположное впечатление. Пока он был на службе, он приставал к тебе, и я не думаю, что служба помешала бы ему рано или поздно всерьез на тебя наброситься. Но теперь, с тех пор, как он считает службу законченной, положение изменилось. Извини, но я объясняю себе это следующим образом: с той минуты, как ты перестала быть невестой его господина, ты уже

не представляешь для него такого соблазна, как раньше. Хоть ты и подруга его детских лет, но он, по-моему, — я понял его, собственно, только после нашего короткого разговора сегодня ночью, — придает не слишком большое значение подобным сантиментам. Я не знаю, почему он тебе кажется такой страстной натурой. Его образ мыслей мне представляется скорее даже чересчур трезвым. Он получил от Галатера какое-то, касающееся меня и, возможно, не слишком для меня радостное задание, его он старается выполнить с известной служебной страстью (которую я готов за ним признать, это здесь не такая уж редкость), сюда же относится и то, что он разрушает наши отношения; возможно, он пытался это сделать разными способами, один из них состоял в том, что он старался тебя завлечь своими похотливыми томленьями, другой — тут его поддерживала хозяйка — в том, что он сочинял басни о моей неверности; его замысел удался (не исключено, что этому помог и некий окружавший его ореол воспоминаний о Кламме), свой пост он, правда, потерял, но, возможно, как раз в тот момент, когда он уже в нем больше не нуждался, — и вот он пожинает плоды своих трудов и вытаскивает тебя из окна школы, но на этом его работа закончена,

служебная страсть оставляет его, он чувствует усталость, он предпочел бы быть на месте Артура, который совсем не жалуется, а добывает себе похвалу и новые задания, но кто-то должен же был остаться, чтобы следить за дальнейшим развитием событий. Так что заниматься тобой для него просто несколько обременительная обязанность. Любви тут нет и следа, он мне прямо в этом признался; как возлюбленная Кламма ты для него, разумеется, достойна уважения, поселиться в твоей комнате и временами чувствовать себя маленьким Кламмом ему наверняка очень приятно, но это и все, сама ты теперь для него ничего не значишь; что он тебя здесь поместил — это для него только приложение к его главному заданию, а чтобы тебя не встревожить, он и сам здесь остался, но только временно, пока не получит новые известия из Замка и ты не вылечишь его простуду.

— Как ты на него клевещешь! — воскликнула Фрида и стукнула друг об друга свои маленькие кулачки.

— Клевещу? — подхватил К. — Нет, клеветать на него я не собираюсь. Я, может быть, к нему несправедлив, — да, это, конечно, возможно. То, что я о нем сказал, можно истолковать и иначе,

совсем уж на поверхности это, разумеется, не лежит, но — клеветать? Ведь клеветать можно было бы только для того, чтобы бороться против твоей любви к нему. Будь в этом необходимость и будь клевета подходящим средством, я не задумался бы его оклеветать. Никто не мог бы меня за это осудить: он с помощью того, кто дал ему это задание, получил такое преимущество передо мной, что я, будучи совершенно один и предоставлен самому себе, имел бы право немного и поклеветать. Это было бы сравнительно безобидное и в конечном счете довольно беспомощное средство защиты. Так что не надо сжимать кулаки.

И К. взял руку Фриды в свою; Фрида попыталась отнять у него руку, но — с усмешкой и не прикладывая больших усилий.

— Но мне нет необходимости клеветать, — продолжал К., — потому что ты ведь его не любишь, тебе это только кажется, и ты будешь мне благодарна, если я избавлю тебя от этого заблуждения. Подумай сама: ведь если бы кто-нибудь захотел увести тебя от меня — не силой, а по возможности точным расчетом, — то он должен был бы действовать именно через этих помощников. С виду добрые, веселые, дурашливые, безответственные, слетевшие сверху, из Замка ребята, прибавь сюда

еще толику детских воспоминаний, — ведь уже все это очень достойно любви, особенно если учесть, что я во всем чуть ли не полная им противоположность; к тому же я все время убегаю по делам, которые тебе не вполне понятны, которые тебя раздражают, которые сводят меня с ненавистными тебе людьми, и что-то от этого — при всей моей невиновности — переносится и на меня. В целом все это просто-напросто коварное, хотя и очень умное использование недостатков наших отношений. Любые отношения имеют свои недостатки, тем более — наши, ведь мы из совершенно разных миров, и с тех пор, как мы узнали друг друга, жизнь каждого из нас пошла по совершенно новому пути, поэтому мы чувствуем себя еще неуверенно, ведь все это слишком ново. Я не говорю о себе, это здесь не так важно, ведь, в сущности, для меня с тех пор, как ты в первый раз на меня посмотрела, все это — сплошные подарки, а привыкнуть к тому, что тебе делают подарки, не так уж трудно. Но ты, не говоря уже обо всем прочем, была оторвана от Кламма; я не в состоянии вполне оценить, что это значит, но некоторое представление об этом я все-таки уже получил; начались шатания, невозможно было разобраться в себе, и хотя я всегда был готов

тебя понять, но все-таки я не всегда был рядом, а когда я был рядом, то тебя порой удерживали твои мечтания или нечто еще более живое, как, например, эта хозяйка, короче, бывали такие периоды, когда твой взгляд отворачивался от меня, тебя влекло что-то такое неопределенное — бедное дитя, — и в такие моменты достаточно было поставить в направлении твоего взгляда подходящих людей, и ты из-за них уже обо всем забывала, поддавалась наваждению; верила в эти мгновения в призраки, в старые воспоминания, в то, что эта, в сущности, ушедшая и все дальше уходящая прошлая жизнь — все еще твоя нынешняя, настоящая жизнь. Ошибка, Фрида, не что иное, как последнее и, если разобраться, жалкое затруднение на пути к нашему окончательному соединению. Приди в себя, опомнись; даже если ты думаешь, что помощники посланы Кламмом (а это совсем не так, они пришли от Галатера), и даже если, используя это наваждение, они смогли тебя так заворожить, что ты даже в их грязи и в их распутстве думаешь найти следы Кламма, — так же как кому-то может показаться, что он видит в куче навоза потерянный когда-то драгоценный камень, хотя в действительности он не смог бы его там найти, даже если бы он там

и был, — то все-таки они всего лишь обычные парни вроде тех слуг в хлеву, разве что у них нет того здоровья: немного свежего воздуха — и они уже больны и валятся в кровати, которые, правда, они со свойственной слугам пройдошливостью умеют отыскивать.

Фрида положила голову на плечо К.; обнявшись, они молча ходили взад-вперед.

— Если бы мы, — медленно, спокойно, почти умиротворенно сказала Фрида (так, словно знала, что ей отпущено совсем немного времени отдыхать на плече К., но этим временем она собиралась насладиться до конца), — если бы мы сразу, в ту же ночь, уехали, мы сейчас могли бы быть где-нибудь в безопасности, всегда вместе, твоя рука — всегда рядом, за нее можно ухватиться; мне так нужно, чтобы ты был рядом; с тех пор, как я узнала тебя, я так одинока, когда тебя нет рядом; поверь, единственное, о чем я мечтаю, — это чтобы ты был рядом, больше ни о чем.

В этот момент в боковом ответвлении коридора кто-то вскрикнул; это был Иеремия, он стоял там на нижней ступеньке, на нем была только рубашка, но он накинул на себя платок Фриды. Что за вид у него был: волосы всклочены, жидкая борода словно вымокла под дождем, в выпучен-

ных глазах мука, мольба и упрек, смуглые щеки покраснели, но так, словно были сделаны из фарша, голые ноги дрожали от холода, и вместе с ними дрожала длинная бахрома платка; он выглядел как убежавший из лечебницы больной, при виде которого можно думать только о том, как уложить его обратно в постель, — и ни о чем больше. Так восприняла это и Фрида, она выскользнула из-под руки К. и мгновенно оказалась внизу, около помощника. Ее близость, заботливость, с которой она поплотнее укутала его в платок, и поспешность, с которой хотела сразу же увести обратно в комнату, казалось, уже сделали его немного сильнее; он как будто только теперь узнал К.

— А-а, господин землемер, — сказал он, успокоительно поглаживая по щеке Фриду, которая больше не хотела допускать никаких разговоров. — Простите, что помешал. Но мне очень нездоровится, это все-таки извиняет. Мне кажется, у меня жар, мне надо выпить чаю и пропотеть. Проклятая решетка в школьном саду, я ее, наверное, еще попомню; и сейчас еще бегал тут, уже простуженный, среди ночи. Вот так, не замечая, жертвуешь своим здоровьем ради вещей, которые поистине этого не стоят. Но вы, господин

землемер, не должны допустить, чтобы я вам помешал; пойдемте к нам в комнату, навестите больного, заодно и скажете Фриде то, что еще осталось сказать. Когда двое, которые привыкли друг к другу, расходятся, им, естественно, в последний момент так много надо друг другу сказать, что третьему, в особенности если он лежит в кровати и ждет обещанного чая, невозможно это понять. Но пойдемте же, я буду лежать совсем тихо.

— Хватит, хватит, — сказала Фрида и потащила его за руку. — У него жар, он сам не знает, что говорит. А ты, К., не ходи с нами, я прошу тебя. Это моя с Иеремией комната, или скорее даже только моя, и я запрещаю тебе идти с нами. Ты преследуешь меня, ах, К., зачем ты преследуешь меня. Никогда, никогда я не вернусь к тебе, я вся дрожу, лишь только подумаю о такой возможности. Иди же к своим девкам, мне рассказывали, как они сидят в одних рубашках по обе стороны от тебя на скамейке у печи и, когда кто-нибудь за тобой приходит, они на него набрасываются. Там ты, наверное, дома, раз тебя так сильно туда тянет. А я тебе всегда мешала — без особого успеха, но все-таки мешала; теперь это в прошлом, ты свободен. Завидная жизнь тебя ожидает; из-за одной

тебе, может быть, придется немного побороться со слугами, но что касается второй, то ни на небе, ни на земле не найдется никого, кто пожалел бы отдать ее тебе. Союз заранее благословлен. Не надо ничего говорить, конечно, ты способен опровергнуть все на свете, но в результате оказывается, что вообще ничего не опровергнуто. Подумай только, Иеремия, он все опроверг!

Они посмотрели друг на друга, понимающе покачали головами и усмехнулись.

— Но, — продолжала Фрида, — даже если бы он все опроверг, чего бы он этим достиг, какое мне до этого дело? Что бы у него там с ними ни происходило — это целиком их и его дело, а не мое. Мое дело ухаживать за тобой до тех пор, пока ты снова не будешь здоров, как когда-то, когда этот К. еще не начал тебя мучить из-за меня.

— Так вы правда не пойдете с нами, господин землемер? — спросил Иеремия, но тут Фрида уже окончательно его утащила, даже не обернувшись больше к К.

Внизу видна была низенькая дверь, еще ниже, чем двери в коридоре (не только Иеремии, но и Фриде пришлось, входя, нагнуться); внутри, кажется, было светло и тепло, некоторое время там еще слышалось перешептывание: должно быть,

любовные уговоры, чтобы заставить Иеремию лечь в постель, потом дверь закрылась.

Только теперь К. заметил, как тихо стало в коридоре, — не только здесь, в этой его части, где они ходили с Фридой и которая, по-видимому, относилась к хозяйственным помещениям, но и во всем этом длинном коридоре с такими недавно оживленными комнатами. Значит, господа наконец все-таки заснули. К. тоже очень устал; возможно, из-за этой усталости он не защищался от Иеремии так, как надо было. Возможно, было бы умнее последовать примеру Иеремии, который явно преувеличивал свою простуду (он был жалок не от простуды, он таким уродился, и этого не выгнал бы самый целебный чай), — целиком последовать примеру Иеремии, выставить точно так же напоказ свою действительно большую усталость, сесть прямо тут в коридоре на пол — что было бы уже само по себе большим облегчением — и немного подремать, и тогда, может быть, о нем бы немного и позаботились. Только не прошло бы это так удачно, как у Иеремии, который в такой борьбе за сострадание наверняка и, очевидно, по праву победил бы — да, видимо, и во всяком другом состязании. К. так устал, что раздумывал, не попытаться ли ему зайти в одну

из этих комнат — ведь многие наверняка пустовали — и выспаться на какой-нибудь роскошной кровати. Это, как он считал, могло бы многое ему компенсировать. И что выпить на сон грядущий у него уже есть. На подносе, который Фрида оставила на полу, был маленький графинчик с ромом. Не убоявшись трудностей обратного пути, К. опустошил его.

Теперь он, по крайней мере, почувствовал себя достаточно крепким, чтобы предстать перед Эрлангером. Он поискал дверь комнаты Эрлангера, но так как ни слуги, ни Герштеккера уже не было видно, а все двери были одинаковые, найти ее он не мог. Но он полагал, что помнит, в каком примерно месте коридора была эта дверь, и решил открыть одну, которая, по его мнению, скорей всего, и была искомой. Такая попытка не могла быть слишком опасной: если это комната Эрлангера, тот, надо думать, примет его, если это комната кого-то другого, то ведь можно просто извиниться и уйти, а если обитатель спит, что наиболее вероятно, то визит К. вообще останется незамеченным; плохо могло выйти только в том случае, если бы комната оказалась пустой, потому что тогда К. вряд ли смог бы устоять перед искушением улечься в кровать и спать до

бесконечности. Он еще раз посмотрел вправо и влево, не идет ли все-таки по коридору кто-нибудь, кто мог бы дать ему справку и избавить от ненужного риска, но длинный коридор был тих и пуст. Тогда К. послушал у двери — и тут никого. Он постучался так тихо, что спящего это не могло разбудить, и, когда в ответ ничего не последовало, максимально осторожно открыл дверь. Но тут его встретил слабый вскрик.

Это была маленькая комната, которую больше чем наполовину занимала широкая кровать; на ночном столике горела электрическая лампа, рядом с ней стояла дорожная сумка. В кровати кто-то, совершенно скрытый под одеялом, беспокойно пошевелился и прошептал в щель между одеялом и простыней:

— Кто это?

Теперь К. уже не мог просто так уйти; недовольно смотрел он на роскошную, но, к сожалению, непустую кровать, потом вспомнил про вопрос и назвал свое имя. Оно, кажется, произвело хорошее впечатление; человек в кровати немного стянул одеяло с лица, однако — опасливо, готовый сразу же снова накрыться с головой, если бы снаружи что-нибудь оказалось не так. Но затем он решительно откинул одеяло и сел. Опреде-

ленно, это был не Эрлангер. Это был маленький, хорошо выглядевший господин, лицо которого с детски круглыми щеками и по-детски веселыми глазами было в какой-то мере противоречиво из-за того, что высокий лоб, острый нос, тонкие, не желавшие смыкаться губы, почти сглаженный подбородок — были совсем не детские, а выдавали надменную работу мысли. По-видимому, именно довольство всем этим, довольство самим собой сберегло ему немалый остаток здоровой детскости.

— Вы знаете Фридриха? — спросил он.

К. ответил отрицательно.

— А он вас знает, — сообщил господин, усмехаясь.

К. кивнул: в людях, которые его знали, недостатка не было, это даже было одним из главных препятствий на его пути.

— Я его секретарь, — представился господин, — мое имя Бюргель.

— Извините, — сказал К. и взялся за ручку двери, — я, к сожалению, спутал вашу дверь с другой. Я ведь вызван к секретарю Эрлангеру.

— Какая жалость, — огорчился Бюргель. — Не то, что вы вызваны куда-то еще, а то, что вы спутали двери. Я ведь, если уж меня разбудили,

совершенно точно больше не засну. Ну это, однако, не должно так уж сильно вас опечалить, это мое личное несчастье. И потом, почему здесь не запираются двери, верно? На это, правда, есть своя причина: по одному старому постановлению двери секретарей всегда должны быть открыты. Но столь буквально это тоже, конечно, не следовало бы понимать.

Бюргель вопросительно и весело смотрел на К.; хоть он и жаловался, но выглядел он совсем неплохо отдохнувшим; таким усталым, как К., Бюргель, наверное, вообще никогда не был.

— Куда же вы собираетесь теперь идти? — спросил Бюргель. — Сейчас четыре часа. Всякого, к кому бы вы ни явились, вам пришлось бы разбудить, но не всякий так привык к помехам, как я, не всякий относится к этому так спокойно, секретари — народ нервный. Так что оставайтесь пока. Здесь начинают вставать около пяти часов, и тогда вам будет всего удобнее явиться на вашу аудиенцию. Так что вы, пожалуйста, отпустите наконец ручку двери и сядьте куда-нибудь; место здесь, правда, ограничено, всего удобнее, если вы сядете сюда, на край кровати. Вы удивляетесь, что у меня здесь нет ни стула, ни стола? Ну, у меня был выбор: либо получить полную

обстановку с узкой гостиничной кроватью, либо эту большую кровать и больше ничего, кроме умывальника. Я выбрал большую кровать: как-никак в спальне все-таки главное — кровать! Ах, для того, кто может улечься и хорошо поспать, для хорошего сони такая кровать должна быть поистине богатством. Но и мне (я ведь, не имея возможности спать, постоянно утомлен) она приносит облегчение, я провожу в ней большую часть дня, разбираю в ней всю корреспонденцию, веду допросы посетителей. Вполне хорошо проходят. Посетителям, правда, негде сесть, но они это переживут, ведь им и самим приятнее, когда они стоят и протоколист себя хорошо чувствует, чем когда они удобно сидят и на них при этом орут. Так что могу предоставить только вот это место на краю кровати, но это — не рабочее место и предназначено оно только для ночных бесед. Однако вы все молчите, господин землемер?

— Я очень устал, — сказал К.; на предложение сесть он сразу же, грубо, без всякого почтения уселся на кровать и облокотился на спинку.

— Естественно, — кивнул, смеясь, Бюргель, — здесь все устали. К примеру, работа, которую я вчера — и уже сегодня проделал, — была не маленькая. Это, конечно, совершенно исключено,

чтобы я теперь заснул, но если такое наиневероятнейшее событие все же произойдет и я еще при вас засну, то, пожалуйста, ведите себя тихо, и дверь, пожалуйста, тоже не открывайте. Но не бойтесь, я определенно не засну — в лучшем случае на каких-нибудь пару минут. Дело, видите ли, в том, что я (вероятно, потому, что я уже так привык к хождению посетителей) все-таки легче всего засыпаю, когда я в чьем-либо обществе.

— Так вы спите, пожалуйста, господин секретарь, — предложил К., обрадованный этим заявлением, — и я тогда, с вашего позволения, тоже немного вздремну.

— Нет-нет, — засмеялся снова Бюргель, — чтобы мне заснуть, одного приглашения, к сожалению, недостаточно, — только в ходе разговора может представиться для этого возможность: меня верней всего усыпляет разговор. Да, на нашей работе нервы расшатываются. Вот я, например, — секретарь по связям. Вы не знаете, что это такое? Ну, я осуществляю теснейшую связь, — при этом он с невольно прорвавшейся веселостью быстро потер руки, — между Фридрихом и деревней; я осуществляю связь между его замковыми и деревенскими секретарями, нахожусь большей частью в деревне, но не постоянно: в любой мо-

мент я должен быть готов ехать наверх в Замок — видите эту дорожную сумку? — беспокойная жизнь, не всякому подойдет. Правда, с другой стороны, надо сказать, что без такого рода работы я теперь уже не смог бы: всякая другая мне показалась бы пресной. А как ваше землемерство?

— Я этой работы не делаю, я не землемером буду работать, — ответил К.; занятый своими мыслями, он слушал не очень внимательно; собственно, он мечтал только о том, чтобы Бюргель заснул, но даже и это шло лишь от некоего чувства долга по отношению к самому себе, в глубине души он, кажется, знал, что минута, когда Бюргель заснет, еще бесконечно далека.

— Это удивительно, — с живостью вскинул голову Бюргель и вытащил из-под одеяла блокнот, чтобы что-то записать. — Вы — землемер и не имеете землемерной работы.

К. механически кивнул; вытянув левую руку поверх спинки кровати, он положил на нее голову: он уже по-всякому пытался устроиться, и это положение было самым удобным, теперь он уже мог немного лучше вслушаться в то, что говорил Бюргель.

— Я готов, — продолжал Бюргель, — слушать дальше об этом деле. Ведь у нас здесь совершенно

определенно не может быть такого положения, чтобы квалифицированные кадры оставались неиспользованными. И вам ведь тоже должно быть обидно, вы разве от этого не страдаете?

— От этого я страдаю, — медленно произнес К. и усмехнулся про себя, потому что как раз теперь он от этого не страдал ни в малейшей мере.

Предложение Бюргеля произвело на него слабое впечатление. Оно было абсолютно дилетантским. Не зная ничего об обстоятельствах, сопутствовавших вызову К., о трудностях, с которыми при этом столкнулись в общине и в Замке, об осложнениях, которые возникли — или якобы возникли — уже во время пребывания здесь К., — ничего обо всем этом не зная и даже не пытаясь сделать вид, что он, по крайней мере, имеет об этом хоть какое-то представление (в отношении секретаря это должно было бы приниматься за аксиому), он вызывается одним мановением руки, с помощью своего тощего блокнотика навести в этом деле там, наверху, порядок.

— Вы, кажется, уже испытали кое-какие разочарования, — заметил Бюргель и этим, однако, снова доказал некоторое знание людей; вообще с того момента, как К. вошел в эту комнату, он время от времени предостерегал себя от недо-

оценки Бюргеля, но в его состоянии было трудно справедливо судить о чем-либо, кроме собственной усталости.

— Нет, — сказал Бюргель, словно отвечал на какую-то мысль К., предупредительно желая избавить его от необходимости высказываться. — Вы не должны допускать, чтобы разочарования отпугнули вас. Здесь, кажется, многое и рассчитано на то, чтобы отпугнуть, и тому, кто сюда только пришел, препятствия кажутся совершенно непреодолимыми. Я не собираюсь расследовать, как с этим обстоит на самом деле, может быть, эта видимость и в самом деле соответствует действительности, мне в моем положении недостает необходимого отдаления, чтобы это установить, но обратите внимание на то, что иногда при этом опять-таки появляются возможности, которые почти не согласуются с общим положением, — когда одним словом, одним взглядом, одним знаком доверия можно достигнуть большего, чем изнурительными усилиями целой жизни. Определенно, это так. Правда, затем эти возможности все-таки снова согласуются с общим положением в силу того, что они никогда не используются. Но почему же они никогда не используются, снова и снова спрашиваю я.

К. этого не знал; хотя он заметил, что Бюргель говорил о вещах, которые, по-видимому, очень его касались, но он чувствовал теперь какое-то могучее отвращение ко всем вещам, которые его касались; он отклонил голову немного в сторону, словно уворачиваясь от вопросов Бюргеля, чтобы они не могли его задеть.

— Секретари, — продолжил Бюргель, при этом раскинул руки и зевнул, что ошеломляюще противоречило серьезности его слов, — секретари постоянно жалуются, что они вынуждены большинство деревенских допросов проводить ночью. Но почему они на это жалуются? Потому что это требует от них слишком большого напряжения? Потому что они предпочли бы употребить ночь для сна? Нет, на это они определенно не жалуются. Естественно, среди секретарей есть старательные и менее старательные, как и везде, но на чрезмерно большое напряжение не жалуется ни один из них, тем более — публично. У нас это просто не принято. Мы в этом отношении не делаем различий между обычным временем и рабочим временем. Нам чужды такие различия. Но что же в таком случае секретари имеют против ночных допросов? Может быть, они щадят посетителей? Нет-нет, и не это тоже. К посети-

телям секретари беспощадны — разумеется, ничуть не беспощаднее, чем к самим себе, а только в точности так же беспощадны. Собственно, ведь эта беспощадность — не что иное, как железное подчинение службе и ее исполнение, то есть максимально щадящее отношение, какого посетители только могли бы желать. И ведь, в сущности, это (поверхностный наблюдатель этого, правда, не заметит) заслужило всеобщее признание; так, например, в данном случае как раз идут ночные допросы, посетителями они приветствуются, никаких принципиальных жалоб на ночные допросы не поступало. Откуда же в таком случае это нерасположение секретарей?

Этого К. тоже не знал, он знал так мало, он даже не понимал, серьезно ли Бюргель требует ответа или так, для вида. «Дал бы ты мне лечь в твою кровать, — думал он, — я бы тебе завтра днем, а еще лучше — вечером на все вопросы ответил». Но Бюргель, кажется, не обращал на него внимания, его слишком занимал вопрос, который он сам себе задал:

— Насколько мне известно от других и из моей собственной практики, у секретарей имеются относительно ночных допросов следующие соображения: ночь потому менее пригодна для

переговоров с посетителями, что ночью трудно или попросту невозможно полностью сохранить официальный характер переговоров. Это касается не внешней стороны: при желании соответствующие формальности, естественно, могут соблюдаться ночью точно так же, как и днем, дело, следовательно, не в этом. Но ночью смещаются официальные оценки. Ночью непроизвольно появляется тенденция оценивать вещи с более приватной точки зрения; доводам посетителей придается больший вес, чем это надлежит; к оценкам примешиваются совершенно посторонние соображения, учитывающие общее положение посетителей, их страдания и заботы; необходимый барьер между посетителями и чиновниками, пусть даже внешне он и безупречно присутствует, расшатывается, и там, где обычно — как это и должно быть — только предлагаются вопросы и поступают ответы, иногда, кажется, происходит какая-то странная, совершенно неподобающая беседа человека с человеком. Так, по крайней мере, говорят секретари, то есть такие люди, которые по роду своей профессии одарены совершенно исключительной чуткостью к подобным вещам. Но даже они — это уже не раз обсуждалось в наших кругах — во время

ночных допросов слабо ощущают указанные неблагоприятные воздействия, напротив, они с самого начала стараются противодействовать им и в итоге считают, что проделали совершенно исключительную по качеству работу. Но когда потом перечитываешь эти протоколы, часто удивляешься их явным, очевидным недостаткам. И именно эти ошибки, в частности, эти все новые, наполовину незаконные успехи посетителей таковы, что их, согласно нашим инструкциям, уже нельзя — по крайней мере, обычным коротким путем — исправить. Когда-нибудь они, совершенно определенно, будут исправлены одной из контрольных служб, но это послужит только восстановлению законности, а тому посетителю повредить уже не сможет. Разве при таком положении дел жалобы секретарей не являются весьма обоснованными?

К. уже некоторое время пребывал в полудремотном состоянии, теперь его снова разбудили. «К чему это все?» — спрашивал он себя и смотрел на Бюргеля из-под полуопущенных век не как на чиновника, обсуждавшего с ним затруднительные вопросы, а только как на что-то такое, что не давало ему уснуть и в чем усмотреть какой-то еще другой смысл он не мог. А Бюргель, целиком

поглощенный ходом своих рассуждений, усмехнулся, словно ему удалось-таки немного сбить К. с толку. Однако он был готов тут же вернуть его на правильный путь.

— Ну, — сказал он, — признать эти жалобы полностью обоснованными все-таки тоже нельзя. Хотя ночные допросы нигде впрямую не предписываются, и, следовательно, когда пытаются их избежать, никакие инструкции не нарушаются, но определенные обстоятельства, перегруженность работой, характер занятий чиновников в Замке, крайняя нежелательность их отлучек, инструкция, в которой сказано, что допросы посетителей должны проводиться только после окончательного завершения остального расследования, однако сразу же после такового, — все это и еще многое другое сделало тем не менее ночные допросы неизбежными и необходимыми. — Но если они теперь стали необходимостью, то, говорю я, ведь это тоже, по крайней мере, косвенно, есть следствие инструкций, и осуждать в принципе ночные допросы означало бы тогда почти что — я, естественно, немного преувеличиваю для того, чтобы в виде преувеличения я мог это высказать, — означало бы тогда ни более ни менее как осуждать инструкции.

С другой стороны, за секретарями, надо полагать, сохраняется право пытаться в пределах инструкций обезопасить себя по мере возможности от ночных допросов и их, возможно, лишь кажущихся недостатков. Это они, собственно, и делают, и притом в широчайших масштабах. Они допускают переговоры только по таким вопросам, которые вызывают возможно меньшие — в любом смысле — опасения, тщательно проверяют себя перед допросами и, если результаты проверок этого требуют, отказываются — даже и в последний момент — от любых допросов, укрепляют себя, часто при этом по десять раз вызывая какого-нибудь посетителя, прежде чем они им действительно займутся, охотно позволяют замещать себя коллегам, которые в рассматриваемом деле некомпетентны и поэтому могут с большей легкостью его вести, или, по крайней мере, назначают переговоры на начало или конец ночи и избегают промежуточных часов, — таких мер существует еще много, с этими секретарями не так-то просто справиться, они обороноспособны почти в той же мере, в какой уязвимы.

К. спал; правда, это не был настоящий сон: он слышал слова Бюргеля, может быть, даже лучше, чем во время прежнего смертельно-усталого

бодрствования; слово за словом падало в его уши, но докучное сознание исчезло, он чувствовал себя свободным, уже не Бюргель держал его, а он сам иногда вдруг нащупывал Бюргеля; в глубины сна он еще не погрузился, но погружение уже началось. Никто ему больше в этом не помешает. И ему чудилось, будто бы он тем самым добился большой победы, и будто уже собралось тут и какое-то общество, и он — или кто-то другой поднял бокал шампанского в честь этой победы. И будто бы для того, чтобы все узнали, в чем тут дело, его победоносная борьба повторялась еще раз или, может быть, даже не повторялась, а только теперь происходила, и уже раньше была отпразднована, и не надо было прекращать ее праздновать, потому что исход, к счастью, был известен. К. нападал на какого-то секретаря, секретарь был голый и очень похожий на статую греческого бога. Это было очень смешно, и К. чуть усмехался во сне тому, как этот секретарь с его гордой позой каждый раз пугался атак К. и почти уже выставленную вперед руку со сжатым кулаком должен был поспешно использовать для того, чтобы прикрывать свою наготу, и все равно делал это слишком медленно. Борьба длилась недолго. К. шаг за шагом — и это были очень

большие шаги — продвигался вперед. Да была ли вообще борьба? Не было никаких серьезных препятствий, разве что время от времени — писк секретаря. Этот греческий бог пищал, как девочка, которую щекочут. И наконец он исчез, К. был один в большой комнате; готовый к борьбе, он оглядывался по сторонам в поисках противника, но там никого уже не было, и общество тоже разошлось, и только на полу в лужице шампанского лежал разбитый бокал. К. раздавил его совсем, но осколки впились в ногу. Вздрогнув, он все-таки опять проснулся; ему было плохо — как бывает маленькому ребенку, когда его разбудят. — Тем не менее, когда он увидел оголенную грудь Бюргеля, у него проскользнула мысль, пришедшая из сна: вот же он, твой греческий бог! Так выщипай ему перья.

— Но все-таки имеется, — произнес Бюргель и задумчиво устремил взгляд на потолок, словно искал в памяти примеры, но не мог ни одного вспомнить, — но все-таки у посетителей, несмотря на все меры предосторожности, имеется одна возможность использовать эту ночную слабость секретарей — если по-прежнему считать, что это их слабость. Правда, возможность очень редкая или, правильнее говоря, почти не существую-

щая. Она состоит в том, что посетитель является посреди ночи без вызова. Вы, возможно, недоумеваете, почему это происходит столь редко, ведь это кажется таким очевидным. Ну да, вы не в курсе наших дел. Но даже вам все-таки должна была броситься в глаза безупречность нашей служебной организации. А из этой безупречности следует, что всякий, кто имеет какую-либо просьбу или кто по каким-то другим причинам должен быть допрошен, тут же, без промедления, большей частью еще до того, как он сам объяснит себе все дело, и даже еще до того, как он сам о нем узнает, — уже получает повестку. Допрашивать его в этот раз еще не будут, — как правило, еще не будут, настолько дело еще не созревает, но повестка у него есть, явиться без вызова он уже не может, он может, самое большее, прийти в ненадлежащее время, в этом случае ему просто указывают на дату и час явки, и когда он потом приходит снова в надлежащее время, его, как правило, выпроваживают, это уже не составляет труда; повестка в руках посетителя и пометка в актах — это для секретарей хотя и не всегда достаточное, но все же сильное оружие защиты. Правда, все это справедливо только для компетентного в данном вопросе секретаря, возможность же

нападать ночью врасплох на других для каждого остается открытой. Однако это едва ли кто станет делать: это почти бессмысленно. Прежде всего, это бы очень ожесточило компетентного секретаря; хотя мы, секретари, в отношении работы ревности друг к другу определенно не испытываем, каждый и так везет слишком громоздкий, поистине не скупясь нагруженный воз работы, но терпеть со стороны посетителей нарушения границ компетентности мы никоим образом не имеем права. Многие проиграли свое дело только из-за того, что, не надеясь на успех в надлежащем месте, пытались проскользнуть в ненадлежащее. Такие попытки, кстати, обречены на провал еще и потому, что некомпетентный секретарь, даже когда он застигнут ночью врасплох и готов помочь, именно вследствие своей некомпетентности при всем желании едва ли может сделать больше, чем какой-нибудь рядовой адвокат, а в сущности — много меньше, потому что у него ведь нет, — даже если бы в ином случае он и мог что-то сделать, поскольку он все-таки лучше знает потайные ходы права, чем все эти господа адвокаты, просто на вещи, в которых он некомпетентен, у него нет никакого времени, ни одной минуты он не может на них потратить. Следова-

тельно, кто же станет при таких шансах тратить свои ночи на возню с некомпетентными секретарями; к тому же если посетители помимо своих обычных занятий вздумают являться по всем повесткам во все компетентные инстанции, то ведь они будут целиком загружены — разумеется, «целиком загружены» в посетительском смысле, что, естественно, еще далеко не то же самое, что «целиком загружены» в секретарском смысле.

К., улыбаясь, кивал; ему казалось, что теперь он прекрасно все это понимает — не потому, что это его чем-то встревожило, просто теперь он уже не сомневался, что в следующую минуту заснет окончательно, на этот раз крепко и без сновидений; между компетентными секретарями, с одной стороны, и некомпетентными, с другой, и в окружении масс целиком загруженных посетителей он погрузится в глубокий сон и таким образом ускользнет ото всех. К тихому, самодовольному голосу явно зря старавшегося во имя своего усыпления Бюргеля К. теперь уже так привык, что он скорее помогал ему заснуть, чем мешал. «Тарахти, мельница, тарахти, — думал он, — ты тарахтишь только для меня».

— Так где же тут в таком случае, — говорил Бюргель, поигрывая двумя пальцами на нижней

губе, расширяя глаза и вытягивая шею так, как если бы он после утомительного путешествия приближался к какому-то восхитительному месту, — так где же тут в таком случае вышеупомянутая редкая, почти несуществующая возможность? Весь секрет в инструкциях о компетентности. Дело ведь обстоит не так — да и не может в большой, заполненной людьми организации обстоять так, чтобы в каждом вопросе был компетентен только один определенный секретарь. Дело обстоит лишь так, что один обладает главной компетентностью, а многие другие в известных пределах тоже обладают некоторой, хотя и меньшей компетентностью. Как бы смог кто-то один, будь он даже величайший работник, собрать на своем письменном столе все, что имеет отношение хотя бы к самому мельчайшему делу? Даже то, что я сказал о главной компетентности, и то слишком сильно. Разве в самой малой компетентности не заключена уже вся она целиком? Разве не решает здесь та страсть, с которой берутся за дело? И разве она, эта страсть, не всегда одна и та же, разве не присутствует всегда в полном объеме? Секретари могут различаться во всем, и таких различий бесконечное множество, — но не в страсти: ни один из них, получи

он приглашение заняться случаем, в котором обладает хоть малейшей компетентностью, не сможет удержаться. Формально, разумеется, должна быть обеспечена возможность упорядоченного ведения переговоров, и поэтому для каждого из посетителей на первый план выступает один определенный секретарь, которого он официально и должен держаться. Но это даже не обязательно именно тот секретарь, который обладает наибольшей компетентностью в данном деле, тут все решает организация и особые потребности момента. Таково положение дел. И теперь сообразите, господин землемер, какова возможность того, что некий посетитель благодаря каким-то обстоятельствам и несмотря на уже вам описанные, как правило, вполне достаточные препятствия все-таки застанет врасплох среди ночи секретаря, обладающего известной компетентностью в соответствующем деле. О такого рода возможности вы, очевидно, еще не думали? Охотно готов вам поверить. К тому же о ней совершенно не нужно думать, поскольку ее ведь почти не существует. Каким же маленьким и юрким зернышком необычной, совершенно особой формы должен быть этот посетитель, чтобы проскользнуть сквозь такое непревзойденное

сито? Вы полагаете, что этого вообще не может произойти? Вы правы, этого вообще не может произойти. Но однажды ночью — кто может за все ручаться? — это все-таки происходит. Я, правда, среди моих знакомых не знаю никого, с кем бы это случалось, но, однако же, это очень мало что доказывает; в сравнении с общим числом тех, кого здесь следует принимать в расчет, мои знакомства ограниченны, и кроме того, абсолютно нет уверенности, что секретарь, с которым нечто подобное случилось, захочет в этом признаться: все-таки такое происшествие очень серьезно задевает личную и в известной мере служебную гордость. Но тем не менее мой опыт, пожалуй, доказывает, что речь здесь идет о столь редком, собственно, лишь по слухам существующем и решительно ничем другим не подтвержденном явлении, что, следовательно, бояться его было бы большим преувеличением. И даже если бы оно в самом деле произошло, думается, его можно было бы обезвредить, попросту доказав (а это очень легко), что в этом мире для него нет места. Во всяком случае, прятаться от страха перед ним под одеяло и бояться выглянуть — это патология. Но даже если бы вдруг осуществилось совершенно невероятное, разве тогда уже все было бы поте-

ряно? Напротив. Чтобы все было потеряно — это еще невероятнее, чем самое невероятное. Правда, если посетитель в комнате, это уже очень скверно. От этого сжимается сердце. «Как долго ты сможешь сопротивляться?» — спрашиваешь тогда себя, но знаешь, что никакого сопротивления не будет. Вы только должны правильно представить себе это положение. Никогда не виданный, но всегда ожидавшийся, с истинной страстью ожидавшийся и всегда благоразумно считавшийся недостижимым посетитель — сидит вот здесь. Уже одним своим молчаливым присутствием он приглашает вторгнуться в его жалкую жизнь, оглядеться в ней, как в своих владениях, и посочувствовать его бесполезным притязаниям. Тихой ночью такое приглашение очень заманчиво. Принимаешь его, и с этого момента, по существу, перестаешь быть официальным лицом. Попадаешь в такое положение, когда скоро уже становится невозможно отказать в какой-то просьбе. Откровенно говоря, приходишь в отчаяние, еще откровеннее говоря — очень счастлив. Приходишь в отчаяние — от той беззащитности, с которой сидишь здесь и ждешь просьбы посетителя, и знаешь, что ее, если уж она будет высказана, придется выполнить, даже если она

(по крайней мере, насколько ты можешь себе это представить) форменным образом подрывает служебную организацию; это ведь, наверное, самое худшее, что может встретиться в практике. Прежде всего потому, что, не говоря уже обо всем остальном, это ни в какие рамки не укладывающееся превышение власти, ведь в такой момент насильственным образом присваиваешь себе чужие права. Мы же по своему положению не уполномочены выполнять такие просьбы, о которых здесь идет речь, но от близости этого ночного посетителя в некотором роде возрастают наши служебные силы, мы принимаем на себя обязательства в отношении вещей, лежащих вне нашей сферы, — и ведь мы их потом выполняем. Ночной посетитель, как разбойник в лесу, вынуждает нас к таким жертвам, на которые мы в иных условиях никогда не были бы способны; ну хорошо, так обстоит дело в тот момент, когда посетитель еще здесь, когда он нас укрепляет, и вынуждает, и подталкивает, и все происходит еще полубессознательно, — но каково нам потом, когда это уже произошло, когда посетитель, насытившийся и беззаботный, нас покидает, а мы остаемся тут, одинокие, беззащитные перед лицом нашего злоупотребления служебным

положением, — это просто невозможно себе представить! И тем не менее мы счастливы. Как самоубийственно может быть счастье! Мы, конечно, могли бы постараться скрыть от посетителя истинное положение вещей. Ведь сам он без посторонней помощи едва ли что-нибудь заметит. Ведь он, наверное, считает, что только в силу каких-то случайных, посторонних причин (устал, разочарован, бесцеремонен и равнодушен от усталости и разочарования) ввалился не в ту комнату, в какую хотел, он сидит здесь, ничего не зная, и занят — если он вообще чем-то занят — мыслями о своей ошибке или о своей усталости. Нельзя ли его так и оставить? Нельзя. В припадке счастливой болтливости ты должен все ему объяснить. Не в силах хоть самую малость пощадить себя, ты должен исчерпывающе показать ему, что произошло и по какой причине это произошло, и какая это исключительно редкая возможность, и как она уникально велика; ты должен показать, как посетитель набрел на такую возможность и как он при всей его беспомощности, на которую никакое другое существо, за исключением именно и только посетителя, не может быть способно, — как, несмотря на это, он теперь, господин землемер, может, если он хочет, всем завладеть;

и для этого ему не нужно ничего делать — только выразить каким-то образом свою просьбу, исполнение которой уже подготовлено, исполнение которой просто-таки идет ей навстречу, — все это ты должен показать; тяжелый час для чиновника. Но когда уже и это сделано, тогда, господин землемер, самое необходимое произошло, и ты должен удовольствоваться этим и ждать.

К. спал, отрешившись от всего, что произошло. Голова его, вначале лежавшая на левой, вытянутой поверх спинки кровати руке, во сне соскользнула и теперь висела в воздухе, медленно опускаясь все ниже; опоры вверху на руку было уже недостаточно, и К. бессознательно нашел себе еще одну, упершись правой рукой в одеяло, при этом случайно попал как раз на вытянутую под одеялом ногу Бюргеля и ухватил ее. Бюргель внимательно посмотрел и оставил ему ногу, несмотря на те неудобства, которые, возможно, испытывал.

В этот момент раздались сильные удары в боковую стену. К., вздрогнув, проснулся и посмотрел на стену.

— Там не землемер? — спросил чей-то голос.

— Да, — отозвался Бюргель, отнял у К. свою ногу и неожиданно, бурно и шаловливо, как малень-

кий мальчик, потянулся.

— Так пусть он наконец идет сюда, — снова сказал голос; ни присутствие Бюргеля, ни то, что К. еще мог быть ему нужен, во внимание не принималось.

— Это Эрлангер, — шепотом сказал Бюргель; то, что Эрлангер был в соседней комнате, его, кажется, не удивило. — Идите к нему сразу, он уже злится, постарайтесь его успокоить. У него хороший сон, но мы все-таки слишком громко разговаривали; когда говоришь о некоторых вещах, невозможно сдерживать ни себя, ни голос. Ну идите же; вы, кажется, даже проснуться не в состоянии. Идите, чего еще вы здесь, собственно, ждете? Нет, можете не извиняться за вашу сонливость, зачем же? Телесных сил нам хватает только до известного предела, кто виноват в том, что именно этот предел так важен и для остального? Нет, в этом никто не виноват. Так мир сам себя корректирует в своем движении и сохраняет равновесие. Это ведь превосходно устроено, всякий раз непостижимо превосходно, даже если это в ином отношении и прискорбно. Ну идите, я не понимаю, почему вы на меня так смотрите. Если вы еще протянете, Эрлангер примется за меня, а я бы очень желал этого избежать.

Идите же, кто знает, что вас там ждет, тут же везде полно возможностей. Правда, есть такие возможности, которые в некотором роде слишком велики, чтобы их использовать; есть вещи, которые разбиваются не обо что-то другое, а о самих себя. Н-да, это достойно удивления. Впрочем, я все-таки надеюсь, что смогу теперь немного поспать. Правда, уже пять часов и скоро начнется весь этот шум. Если б хоть вы, по крайней мере, соблаговолили уйти!

Оглушенный внезапным пробуждением от тяжелого сна, все еще бесконечно сонный, с болью во всем теле от неудобного положения, К. долго не мог решиться встать, держался за лоб и смотрел вниз, на застежку своих брюк. Даже непрерывные попытки Бюргеля распрощаться не могли заставить его уйти, только ощущение бесполезности дальнейшего пребывания в этой комнате постепенно склоняло его к этому. Комната казалась ему теперь невыразимо тоскливой. Стала ли она такой или всегда такой была, он не знал. Даже заснуть здесь снова он бы не смог. Эта уверенность оказалась решающей; немного усмехаясь этому, К. поднялся и, опираясь на все, на что только можно было опереться: на кровать, на стену, на дверь — и не говоря ни слова, как

будто давно уже попрощался с Бюргелем, вышел, не кивнув, из комнаты.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Скорей всего, он с тем же безразличием прошел бы мимо комнаты Эрлангера, если бы Эрлангер не стоял в дверях и не поманил его. Один короткий пригласительный жест указательным пальцем. Эрлангер был уже совсем готов ехать: он стоял в черном меховом пальто с узким воротником, застегнутым под самой шеей. Слуга как раз протягивал ему перчатки и держал наготове меховую шапку.

— Вы должны были уже давно прийти, — заметил Эрлангер.

К. хотел извиниться. Эрлангер, устало закрыв глаза, показал, что это можно опустить.

— Дело в следующем, — сказал он. — В пивной раньше служила некая Фрида, я знаю только ее имя, ее саму я не знаю, она меня не интересует. Эта Фрида иногда подавала пиво Кламму. Теперь там, кажется, какая-то другая девушка. Ну, это изменение, естественно, не имеет значения, по-видимому, ни для кого, а для Кламма — совершенно точно. Однако, чем больше выполняемая работа, а работа Кламма, разумеется, самая большая, тем меньше остается сил для того, чтобы

защищать себя от внешнего мира, вследствие чего любое незначительное изменение незначительнейшей вещи может уже серьезно мешать. Малейшее изменение на письменном столе, удаление какого-нибудь с незапамятных времен сидевшего там грязного пятна — все это может мешать, и точно так же — новая подавальщица. Ну, даже если кому-то другому при какой угодно другой работе это бы и мешало, Кламму все это, разумеется, не мешает, об этом не может быть и речи. Тем не менее мы настолько обязаны заботиться об удобствах Кламма, что устраняем даже те помехи, которых для него не существует (а скорей всего, их для него вообще не существует), если они производят на нас впечатление возможных помех. Мы устраняем эти помехи не ради него и не ради его работы, а ради нас, чтобы наша совесть была спокойна. И потому эта Фрида должна немедленно вернуться обратно в пивную; возможно, она помешает как раз своим возвращением, ну, тогда мы ее снова уберем, но пока что она должна вернуться. Вы, как мне сказали, живете с ней, поэтому немедленно обеспечьте ее возвращение. Личные чувства здесь, конечно, не могут приниматься во внимание, это само собой разумеется, потому я и не намерен пускаться ни

в какие дальнейшие разъяснения этого дела. Я сделаю уже значительно больше, чем требуется, упомянув, что, если вы в данном частном пункте себя зарекомендуете, это при случае может оказаться полезным для обеспечения вашего существования. Это все, что я имею вам сказать.

Он кивком распрощался с К., надел поданную слугой шапку и быстро, но слегка прихрамывая, зашагал в сопровождении слуги по коридору.

Иногда здесь отдавали приказы, которые было очень легко исполнить, но эта легкость не радовала К. И не только потому, что приказ касался Фриды, и, хоть и был высказан как приказ, для К. звучал насмешкой, но главным образом потому, что он убеждал К. в бесполезности его устремлений. Все эти приказы гремели над ним, но не задевали его; были приказы неприятные, и были приятные, и даже приятные в глубине, наверное, тоже содержали неприятную начинку, — как бы там ни было, они не задевали его, а он оказался слишком далеко внизу и никак не мог вмешаться или тем более заставить их умолкнуть, чтобы услышали и его голос. Если Эрлангер тебя выставляет — что ты можешь сделать? А если бы не выставил — что бы ты ему сказал? К. по-прежнему сознавал, что его усталость повредила ему сего-

дня больше, чем все неблагоприятные стечения обстоятельств, но почему же он не смог вынести этих нескольких тяжких ночей и одной бессонной, — ведь он считал, что на свое тело он может рассчитывать, и без такого убеждения вообще не пустился бы в этот путь, — откуда такая непреодолимая усталость именно здесь, где никто не был усталым или скорее где каждый и все время был усталым, но это не вредило работе — даже, напротив, кажется, ускоряло ее. Отсюда следовал вывод, что это была какая-то совершенно иная усталость, чем усталость К. У них, по-видимому, была усталость от счастливой работы, нечто такое, что внешне выглядело как усталость, а по существу было несокрушимым миром, несокрушимым покоем. Если к обеду немного устаешь, то ведь это нормально для счастливого, естественного течения дня. «У этих господ здесь непрерывный обед», — сказал себе К.

И это хорошо согласовывалось с тем, что теперь в пять часов утра везде, по обе стороны коридора, царило оживление. В этом смешении голосов из комнат было что-то ужасно веселое. В какой-то момент это было похоже на восторг детей, собравшихся на прогулку, в другой — на переполох в курятнике, на радость существования в

полном согласии с просыпающимся днем; где-то некий господин даже подражал крику петуха. Сам коридор был еще пуст, но двери уже пришли в движение, ежесекундно какая-нибудь из них приоткрывалась и тут же снова закрывалась, в глазах рябило от этого открывания-закрывания дверей; К. заметил еще, что вверху, в просветах между недоведенными доверху стенами и потолком, то тут, то там появлялись и сразу же исчезали по-утреннему растрепанные головы. Издалека медленно приближалась подталкиваемая слугой маленькая тележка, нагруженная папками. Рядом шел второй слуга, в руке он держал какой-то список и, очевидно, сравнивал по нему номера на дверях с номерами папок. Перед дверями тележка, как правило, останавливалась, обычно после этого дверь открывалась и соответствующие папки (а иногда только какой-нибудь листочек — в таких случаях между комнатой и коридором происходил небольшой разговор, по всей видимости, упрекали слугу) передавались в комнату. Если дверь оставалась закрытой, папки аккуратно складывались на пороге. В таких случаях волнение соседних дверей, как показалось К., не ослабевало, даже если папки туда уже были распределены, а скорее усиливалось. Видимо,

соседи алчно высматривали эти непостижимым образом еще не взятые с порога папки, они не могли понять, как это может быть, что кому-то нужно только открыть дверь, чтобы завладеть своими папками, — и он этого не делает; возможно даже, что так и не взятые папки позднее распределялись между другими господами, которые уже теперь поминутно выглядывали, желая убедиться, что папки все еще лежат на пороге и что у них, следовательно, все еще есть надежда. Кстати, лежать оставались особенно большие стопки папок, и К. предположил, что их нарочно оставляли полежать: из своеобразного хвастовства, или из злобы, или из расчетливой гордости, чтобы подразнить коллег. В этом предположении его укрепляло то, что время от времени (всякий раз именно тогда, когда он в ту сторону не смотрел) такая стопка, после того как она уже достаточно долго выставлялась напоказ, неожиданно и поспешно втаскивалась в комнату; дверь затем вновь неподвижно застывала, и двери вокруг тогда тоже успокаивались — разочарованные или, может быть, удовлетворенные тем, что причина их постоянного раздражения наконец устранена; однако потом они постепенно снова приходили в движение.

К. наблюдал за всем этим не только с любопытством, но и с симпатией. Среди этой суеты он чувствовал себя почти уютно, поглядывал по сторонам, следил, хотя и с соответствующего расстояния, за слугами (которые, правда, уже не раз, опустив головы и надув губы, сердито поглядывали на него) и смотрел за их распределительной работой. Работа по мере их продвижения шла все менее гладко: то ли список не вполне соответствовал, то ли слуги не всегда могли различить папки, то ли по каким-то другим причинам господа начинали возражать, — как бы там ни было, распределение многих папок приходилось проводить заново; в таких случаях тележка ехала назад, и сквозь щель в дверях начинались переговоры о возврате папок. Эти переговоры уже сами по себе представляли большие затруднения, к тому же довольно часто случалось, что, когда речь заходила о возврате, как раз те двери, которые раньше пребывали в самом оживленном движении, теперь оставались неумолимо закрыты, словно вообще не желали ничего больше знать. Тогда только и начинались настоящие затруднения. Господин, полагавший, что имеет право на папку, проявлял крайнее нетерпение, поднимал в своей комнате страшный шум, хлопал в ладоши,

топал ногами и через щель в двери беспрестанно выкрикивал в коридор определенный номер папок. Тележка тогда часто оставалась совсем брошенной. Один из слуг пытался успокоить нетерпеливого господина, второй сражался у закрытой двери за возврат папок. Обоим приходилось нелегко. Нетерпеливый от всех попыток его успокоить часто становился еще нетерпеливее, он вообще слушать больше не мог эту пустую болтовню слуги, он не хотел утешений, он хотел папки; один из таких господ даже вылил на слугу сверху через щель под потолком полный умывальник воды. Но второму слуге, очевидно, старшему из двух, было намного труднее. Если его господин вообще вступал в переговоры, то развертывалась деловая дискуссия, в ходе которой слуга ссылался на свой список, а господин — на свои записи и непосредственно на папки, которые он должен был возвратить, но пока что крепко держал в руках, так что жадные глаза слуги видели разве что какой-нибудь уголок папки. Этому слуге приходилось также бегать за новыми доказательствами назад к тележке, которая каждый раз сама собой укатывалась по слегка наклонному коридору все дальше и дальше, — или же ему приходилось возвращаться к

претендовавшему на папки господину и там аргументы нынешнего владельца папок обменивать на новые контраргументы. Подобные переговоры тянулись очень долго; иногда приходили к какому-то соглашению: например, господин выдавал часть папок или, если папки были просто перепутаны, получал в качестве компенсации другие, но случалось и так, что господин — то ли потому, что он был приперт к стене доказательствами слуги, то ли потому, что уставал от этой бесконечной торговли, — бывал вынужден безоговорочно отказаться от всех желанных папок, однако тогда он не отдавал папки слуге, а с неожиданной решимостью выкидывал их далеко в коридор, так что тесемки развязывались и листы разлетались, и слугам стоило большого труда снова привести папки в порядок. Но тут все было еще сравнительно просто, сложнее бывало, когда слуга на свои просьбы о возврате вообще не получал никакого ответа; тогда он вставал перед закрытой дверью, просил, умолял, цитировал свой список, ссылался на инструкции — все напрасно, из комнаты не доносилось ни звука, а входить без разрешения слуга, очевидно, права не имел. В таких случаях даже этот образцовый слуга иногда терял самообладание; он шел к

своей тележке, садился на папки, вытирал со лба пот и некоторое время вообще ничего не предпринимал, только беспомощно болтал ногами. Интерес к делу со стороны окружающих комнат был очень высок, повсюду шептались, почти ни одна дверь не стояла спокойно, а над верхними краями стен маячили под потолком и следили за всем происходящим какие-то странные, почти целиком закутанные в платки лица, которые к тому же ни секунды не оставались неподвижны на своих местах. Среди всего этого волнения К. показалось удивительным, что дверь Бюргеля все время оставалась закрыта и что слуги эту часть коридора уже прошли, но Бюргелю никаких папок выделено не было. Возможно, он еще спал, что, правда, при таком шуме означало очень здоровый сон, но почему он не получил никаких папок? Лишь очень немного комнат, к тому же, скорей всего, незаселенных, было таким образом пропущено. Зато в комнате Эрлангера уже был новый и особенно беспокойный гость; Эрлангера он, по всей видимости, попросту выставил ночью за дверь; это плохо вязалось с холодной светскостью Эрлангера, но тем не менее то, что ему пришлось ожидать К. на пороге своей комнаты, указывало на это.

От всех этих посторонних наблюдений К. вскоре вновь вернулся к слуге; поистине к этому слуге никак не относилось то, что К. рассказывали вообще о слугах, об их праздности, их удобной жизни, их высокомерии; очевидно, и среди слуг были исключения или, что еще вероятнее, — существовали разные категории слуг, потому что здесь, как заметил К., было много таких разграничений, о которых он до сих пор почти не имел представления. Особенно нравилась ему настойчивость этого слуги. В борьбе с маленькими упрямыми комнатами — К. это часто казалось борьбой с комнатами, так как их жильцов он почти не видел, — этот слуга не уступал. Он, правда, сильно выматывался — а кто бы тут не вымотался? — но вскоре приходил в себя, сползал с тележки и, стиснув зубы, снова бросался в атаку на дверь, которую должен был покорить. И случалось, что он бывал отбит дважды и трижды (очень, впрочем, простым способом: одним этим озверелым молчанием), и тем не менее отнюдь не был побежден. Когда он видел, что прямой атакой ничего достичь не сможет, он пытался действовать другим способом, например — если К. правильно это понимал — хитростью. Он тогда отходил от этой двери, давал ей возможность в

какой-то степени исчерпать свою молчаливость, переходил к другим дверям, через некоторое время снова возвращался, звал второго слугу — все это демонстративно и громко — и начинал складывать на пороге перед закрытой дверью папки так, словно он переменил свое мнение, и у господина на законном основании не только ничего не отбирается, но напротив, ему еще что-то выделяется. Затем он шел дальше, но дверь все время держал в поле зрения, и когда господин, как это обычно случалось, осторожно приоткрывал дверь, чтобы втащить папки к себе, слуга в несколько прыжков оказывался там, просовывал ногу между дверью и косяком и таким образом вынуждал господина по крайней мере вступить с ним в непосредственные переговоры, которые, правда, обычно приводили лишь к полуудовлетворительным результатам. Если же это не удавалось или если по отношению к какой-то двери этот метод не казался ему правильным, он пытался действовать иначе. Тогда он, например, переключался на того господина, который требовал эти папки. Он отстранял второго слугу, работавшего чисто механически (совсем бесполезный помощник), и начинал сам уговаривать этого господина — шепотом, по сек-

рету, глубоко засунув голову в комнату; скорей всего он давал ему обещания и заверял, что при следующем распределении захвативший папки господин понесет соответствующее наказание, во всяком случае, он неоднократно указывал на дверь своего противника и смеялся, сколько позволяла его усталость. Но были и такие случаи, один или два, когда он все-таки отказывался от всяких попыток; правда, и тут К. полагал, что это только кажущийся отказ или, по крайней мере, отказ рассчитанный, так как слуга спокойно шел дальше, терпел, не оглядываясь, шум, поднятый обделенным господином, и только то, что временами он прикрывал глаза и долго не открывал их, показывало, что он от этого шума страдает. А потом постепенно успокаивался и тот господин: как непрерывный плач ребенка переходит во все более редкие всхлипывания, так было и с его криком, — но и после того, как становилось уже совсем тихо, все-таки время от времени раздавался одинокий вопль или быстро открывалась и захлопывалась его дверь. Во всяком случае, оказывалось, что и тут слуга действовал, по-видимому, совершенно правильно. В конце концов остался только один господин, который не желал успокаиваться; он надолго умолкал (но только

для того, чтобы набраться сил), а затем начинал снова с не меньшей энергией, чем раньше. Было не очень понятно, из-за чего он так орет и возмущается, — возможно, совсем не из-за распределения папок. Тем временем слуга закончил свою работу, только одна-единственная — собственно, даже не папка, а только одна бумажка, один листочек из блокнота остался по вине помощника лежать в тележке, и теперь было неизвестно, кому его распределять. «Это запросто может быть моя папка, — подумалось вдруг К. — Староста же общины все время твердил о „самом мельчайшем случае“». И хотя такое предположение казалось надуманным и, в сущности, смехотворным ему самому, К. все же попытался приблизиться к слуге, задумчиво пробегавшему глазами бумажку; сделать это было не совсем просто, так как на симпатию К. слуга не отвечал взаимностью: даже занятый тяжелейшей работой, он все-таки находил время для того, чтобы, нервно вскидывая голову, бросать в сторону К. сердитые или нетерпеливые взгляды. Только теперь, закончив распределение, слуга, казалось, несколько забыл о К., да и вообще стал как-то безразличнее ко всему, что при его большой усталости можно было понять; этим листочком

он тоже не особенно утруждал себя, возможно, он даже не читал его, а только делал вид, и, несмотря на то что господину из любой, наверное, комнаты в этом коридоре получение листочка доставило бы радость, он решил иначе, распределением он был уже сыт по горло; приложив указательный палец к губам, слуга подал своему спутнику знак молчать, разорвал листочек (К. был еще далеко от него) на мелкие кусочки и сунул их в карман. Это был, кажется, первый недостаток в работе с документацией, который К. здесь видел, впрочем, возможно, что и это он тоже неверно понимал. И даже если это был недостаток, его следовало простить: при тех порядках, которые здесь царили, слуга не мог работать безошибочно, рано или поздно все накопившееся раздражение, вся накопившаяся нервозность должны были у него прорваться, и если это выразилось в разрывании одного маленького листочка, то это еще было довольно безобидно. Ведь по коридору все еще неслись вопли не желавшего успокоиться господина, а его коллеги, которые в отношении прочего не проявляли особого дружелюбия друг к другу, относительно этого шума придерживались, кажется, совершенно единого мнения; постепенно получалось так, словно этот господин

взял на себя задачу шуметь за них всех, а они своими возгласами и кивками только поощряли его продолжать начатое дело. Но теперь слуга уже не обращал на это внимания; работа его была кончена, он указал второму слуге на ручку тележки, чтобы тот за нее брался — и они стали удаляться так же, как пришли; оба заметно повеселели и шли так быстро, что тележка перед ними подскакивала. Только один раз они вздрогнули и оглянулись, когда все еще кричавший господин (перед дверью которого теперь крутился К., поскольку ему было интересно узнать, чего, собственно, этот господин хочет), очевидно уже не удовлетворенный своим криком и уставший кричать, обнаружил, по всей вероятности, кнопку электрического звонка и, очевидно, в восторге от такого облегчения принялся теперь непрерывно звонить. В ответ на звонок оживленно залопотали в других комнатах, видимо, это означало одобрение; господин, видимо, сделал что-то такое, что все бы уже давно с радостью сделали, — и только по какой-то неизвестной причине должны были от этого отказаться. Может быть, господин хотел вызвонить прислугу, может быть — Фриду? Тогда он мог долго звонить. Фрида же занята, обматывает Иеремию мокрыми

платками, и даже если он теперь уже здоров, все равно у нее нет времени, потому что тогда она лежит в его объятиях. Но все же этот звон немедленно возымел эффект. Издалека уже спешил сам хозяин господского трактира; он был одет в черное и застегнут, как всегда, но бежал так, что казалось, будто он забыл о своем достоинстве: руки его были слегка растопырены, словно он был вызван в связи с каким-то большим несчастьем и бежал, чтобы схватить его и тут же задушить на своей груди, и всякий раз, когда звонок давал маленькие перебои, он, казалось, чуть-чуть подпрыгивал и начинал еще больше торопиться. Позади хозяина на большом расстоянии от него появилась теперь и его жена, и она тоже бежала, растопырив руки, но шаг у нее был короткий и манерный, и К. подумал, что она явится слишком поздно, хозяин за это время уже сделает все, что нужно. И чтобы дать дорогу бегущему хозяину, К. тесно прижался спиной к стене. Но хозяин остановился прямо перед К., словно К. и был его целью, и тут же оказалась рядом хозяйка, и оба осыпали его упреками, которых в суматохе и ошеломлении он не понимал, тем более что примешивался еще звонок этого господина, и даже начали трещать другие звонки — уже без всякой

необходимости, а только для развлечения и от избытка радости. Поскольку К. важно было точно уяснить свою вину, он весьма охотно позволил хозяину взять себя под руку и пошел с ним из этого шума, который все увеличивался, потому что теперь позади них (К. совсем не оборачивался, так как хозяин, и с другой стороны — еще больше — хозяйка в чем-то настойчиво его убеждали) настежь открывались двери, коридор ожил, казалось, что там началось какое-то движение, как на оживленной узкой улочке; двери впереди явно нетерпеливо ждали, когда К. наконец пройдет и они смогут выпустить господ, и, наполняя все вокруг звоном, снова и снова включались звонки, словно празднуя какую-то победу. Но вот в конце концов (они уже были во дворе — все тот же тихий, белый двор и несколько застывших в ожидании саней) до К. понемногу стало доходить, о чем шла речь. Ни хозяин, ни хозяйка не могли себе представить, что К. осмелится сделать что-либо подобное. «А что он, собственно, сделал?» — снова и снова спрашивал К., но долго ничего не мог добиться, так как для них его вина была слишком самоочевидна и поэтому в его искренность они ни в малейшей степени не верили. Только очень не скоро К. понял все. Он не имел

права находиться в коридоре, ему вообще был разрешен — самое большее — доступ в пивную, и то только из милости и во изменение прежнего решения. Если он был приглашен каким-то господином, он, естественно, должен был явиться туда, куда его пригласили, но при этом постоянно сознавать — по крайней мере, обычный человеческий рассудок-то у него, наверное, есть? — что находится в таком месте, где он, вообще говоря, посторонний, куда его только в высшей степени неохотно, — только потому, что этого требовала и это извиняла служебная необходимость, — позвал господин. Поэтому ему надлежало быстро появиться и подвергнуться допросу, а затем по возможности еще быстрее исчезнуть. Разве там, в коридоре, у него не возникло тягостного ощущения своей неуместности? Но если возникло, то как он мог бродить там, словно скот на выгоне? Разве не был он приглашен на ночной допрос и разве он не знает, почему ввели ночные допросы? Ночные допросы (и тут К. получил новое разъяснение их смысла) проводились якобы только с одной целью: чтобы тех посетителей, чей вид был господам невыносим днем, опрашивать ночью — быстро, при искусственном освещении, с возможностью сразу же после допроса

всю эту мерзость заспать и забыть. Но К. своим поведением насмеялся над всеми мерами предосторожности. Даже привидения к утру исчезают, а К. оставался там, руки в карманах, так, словно считал, что раз он не исчезает, то исчезнет весь этот коридор со всеми комнатами и господами. И совершенно ясно, что так бы и произошло — и в этом он может не сомневаться, — если бы это хоть как-то было возможно, ибо деликатность господ безгранична. Ни один из них не подумает, допустим, прогнать К. или даже сказать ему ту, правда, самоочевидную вещь, что он должен наконец убраться; ни один из них этого не сделает, хотя они, пока там находится К., наверное, дрожат от возбуждения, и утро, их любимое время, для них испорчено. Вместо того чтобы принять меры против К., они предпочитают мучиться, правда, какую-то роль при этом, очевидно, играет надежда на то, что все-таки в конце концов и К. должен будет увидеть то, что бьет в глаза, и ему самому придется, соответственно мучению господ, терпеть муки, вплоть до невыносимых, оттого что он так ужасающе неуместно, у всех на виду стоит тут утром в коридоре.

Напрасная надежда. Они не знают или по своей любезности или снисходительности не

хотят знать, что бывают и такие бесчувственные, жестокие, не способные испытывать почтение сердца. Ведь даже ночной мотылек, жалкое создание, с наступлением дня отыскивает тихий уголок, распластывается, и рад бы исчезнуть, и несчастен оттого, что не может этого сделать. А К., наоборот, выставляется туда, где его лучше всего видно, и если бы он мог таким образом предотвратить наступление дня, он бы это сделал. Предотвратить он это не может, но задержать, затруднить это он, к сожалению, может. Разве не смотрел он на то, как распределяются папки? На то, на что никто, кроме непосредственных участников, не смеет смотреть. На что ни хозяин, ни хозяйка в своем собственном доме не должны, не имеют права смотреть. О чем им только намеками рассказывают иногда (как, например, сегодня) слуги. Разве он не заметил, с какими затруднениями проходило распределение папок, — нечто уже само по себе непостижимое, поскольку ведь каждый из господ служит только делу, никогда не думает о своих личных выгодах и поэтому всеми силами должен был бы стремиться к тому, чтобы распределение папок, эта ответственная, основополагающая работа шла быстро, и легко, и безошибочно? И неужели К. действительно даже

отдаленно не догадывается, что главная причина всех затруднений в том, что распределение вынуждены были проводить при почти закрытых дверях, при невозможности непосредственного общения между господами, которые, естественно, в одну секунду смогли бы договориться друг с другом, тогда как переговоры через посредство слуг вынужденно тянутся чуть ли не часами, никогда не проходят гладко, представляют собой медленную пытку для господ и слуг и скорей всего еще отрицательно скажутся на последующей работе? Как это — почему господа не могли общаться друг с другом? Так, значит, К. все еще этого не понимает? Ничего подобного с хозяйкой (и хозяин, со своей стороны, подтвердил, что и с ним тоже) еще не случалось, а им ведь уже приходилось иметь дело со всякими упрямцами. Вещи, которые обычно не осмеливаешься даже произнести, ему приходится говорить в открытую, потому что иначе он не понимает самого необходимого. Ну так вот, раз уж это должно быть сказано, — из-за него, только и исключительно из-за него господа не могли выйти из своих комнат, потому что утром, сразу после сна они слишком стыдливы, слишком легко уязвимы, чтобы подставлять себя под чужие взгляды; будь они даже более

чем полностью одеты, они все равно чувствуют себя слишком обнаженными, чтобы показаться. Поистине трудно сказать, чего они стыдятся; может быть, они, эти вечные труженики, стыдятся только лишь того, что они спали. Но, может быть, еще больше, чем показаться, они стыдятся увидеть чужих людей; они не хотят, чтобы эти столь труднопереносимые для них лица посетителей, вид которых они с помощью ночного допроса благополучно преодолели, вдруг теперь, утром снова появились перед ними во всей своей неприкрытой наготе. Они просто к этому не готовы. Каким же надо быть человеком, чтобы этого не уважать? Да, это надо быть таким человеком, как К. Человеком, который с вот таким тупым и сонным равнодушием пренебрегает всем, не только законом, но и самой обычной человеческой тактичностью, которому совершенно не важно, что он делает почти невозможным распределение папок и вредит репутации дома, и что из-за него произошло то, чего еще никогда не бывало, — что доведенные до отчаяния господа, совершив над собой немыслимое для обычных людей усилие, сами начали защищаться, схватились за звонки и позвали на помощь, чтобы прогнать этого К., которого ничем другим не проймешь! Они, эти

господа, позвали на помощь! Да разве хозяин, и хозяйка, и весь их персонал не прибежали бы сюда уже давно, если бы только они посмели без вызова утром появиться перед господами — пусть даже только для того, чтобы оказать помощь и потом сразу же исчезнуть. Дрожа от негодования, в отчаянии от своего бессилия, они ждали здесь, в начале коридора, и эти, в сущности, абсолютно неожиданные звонки были для них просто избавлением. Ну, самое худшее уже позади! Если бы они могли хоть одним глазом взглянуть на веселое оживление наконец-то освобожденных от К. господ! Для К., впрочем, еще не все позади: за то, что он тут учинил, ему безусловно еще придется ответить.

Тем временем они дошли до пивной; было не совсем ясно, почему, несмотря на весь свой гнев, хозяин все-таки привел К. сюда; возможно, он все же понял, что из-за своей усталости покинуть дом К. пока что не сможет. Не дожидаясь приглашения сесть, К. сразу же прямо-таки рухнул на один из бочонков. Ему было тут хорошо, в темноте. В большой комнате горела теперь только одна слабая электрическая лампочка — над кранами пивных бочек, и за окнами тоже была еще кромешная тьма; кажется, мела вьюга. Сидящему

здесь, в тепле, следовало быть благодарным и позаботиться о том, чтобы его не выгнали. Хозяин и хозяйка все еще стояли перед ним, словно он все-таки еще представлял определенную опасность, словно при его полной неблагонадежности было совсем не исключено, что он вдруг вскочит и попытается снова проникнуть в коридор. Они и сами устали от ночных страхов и от того, что пришлось раньше времени встать; хозяйка, на которой было широкое коричневое, шелковисто шуршавшее платье, несколько неаккуратно застегнутое и зашнурованное (откуда только она его при такой спешке вытащила?), особенно утомилась, голова ее, словно подрубленная, лежала на плече мужа, она промокала глаза тонким платочком и в промежутках бросала на К. по-детски сердитые взгляды. Чтобы успокоить супругов, К. сказал, что все, что они ему сейчас рассказали, для него совершенно неожиданно, но даже ничего этого не зная, он все-таки не так уж долго пробыл в коридоре, где ему действительно нечего было делать, и, конечно, никого не собирался мучить, а все это произошло только из-за его нечеловеческой усталости. Он благодарит их за то, что они положили конец этой неприятной сцене, если же его привлекут к ответственности,

то он будет это очень приветствовать, потому что только так он сможет предотвратить всеобщее неверное истолкование его поведения. Виновата во всем только его усталость и ничего больше, но происходит эта его усталость оттого, что он еще не привык к напряженности здешних допросов. Он ведь только недавно здесь. Когда он приобретет в этом некоторый опыт, ничего подобного уже не сможет больше повториться. Может быть, он принимает допросы слишком всерьез, но ведь само по себе это, наверное, не недостаток. Ему пришлось пройти один за другим два допроса, первый — у Бюргеля и второй — у Эрлангера (особенно первый очень его измучил), второй, правда, длился недолго: Эрлангер только попросил его об одной любезности, но два подряд — это больше чем он мог в один раз выдержать, не исключено, что и для кого-нибудь другого, скажем, для господина хозяина, это тоже было бы слишком. Он, в сущности, просто еле шел после второго допроса. Это было почти какое-то опьянение, он ведь этих двух господ видел и слышал первый раз в жизни и тем не менее должен был им еще что-то отвечать. Насколько он понимает, все прошло вполне хорошо, но потом случилось это несчастье, которое, однако, после

всего предшествовавшего вряд ли можно ставить ему в вину. К сожалению, Эрлангер и Бюргель не поняли его состояния, иначе они несомненно позаботились бы о нем и предотвратили бы все последующее, но Эрлангер должен был сразу же после допроса уходить, очевидно, ему надо было ехать в Замок, а Бюргель — скорей всего, как раз от их допроса устал (как же в таком случае К. мог его выдержать, не ослабев?), заснул и проспал даже все распределение папок. Имей К. подобную возможность, он с радостью бы ею воспользовался и охотно отказался бы от всякого запрещенного подглядывания, тем более что на самом деле он ведь вообще был не в состоянии что-либо увидеть, и поэтому даже самые чувствительные господа могли безболезненно ему показаться.

Упоминание о двух допросах, особенно о допросе у Эрлангера, и то почтение, с которым К. говорил о господах, расположили к нему хозяина. Он уже, казалось, готов был выполнить просьбу К. — чтобы положили на бочонки какую-нибудь доску и позволили ему поспать хотя бы до рассвета, — но хозяйка была определенно против; без толку одергивая тут и там свое платье — до ее сознания только теперь дошло, что оно не в порядке, — она все время отрицательно качала

головой; очевидно, старый спор по вопросу о чистоте дома готов был разгореться снова. Для К. при его усталости разговор супругов приобретал чрезвычайно большое значение, ему казалось, что если его выгонят и отсюда, то это будет несчастьем, превосходящим все до сих пор пережитое. Этого не должно произойти, даже если хозяин и хозяйка объединятся против него. Сгорбившись на своем бочонке, он в упор, словно из засады, смотрел на них обоих до тех пор, пока хозяйка с ее необыкновенной чувствительностью, на которую К. уже давно обратил внимание, не отступила вдруг в сторону (она, вероятно, разговаривала с хозяином уже о других вещах) и не воскликнула:

— Как он на меня смотрит! Да убери же его наконец отсюда!

Но К., пользуясь случаем и теперь уже совершенно, почти до равнодушия уверенный в том, что останется тут, сказал:

— Я смотрю не на тебя, а только на твое платье.

— А что — мое платье? — возбужденно спросила хозяйка.

К. пожал плечами.

— Идем! — сказала хозяйка хозяину. — Он просто пьян, этот нахал. Оставь его, пусть он тут

проспится! — И, уходя, она еще приказала Пепи (на окрик хозяйки Пепи, растрепанная, усталая, волоча за собой метлу, неожиданно появилась из темноты), чтобы та бросила К. какую-нибудь подушку.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

К. проснулся, и в первый момент ему показалось, что он почти и не спал: в комнате все так же пусто и тепло, стены отодвинулись в темноту, электрическая лампочка над пивными кранами потушена, за окнами — ночь. Но когда он потянулся, упала подушка и заскрипели доска и бочонки, сразу же пришла Пепи, и он узнал, что уже вечер и что он проспал намного больше двенадцати часов. Хозяйка днем несколько раз спрашивала о нем, и Герштеккер (который утром, когда К. разговаривал с хозяйкой, ждал здесь в темноте и пил пиво, но потом уже не посмел беспокоить К.) за это время тоже один раз заходил сюда, разыскивая К., и, наконец, якобы приходила и Фрида и одну минутку постояла около К., но она приходила, скорей всего, не ради К., а потому, что ей здесь надо было кое-что приготовить, ведь с вечера она снова заступает на свое старое место.

— Она, кажется, тебя уже не любит? — спросила Пепи, неся кофе и пирог, но спросила уже не зло, как раньше, а печально, как будто за это время познала мирскую злобу, по сравнению с которой вся ее собственная злоба была бессильна

и бессмысленна.

Она говорила с К. как с товарищем по несчастью, и когда он попробовал кофе и ей показалось, что ему мало сахару, она побежала и принесла полную сахарницу. Впрочем, печаль не помешала ей разукрасить себя в этот раз, пожалуй, еще больше, чем в прошлый; бантов и вплетенных в волосы лент было множество, челка и пряди на висках старательно завиты, а на шее висела цепочка, спускавшаяся в глубокий вырез блузки. Когда К., довольный, что смог наконец выспаться и получил хороший кофе, незаметно зацепил один бант и попытался его развязать, Пепи устало сказала: «Да оставь ты» — и села на бочонок рядом с ним. К. даже не пришлось спрашивать, что у нее за горе, она сама сразу начала рассказывать, устремив неподвижный взгляд в кофейную чашку К., словно даже во время рассказа ей нужно было отвлечение, словно она, даже занятая своим горем, не могла целиком отдаться ему, потому что это было выше ее сил. Прежде всего К. узнал, что на самом деле в несчастье Пепи виноват он, но что она на него за это не сердится. И она, не прерывая рассказа, энергично закивала головой, чтобы не допустить никаких возражений К. Сперва он увел Фриду из пивной и тем самым помог

возвышению Пепи. Нельзя и выдумать ничего другого, что могло бы заставить Фриду уйти с ее поста, она сидела там, в пивной, как паук в паутине, везде имела свои нити, о которых знала только она, вытащить ее оттуда против ее воли было бы совершенно невозможно, только любовь к кому-нибудь из самых низов, то есть что-то такое, что было несовместимо с ее положением, могло ее прогнать с этого места. А Пепи? Разве ж она когда-нибудь думала заполучить себе такое место? Она была горничной, место незначительное, малоперспективное; да, мечты о большом будущем у нее, как у всякой девушки, были, мечтать себе не запретишь, но всерьез она и не думала о каком-то продвижении, с нее было довольно достигнутого. И тут неожиданно исчезла из пивной Фрида, так неожиданно, что у хозяина не оказалось сразу под рукой подходящей замены, он стал искать, и его взгляд упал на Пепи, которая, правда, своевременно протиснулась вперед. В то время она любила К. так, как она еще никогда никого не любила: ведь она месяцами сидела внизу, в своей крохотной темной каморке, и была готова провести там незамеченной годы, а если не повезет, то и всю свою жизнь, — и вот неожиданно появился К., герой, девичий освободитель,

и открыл ей путь наверх. Он, конечно, ничего о ней не знал и сделал это не ради нее, но это ничуть не уменьшает ее благодарности; в ночь перед ее назначением (назначение было еще не точно, но все-таки уже очень вероятно) она целыми часами разговаривала с ним и шептала ему на ухо благодарные слова. И совершенное им еще больше вырастало в ее глазах из-за того, что он взвалил на себя такую обузу, как эта Фрида, в этом было что-то непостижимо самоотверженное; для того чтобы вытащить Пепи, он сделал своей возлюбленной Фриду, некрасивую, старообразную, худую девушку, с короткими, жидкими волосами, к тому же еще скрытную девушку, у которой вечно какие-то тайны, что, конечно же, и связано с ее внешностью: раз уж никаких сомнений, что лицом и телом никудышная, так должны быть, по крайней мере, хоть какие-то тайны, которых никому не проверить, вроде этой ее мнимой связи с Кламмом. И даже такие мысли приходили тогда в голову Пепи: возможно ли, чтобы К. действительно любил Фриду, не обманывает ли он себя — или, может быть даже, он обманывает только Фриду, и, может быть, единственным результатом всего этого будет все-таки только возвышение Пепи, и К. тогда заметит ошибку

или не захочет ее больше скрывать, и больше не станет смотреть на Фриду, а только — на Пепи; и это были вовсе не какие-то сумасбродные Пепины выдумки, потому что, как девушка с девушкой, она очень даже может потягаться с Фридой, этого никто не станет отрицать, и к тому же ведь именно положение Фриды и тот блеск, который она умела ему придать, — вот что в первый же миг ослепило К. И вот Пепи стала мечтать о том, что, когда она займет такое положение, К. приползет к ней на коленях, и у нее тогда будет выбор — или снизойти к К. и потерять место, или отвергнуть его и возвышаться дальше. И она про себя решила, что она от всего откажется, и спустится к нему, и научит его настоящей любви, которой он никогда не смог бы узнать с Фридой и которая не зависит ни от каких самых почетных должностей в мире. Но потом все получилось иначе. А кто в этом виноват? Виноват в первую очередь К. — и потом, конечно, пронырливость Фриды. В первую очередь К., потому что — чего он хочет, что он за странный такой человек? Чего он добивается, какими такими важными делами он занят, что из-за них забывает про самое близкое, самое лучшее, самое прекрасное? Пепи — жертва, и все — глупо, и все пропало, и тот, у кого хватило

бы силы поджечь и спалить весь этот господский трактир, — но чтобы совсем, чтобы и следа не осталось, спалить, как бумагу в печке, — тот стал бы сегодня Пепиным избранником. Да, так вот, Пепи пришла в пивную четыре дня тому назад, считая сегодняшний, незадолго перед обедом. Работа здесь нелегкая, работа здесь почти что убийственная, но зато и достичь можно тоже немалого. Пепи и раньше жила не только сегодняшним днем, и хоть она даже в самых дерзких мечтах не помышляла занять такое место, но все-таки ко многому присматривалась, она знала, что значит такое место, она не шла на него неподготовленной. Неподготовленной на него вообще нельзя идти, иначе его потеряешь в первые же часы. Особенно если вздумаешь вести себя здесь так, как ведут себя горничные! Горничная ведь со временем оказывается совсем заброшенной и забытой; это все равно что работать в каком-нибудь руднике, по крайней мере, в коридоре секретарей это так; не считая нескольких дневных посетителей, которые прошмыгивают туда и обратно и глаза поднять боятся, там по целым дням не встретишь ни одной живой души, кроме двух-трех других горничных, да и те такие же затравленные. По утрам вообще нельзя выходить

из комнаты, потому что секретари желают быть одни, еду с кухни им приносят слуги, горничные обычно до этого не касаются, и во время еды в коридоре тоже нельзя показываться. Только когда господа работают, горничным разрешено убирать, но, само собой, не в занятых, а только в пустующих в это время комнатах, и работу надо делать совсем тихо, чтобы не помешать работе господ. Но как же это можно — убирать тихо, когда господа живут в комнатах по стольку дней, и еще слуги, вся эта грязная банда, таскается туда, и комната, когда она наконец освобождается для горничной, бывает в таком виде, что ее никаким потопом не отмыть. Честное слово, ведь высокие господа, а приходится с трудом пересиливать свою брезгливость, чтобы после них убирать. Вообще-то, работа у горничных не такая уж непомерно большая, но для здоровья вредная. И никогда ни одного доброго слова, всегда только упреки, особенно один, самый обидный и частый: что при уборке пропадают акты. На самом деле ничего не пропадает, каждую бумажечку сдаешь хозяину, то есть, конечно, все равно пропадают, только уж это не из-за девушек. А потом является комиссия, и девушки должны выходить из своей комнаты, и комиссия перерывает постели;

у девушек и имущества-то никакого нет, все их пожитки лежат в какой-нибудь корзинке, но комиссия все равно ищет часами. Само собой, она ничего не находит — как могли бы там оказаться акты? Для чего вообще девушкам акты? Но в результате — все равно опять одни только пересланные через хозяина ругательства и угрозы обманувшейся комиссии. И ни минуты покоя, ни днем ни ночью, полночи шум, и с самого утра опять шум. Если бы хоть не обязательно было там жить, но это обязательно, потому что в остальное время приносить, когда закажут, разные мелочи из кухни, — это все-таки обязанность горничных, особенно ночью. Вечно одно и то же: вдруг стукнут кулаком в дверь, продиктуют заказ, бежишь вниз на кухню, расталкиваешь спящих поварят, оставляешь поднос с заказанным перед дверью комнаты горничных, оттуда его забирают слуги, — как это все тоскливо. Но это еще не самое худшее. Наоборот, самое худшее, это если ничего не заказывают, то есть если глубокой ночью, когда все уже должны бы спать и большинство в самом деле наконец засыпает, иногда к дверям начинает кто-то подкрадываться. Тогда девушки слезают с кроватей (кровати — одна над другой, там ведь везде очень мало места, вся комната

девушек — это, по сути дела, просто большой шкаф с тремя полками), слушают у двери, встают на колени, в ужасе обнимают друг друга. И все время слышно, как за дверью кто-то крадется. Все уж были бы счастливы, если бы он наконец вошел, но ничего не случается, никто не входит. И при этом еще приходится себя уговаривать, что это не обязательно грозит какой-то опасностью, а может быть, это просто кто-то ходит перед дверью туда-сюда, обдумывает, не сделать ли ему какой заказ, но потом все-таки не решается сделать. Может быть, конечно, и так, но, может быть, это что-то совсем другое. По сути дела, господ ведь совсем не знаешь, их ведь почти и не видишь. Что бы там ни было, а девушки в комнате умирают со страху, и когда снаружи наконец становится тихо, прислоняются к стене и у них нет сил даже на то, чтобы залезть обратно в свои кровати. Эта жизнь снова ждет Пепи, уже сегодня вечером она должна снова занять свое место в комнате горничных. И почему? Из-за К. и Фриды. Снова назад в эту жизнь, от которой она только-только смогла убежать, от которой она смогла убежать, конечно, благодаря К., но все-таки и благодаря собственным огромнейшим усилиям. Потому что там, на той работе, девушки опускаются, даже са-

мые аккуратные. Для кого им наряжаться? Никто их не видит, в лучшем случае — кухонный персонал; кому этого довольно, те могут наряжаться. А все остальное время ты или в своей каморке, или в господских комнатах, в которые входить-то в чистой одежде — просто легкомыслие и расточительство. И все время при искусственном свете и в духоте: там беспрерывно топят, и, по сути дела, всегда усталая. Единственный свободный вечер в неделю употребишь в лучшем случае на то, чтобы тихо, без страхов отоспаться в каком-нибудь закутке на кухне. Так для чего тут наряжаться? Да что там, почти и не одеваешься. И тут вдруг Пепи переводят в пивную, где, если только хочешь там удержаться, требуется как раз обратное, где ты все время на виду у людей, а среди них — очень изысканные и придирчивые господа, и где, следовательно, надо выглядеть как можно шикарнее и привлекательнее. Ну, это был поворот. И о себе Пепи может сказать, что она ничего не упустила. Как все сложится дальше — это Пепи не волновало. Что у нее есть таланты, необходимые для этого места, это она знала, в этом она была совершенно уверена, это убеждение у нее осталось даже и теперь, и никто его не сможет у нее отнять, даже сегодня, в день ее поражения — не сможет.

Только как ей было показать себя в самое первое время? — это было трудно, ведь она была бедная горничная без платьев и украшений, а господа не станут дожидаться, пока ты раскачаешься, они хотят сразу, без перехода иметь в пивной такую служанку, как положено, а иначе они отворачиваются. Может показаться, что запросы у них не такие уж большие, раз даже Фрида могла их удовлетворить, но это неверно. Пепи часто об этом думала, к тому же она довольно часто с Фридой встречалась и одно время даже спала с ней. Фриду раскусить нелегко, и если кто не очень осторожен — а кто же из господ очень осторожен? — того она мигом оплетет. Никто не знает лучше самой Фриды, какая у нее убогая внешность; когда, например, увидишь в первый раз ее распущенные волосы, так даже руками всплеснешь от жалости; по-настоящему такую девушку и в горничные-то не следовало брать, она это тоже знает и из-за этого не одну ночь проплакала, прижавшись к Пепи и обкрутив Пепины волосы вокруг своей головы. Но когда она на службе, все ее сомнения улетучиваются, она считает себя самой красивой и находит верный способ внушить это каждому. Она знает людей, вот где ее настоящее искусство. И врет быстро, и не краснеет, и люди не успевают

получше к ней присмотреться. Само собой, надолго бы этого не хватило, у людей все-таки есть глаза, и они бы в конце концов им поверили. Но стоит только ей заметить такую опасность, как у нее тут же готово какое-нибудь другое средство, в последнее время, например, — ее отношения с Кламмом. Ее отношения с Кламмом! А если ты не веришь, так ты же можешь проверить: пойди к Кламму и спроси у него. Как ловко, как ловко. Если же, предположим, ты не смеешь идти к Кламму с таким вопросом, а скорей всего, тебя бы и с бесконечно более важным вопросом к нему не впустили, и Кламм тебе даже совсем недоступен (только тебе и таким как ты, потому что Фрида, например, бегает к нему когда хочет), — если даже так, то все равно ты все можешь проверить, тебе нужно только подождать! Кламм же такой ложный слух не станет терпеть долго, ему же наверняка ужасно важно, что о нем рассказывают в пивной и в комнатах постояльцев, все это имеет для него самое большое значение, и если это — ложь, он это сразу же исправит. Но он этого не исправляет, ну, значит, нечего и исправлять, и все это — чистая правда. Хотя видно только то, что Фрида носит в комнату Кламма пиво и выходит оттуда с оплатой, но о том, чего не видно,

Фрида рассказывает, и приходится ей верить на слово. И она это даже не рассказывает, она ведь не станет разбалтывать такие тайны, нет, эти тайны сами разбалтываются вокруг нее, а когда уж они все равно разболтаны, тогда, конечно, она уже не стесняется и сама о них говорить, но — осторожно, ничего не утверждая; она касается не всего, а только того, что и так всем известно. К примеру, о том, что Кламм с тех пор, как она в пивной, пьет меньше пива, чем раньше (не намного меньше, но все-таки явно меньше), — об этом она не говорит. Конечно, это тоже может быть по разным причинам: может быть, наступило как раз такое время, когда пиво Кламму не так вкусно, или даже он из-за Фриды забывает пить пиво, — так или иначе, но Фрида, как это ни странно, возлюбленная Кламма. Но как же то, что удовлетворяет Кламма, может не восхищать и других? И вот не успеваешь опомниться, как Фрида становится большой красавицей, как раз такой девушкой, какая и должна быть в пивной, — да почти что слишком красивой, слишком могущественной, уже ей в пивной чуть ли не тесно. И действительно, людям кажется странным, что она все еще в пивной; быть служанкой в пивной — это много, при таком месте связь с Кламмом

кажется очень вероятной, но уж если служанка в пивной стала возлюбленной Кламма, то почему он держит ее в пивной, и притом так долго? Почему он не переводит ее выше? Нельзя в тысячный раз говорить людям, что тут нет никакого противоречия, что у Кламма есть свои причины так поступать или что однажды вдруг, может быть, уже в самое ближайшее время, произойдет возвышение Фриды, — все это не очень-то действует; у людей свои представления и надолго отвлечь их от этих представлений никаким искусством нельзя. Ведь никто больше уже не сомневался в том, что Фрида — возлюбленная Кламма; даже те, которые знали об этом явно больше других, и те уже устали сомневаться. «Черт с ней, пусть будет возлюбленной Кламма, — думали они, — но если уж ты возлюбленная, так пусть это будет видно и по твоему возвышению». Но ничего не было видно, и Фрида оставалась в пивной, как и раньше, и в глубине души была еще очень рада, что все так остается. Но уважения к ней в людях поубавилось; само собой, это не могло пройти для нее незамеченным, ведь она обычно замечает вещи еще до того, как они появляются. По-настоящему красивой, любезной девушке, если уж она прижилась в пивной, не надо упо-

треблять никакого искусства: пока она красива, она, если не произойдет какой-нибудь особенно несчастный случай, будет служанкой в пивной. Но девушке вроде Фриды приходится все время волноваться за свое место; ну она этого, понятное дело, не показывает, а обычно, наоборот, жалуется и клянет это место. Но тайком все время следит за настроениями. И вот она видит, что люди стали равнодушными, появление Фриды уже не заслуживает даже того, чтобы посмотреть в ее сторону, даже слуги больше не обращают на нее внимания (слуги, понятное дело, предпочитали Ольгу и других таких же девушек), и по обращению хозяина она тоже замечает, что становится все менее незаменимой, и выдумывать все новые истории про Кламма тоже нельзя, всему есть предел; вот тогда и решает наша Фрида, что нужно что-нибудь новенькое. Кто бы сумел сразу это разгадать! Пепи подозревала это, но разгадать, к сожалению, не смогла. Фрида решает устроить скандал: она, возлюбленная Кламма, бросится на шею первому встречному, по возможности — из самых низких. Это привлечет всеобщее внимание, об этом будут много говорить и наконец, наконец снова вспомнят, что значит быть возлюбленной Кламма и что значит отвергнуть

эту честь в упоении новой любви. Только трудно было найти подходящего мужчину, чтобы разыграть с ним эту хитро задуманную игру. Это не мог быть знакомый Фриды, и не мог быть кто-то из слуг: слуга, скорей всего, вытаращил бы на Фриду глаза и пошел бы дальше, а главное, он не сумел бы держаться достаточно серьезно, и при всей речистости невозможно было бы рассказывать, будто бы он преследовал Фриду, будто бы она не могла себя защитить от него и будто бы в минуту беспамятства она ему уступила. И потом, хотя это и должен был быть кто-то из самых низких, но все же — кто-то такой, про которого можно было бы правдоподобно изобразить, что, несмотря на свою тупость и неотесанность, он воспылал не к какой другой, а именно к Фриде, и не желал ничего лучшего, как — господи ты, боже мой! — на Фриде жениться. Но хотя это и должен был быть простолюдин, и желательно еще более низкий, чем слуга, — намного более низкий, чем слуга, но все же такой, из-за которого не каждую девушку осмеют, в котором, может быть, и другая понимающая девушка при случае могла бы найти что-то привлекательное. Но где же взять такого мужчину? Другая девушка, скорей всего, напрасно искала бы его всю жизнь, — Фридино счастье

привело в пивную землемера, может быть, как раз в тот вечер, когда ей в голову впервые пришел этот план. Землемер! Да о чем вообще этот К. думает? Что за мысли такие необычайные у него в голове? Он — что, добьется чего-то необычайного? Хорошей должности? Награды? Да хочет ли он вообще чего-то такого? Ну тогда он с самого начала должен был приступать к делу иначе. Ведь он же — полное ничто, это же одно горе, как посмотришь на его положение. Он — землемер, это, наверное, что-то значит, он, следовательно, что-то изучал, но если он не знает, что с этим делать, то это все равно опять — ничто. И при этом он еще предъявляет претензии, без малейшего стеснения предъявляет претензии, — не то чтобы прямо, но ведь видно, что у него есть какие-то претензии, это же просто вызывающе. Да знает ли он, что даже горничная в чем-то роняет себя, когда подольше с ним поговорит. И со всеми этими необычайными претензиями он сразу в первый же вечер попадается в самую простую ловушку. И ему не стыдно? И что его так соблазнило во Фриде? Теперь-то он мог бы в этом признаться. Разве она могла в самом деле ему понравиться, эта тощая желтая вешалка? Ах нет, ведь он на нее даже как следует не посмотрел, она ему только

сказала, что она возлюбленная Кламма, для него это еще была оглушительная новость, и тут-то он и пропал! Ну а ей, естественно, пришлось уходить из господского трактира, там ей теперь было не место. Пепи видела ее и в то утро перед уходом: сбежался весь персонал, каждому ведь интересно было посмотреть на такое. И так еще велика была ее власть, что ей сочувствовали все, даже ее враги сочувствовали ей, так верен оказался уже в самом начале ее расчет; броситься на шею подобному человеку — всем казалось, что это непостижимо и удар судьбы, а маленькие служаночки с кухни, которые, естественно, восхищаются всякой служанкой в пивной, были просто безутешны. Даже Пепи была тронута, даже она не могла полностью уберечься, хотя вообще-то ее внимание привлекло кое-что другое. Ей бросилось в глаза то, как вообще-то мало была огорчена Фрида, ведь ее постигло, по сути дела, ужасное несчастье. Она, правда, делала вид, будто она очень несчастна, но этого было недостаточно, такая игра не могла обмануть Пепи. Что же в таком случае ее поддерживало? Может быть, новая счастливая любовь? Ну, это объяснение отпадало. Но что же тогда еще? Что давало ей силы оставаться такой же, как всегда, прохлад-

но-дружелюбной даже по отношению к Пепи, которая тогда уже считалась ее преемницей? У Пепи тогда не было времени об этом задуматься, у нее было слишком много хлопот с подготовкой к новому месту. Ей, скорей всего, через несколько часов надо было на него заступать, а у нее еще не было ни красивой прически, ни элегантного платья, ни тонкого белья, ни приличных туфель. Все это нужно было за несколько часов раздобыть: если ты не можешь себя как следует подать, тогда лучше вообще отказаться от этого места, иначе ты его потеряешь в первые же полчаса, это уж точно. Ну, отчасти это ей удалось. Для укладывания волос у нее было одно специальное приспособление (один раз ее даже хозяйка специально вызывала, чтобы делать ей прическу, потому что у нее такая легкая рука), правда, ее густые волосы сразу укладываются как только хочешь. И с платьем тоже удалось выкрутиться. Обе ее коллеги остались ей верны, ведь и для них это тоже какая-никакая, а честь, когда девушка именно из их чулана становится служанкой в пивной; и потом ведь Пепи, придя к власти, могла бы принести им немало пользы. У одной из девушек давно уже лежал дорогой материал, это было ее сокровище, она много раз доставала

его, чтобы остальные на него любовались, без конца мечтала, как она когда-нибудь сделает себе из него что-нибудь грандиозное, и вот теперь — это было очень мило с ее стороны — она им пожертвовала, потому что он был нужен Пепи. И обе со всей готовностью помогали ей шить; шей они для себя, они не могли бы стараться больше. Это была даже очень веселая, радостная работа. Они сидели, каждая на своей кровати, одна над другой, шили, и пели, и передавали друг другу вверх и вниз готовые части и принадлежности для шитья. Когда Пепи вспоминает это, у нее делается еще тяжелее на сердце оттого, что все было напрасно и она с пустыми руками снова возвращается к своим подругам! Какое несчастье и какое преступное легкомыслие — прежде всего со стороны К.! Как все тогда радовались платью, оно казалось залогом успеха, а когда после всего еще нашлось место для ленточки, исчезли последние сомнения. И разве это платье в самом деле не красиво? Оно теперь уже помялось и немного запачкалось, у Пепи же другого платья нет, ей приходилось день и ночь носить это, но и сейчас еще видно, какое оно красивое, даже эта проклятая Барнабасиха не могла бы сшить лучше. И его можно по желанию затянуть и снова

распустить и вверху, и внизу, так что хотя это только одно платье, но оно получается очень разным, — это его особое преимущество и, по сути дела, ее изобретение. Правда, шить на нее нетрудно; Пепи этим не хвастается, ведь молодой, здоровой девушке идет все. Куда труднее было достать белье и сапоги, вот тут-то, по сути дела, и начался провал. Подруги и здесь выручили, как только смогли, но они могли немного. Белье, которое они собрали и сшили из лоскутков, было все равно очень грубым, и вместо сапожек на высоких каблучках пришлось остаться в комнатных туфлях, которые лучше было бы спрятать и никому не показывать. Пепи утешали: мол, и Фрида тоже не очень-то красиво одевалась и иногда ходила таким чучелом, что посетители предпочитали, чтобы их обслуживали кельнеры, а не она. Это на самом деле так и было, но Фриде так можно было делать, она уже была в милости и в почете; если какая-нибудь дама вдруг появится грязно и неряшливо одетой, то это будет еще обольстительней, но если такое сделает новенькая вроде Пепи? И, кроме того, Фрида вообще не могла хорошо одеваться, у нее же нет никакого вкуса; если у кого кожа желтоватая, то приходится, конечно, в ней оставаться, но зачем же

еще, как Фрида, напяливать кремовую блузку с глубоким вырезом, чтобы от всей этой желтизны в глазах плыло? И дело не только в этом, она же была слишком жадная, чтобы хорошо одеваться; все, что она зарабатывала, она откладывала, никто не знает на что. На работе ей денег не надо было, она обходилась ложью и увертками, подражать такому примеру Пепи не хотела и не могла, и потому правильно делала, что старалась нарядиться и уже с самого начала показать себя в лучшем виде. И если б только у нее были для этого посильнее средства, то, несмотря на всю ловкость Фриды, несмотря на всю дурость К., она вышла бы победительницей. Ведь и началось-то все очень хорошо. Знать и уметь там надо не много, это она выяснила заранее. Едва очутившись в пивной, она уже чувствовала себя там как дома. По работе никто не замечал отсутствия Фриды. Только на второй день посетители стали интересоваться, куда же, собственно, девалась Фрида. Не было ни одной ошибки, хозяин был доволен, в первый день он с перепугу все время сидел в пивной, потом заходил уже только время от времени, и наконец, поскольку касса сходилась (выручка в среднем была даже несколько больше, чем при Фриде), он уже совсем все оставил на Пепи. Она

стала вводить новшества. Фрида — не от усердия, а от жадности, от властолюбия, от страха уступить кому-то что-то из своих прав — командовала и слугами, по крайней мере, иногда, в особенности когда кто-нибудь за ней наблюдал; Пепи, напротив, полностью передала эту работу кельнерам, которые к тому же для этого и гораздо больше подходят. Зато у нее оставалось больше времени для комнаты господ; посетители обслуживались быстро, и тем не менее она могла еще с каждым перекинуться парой слов — не то что Фрида, которая якобы целиком сохраняла себя для Кламма и всякое слово, всякое приближение к ней кого-то другого считала оскорблением Кламму. Это, правда, было и умно, потому что если она когда-то кого-то к себе подпускала, то это было уже неслыханной милостью, но Пепи ненавидит такие уловки, к тому же для начала они не годятся. Пепи была со всеми дружелюбна, и все отплачивали ей за это дружелюбием. Было видно, как все рады перемене; ведь когда заработавшийся господин разрешает себе наконец немножко посидеть за пивом, его можно одним словом, одним взглядом, одним пожатием плеч буквально превратить в другое существо. У всех так чесались руки потрепать Пепины локоны,

что ей приходилось, наверное, раз десять на дню обновлять прическу: при виде этих соблазнительных локонов и лент никто не может устоять, даже К., который обычно ведь ничего не видит. Так пролетели эти дни, принесшие столько волнений, работы и успехов. Если бы они не пролетели так быстро, если бы их было хоть немножко больше! Четырех дней слишком мало, даже если стараешься изо всех сил; может быть, пятого дня уже хватило бы, но четырех было слишком мало. Правда, Пепи и за четыре дня успела приобрести себе покровителей и друзей, и если бы она могла верить всем взглядам, то, поднося посетителям кружки с пивом, она просто купалась бы в сплошном море дружбы, а один писец, по фамилии Бартмейер, влюбился в нее до безумия и преподнес ей эту цепочку и медальончик, и в медальончик вложил свой портрет, что, разумеется, было дерзостью; было это, было и другое, но все равно у нее было только четыре дня; за четыре дня, если Пепи очень постарается, Фриду могут почти забыть, но все-таки не совсем, — и ее бы все-таки забыли, и может быть, еще скорее, если бы она предусмотрительно не устроила громкий скандал и не осталась благодаря ему на устах у всех: она через это стала для людей новой, и они

из одного любопытства хотели опять ее увидеть; то, что уже надоело им до отвращения, теперь, благодаря стараниям этого в общем совершенно никому не интересного К., снова стало для них заманчивым; правда, Пепи они ради этого не отдали бы — до тех пор, пока она бы там стояла и влияла на них своим присутствием, но ведь там по большей части — престарелые господа со своими тяжеловесными привычками; пока они привыкнут к новой служанке в пивной, проходит, как бы ни была им выгодна эта перемена, несколько дней, — помимо воли этих господ все-таки проходит несколько дней, но четырех не хватает: Пепи, несмотря ни на что, все еще считается только временной. И еще одно, может быть, самое большое несчастье: за эти четыре дня Кламм, хотя оба первых дня он был в деревне, ни разу не спустился в комнату для постояльцев. Если бы он пришел, это было бы решающим испытанием для Пепи, — испытанием, которого она, кстати, меньше всего боялась, которому она бы скорее обрадовалась. Она бы (таких вещей, правда, лучше всего вообще не касаться в разговорах) не стала возлюбленной Кламма — и завираться, что она возлюбленная, тоже бы не стала, но она сумела бы, по крайней мере, так же любезно, как

Фрида, поставить стакан пива на стол, изящно, без Фридиной навязчивости поздороваться и изящно предложить свои услуги, и если Кламм в глазах девушки вообще что-то ищет, то в Пепиных глазах он нашел бы этого досыта. Но почему он не пришел? Случайно? Пепи тогда тоже так считала. Оба эти дня она ожидала его каждую минуту, даже ночью она ждала. «Сейчас придет Кламм», — думала она все время и носилась взад и вперед без всякой причины, единственно от беспокойства ожидания и желания увидеть его первой, сразу же, как только он войдет. Это беспрерывное разочарование очень измучило ее, может быть, поэтому она и делала не так много, как могла бы делать. Как только у нее появлялась свободная минута, она прокрадывалась наверх в коридор, заходить в который персоналу строго воспрещается, прижималась там к стене в какой-нибудь нише и ждала. «Если б только сейчас пришел Кламм, — думала она, — если б только я могла вытащить этого господина из его комнаты и на своих руках снести вниз, в комнату постояльцев! Под таким грузом я бы не рухнула, уж как бы он там ни был велик». Но он не шел. В этом коридоре наверху так тихо, что этого даже нельзя себе представить, если там не был. Так

тихо, что там нельзя долго выдержать, тишина гонит тебя прочь. Но десятки раз изгнанная, Пепи десятки раз вновь и вновь поднималась наверх. Это было, конечно, бессмысленно. Если бы Кламм захотел прийти, он бы пришел, но раз он не хотел идти, Пепи его было не выманить, хоть бы она там, в этой нише, задыхалась до полусмерти от сердцебиения. Это было бессмысленно, но раз он не шел, то ведь и почти все было бессмысленно. А он не шел. Сегодня Пепи знает, почему Кламм не шел; Фрида бы очень повеселилась, если бы она могла видеть Пепи наверху в коридоре в этой нише, прижимающую обе руки к сердцу. Кламм не сошел вниз, потому что этого не допустила Фрида. И действовала она не просьбами, ведь ее просьбы не доходили до Кламма. Но она же, паучиха эта, везде имеет связи, о которых никто не знает. Когда Пепи говорит что-то кому-нибудь из посетителей, она говорит это открыто, так, что и соседний столик все слышит. А Фриде сказать нечего, она ставит пиво на стол и уходит — только шуршит ее шелковая нижняя юбка, единственное, на что она тратит деньги. И если уж она когда-нибудь что-то скажет, то и тогда — не в открытую, тогда она нашептывает это посетителю и наклоняется к нему так, что за соседними

столиками уши навостряют. Конечно, то, что она говорит, скорей всего, не важно, но все-таки не всегда: связи у нее есть, она подкрепляет их одни другими, и если даже большая часть отказывает (кто будет долго помнить о Фриде?), то какая-нибудь иногда все-таки срабатывает. Эти-то связи она и начала теперь употреблять. А предоставил ей эту возможность К.: вместо того чтобы сидеть возле нее и стеречь ее, он почти не бывает дома, ходит везде, ведет там и тут беседы, обращает внимание на все, что угодно, только не на Фриду, и наконец, чтобы ей было еще свободнее, переселяется из предмостного трактира в пустую школу. Хорошенькое начало медового месяца, нечего сказать! Ну кто-кто, а Пепи, разумеется, не станет упрекать К. за то, что он недолго выдержал возле Фриды, возле нее нельзя долго выдержать. Но почему тогда он не бросил ее совсем, почему он каждый раз снова к ней возвращается, почему он своими хождениями создает видимость того, что он борется за нее? Это же выглядит так, как будто, только соприкоснувшись с Фридой, он обнаружил свое действительное ничтожество, захотел стать достойным Фриды, захотел как-то выбиться наверх и поэтому пока отказался от радости быть вместе с ней, чтобы потом без помех

вознаградить себя за все лишения. Между тем Фрида времени не теряет, она сидит в школе, куда она-то, скорей всего, К. и затащила, и наблюдает за господским трактиром, и наблюдает за К. Под рукой у нее отличные посыльные: помощники К., которых он (это невозможно понять, даже зная К., понять это невозможно) полностью предоставил ей. Она посылает их к своим старым друзьям, напоминает о себе, жалуется, что ее держит в плену такой человек, как К., натравливает всех на Пепи, возвещает о своем скором появлении, просит помощи, умоляет не рассказывать ничего Кламму, изображает, будто Кламма якобы надо оберегать и поэтому ни в коем случае нельзя разрешать ему спускаться вниз, в пивную. Перед теми она изображает заботу о Кламме, а хозяину выдает это за свой успех: мол, обратите внимание, Кламм-то больше не приходит, и как же ему приходить, когда внизу обслуживает всего-навсего какая-то Пепи? И хоть хозяин и не виноват и эта Пепи все-таки еще лучшая замена из того, что было, но только не удовлетворяет она даже и на несколько дней. И обо всей этой Фридиной деятельности К. ничего не знает; когда он не занят хождениями по округе, он, ни о чем не подозревая, лежит у ее ног, в то время как она считает часы, кото-

рые еще отделяют ее от пивной. Но помощники выполняют не одну только посыльную службу, они служат еще для того, чтобы заставлять К. ревновать, чтобы подогревать его! Фрида знает этих помощников с детства, никаких тайн друг от друга у них наверняка уже нет, но в честь К. они с Фридой начинают страстно друг друга желать, и для К. появляется опасность, что тут будет большая любовь. И К. делает в угоду Фриде все, даже самое несуразное, он позволяет разжигать в себе ревность к помощникам, но при этом терпит, чтобы эти трое оставались вместе, пока он ходит один в свои походы. Выглядит это почти так, словно он — третий Фридин помощник. И вот наконец, подытожив свои наблюдения, Фрида решается на главный удар: она возвращается. И действительно, уже пора, самое время; нужно только удивляться, как Фрида, хитрюга такая, чувствует это и использует; умение наблюдать и принимать решения — это Фридино неподражаемое искусство, если бы Пепи им владела, насколько иначе сложилась бы ее жизнь! Останься Фрида в школе еще на один-два дня — и Пепи уже было бы не прогнать, она уже окончательно стала бы служанкой в пивной, всеми любимой и поддерживаемой, и заработала бы достаточно

денег, чтобы блестяще дополнить свое скудное снаряжение; еще один-два дня, и уже никакими кознями нельзя было бы удержать Кламма от комнаты постояльцев, он пришел бы, выпил, почувствовал себя уютно и был бы — если б вообще заметил отсутствие Фриды — очень доволен переменой; еще один-два дня, и Фрида со своим скандалом, со своими связями, с помощниками — со всем этим вместе была бы окончательно и бесповоротно забыта и никогда бы уже больше не поднялась. Тогда, может быть, она тем крепче стала бы держаться за К. и, может быть, смогла бы — при условии, что она вообще на это способна, — научиться действительно его любить? Нет, и это не так. Потому что тогда и К. не понадобилось бы больше одного дня, чтобы она ему надоела, чтобы он понял, как подло она его обманывает — всем: своей мнимой красотой, своей мнимой верностью и больше всего этой мнимой любовью Кламма; всего лишь один день, не больше, понадобился бы ему, чтобы выгнать ее из дома за все ее грязные истории с помощниками; подумать только, даже К. не понадобилось бы больше. И в этот момент, когда она оказалась между двух огней, когда над ней уже буквально начала смыкаться могила (К. по своей простоте еще оставлял

открытым последний узкий выход), — в этот момент она удирает. Вдруг она — почти никто уже этого не ожидал, это противно природе — вдруг именно она прогоняет К., который все еще ее любит и все еще за ней бегает, и, продвигаемая стараниями друзей и помощников, является к хозяину как спасительница, благодаря скандалу куда более привлекательная, чем раньше, желанная — это уже доказано — и для самого низкого, и для самого высокого, но для низкого доступная лишь на одно мгновение и, как положено, быстро его отталкивающая, и вновь, как раньше, для него и для всех недостижимая; только раньше во всем этом — и не зря — сомневались, а теперь снова стали убеждены. Итак, она возвращается обратно, хозяин, косясь на Пепи, колеблется, должен ли он пожертвовать ею, когда она так хорошо себя зарекомендовала, но вскоре его в этом убеждают, слишком многое говорит в пользу Фриды, и главное — она же снова привлечет Кламма в комнату постояльцев. Вот с чем мы остались на сегодняшний вечер. Пепи не станет ждать, пока придет Фрида и устроит из своего вступления на место триумф. Кассу она уже сдала хозяйке, она может идти. Постель на ее полке в комнате служанок для нее уже готова, ее встретят

плачущие подруги, она сорвет с себя платье, с головы — ленты и засунет все в какой-нибудь угол, где это будет надежно укрыто и не будет понапрасну напоминать о временах, которые надо забыть. Потом она возьмет большое ведро и метлу, стиснет зубы и примется за работу. Но перед тем как уйти, она должна была рассказать это К., чтобы он, все еще не научившийся понимать такие вещи без посторонней помощи, наконец ясно увидел, как некрасиво он поступил с Пепи и какой несчастной он ее сделал. Правда, и его тут просто использовали.

Пепи кончила. С облегчением вздохнув, она вытерла несколько слезинок с глаз и щек и посмотрела на К., кивая головой так, словно хотела сказать, что, в сущности, речь здесь идет не о ее несчастье, она сумеет его перенести и ей не нужно для этого ни помощи, ни утешений от кого бы то ни было и уж от К. — в последнюю очередь, она, несмотря на свою молодость, знает жизнь, и ее несчастье только подтверждает это, но речь идет о К., ему хотела она обрисовать всю картину, даже после крушения всех ее надежд она считала необходимым это сделать.

— Что за дикие у тебя фантазии, Пепи, — сказал К. — И это ведь совсем не правда, что ты только те-

перь открыла все эти вещи, это ведь не что иное, как мечты, принесенные снизу, из вашей темной, узкой комнатки служанок, там они уместны, но здесь, в широкой пивной, звучат странно. И само собой разумеется, что с такими мыслями ты не могла здесь удержаться. И твое платье, и твоя прическа, которыми ты так хвастаешься, — всего лишь порождения той темноты и тех кроватей вашей комнаты, там они наверняка очень красивы, но здесь все смеются над ними, тайно или явно. И что ты вообще рассказываешь? Меня, значит, использовали и предали? Нет, милая Пепи, меня так же мало использовали и предали, как и тебя. Это верно, что Фрида в настоящий момент меня оставила или, как ты выражаешься, «удрала» с одним из помощников, какой-то отблеск правды ты видишь: и то, что она станет моей женой, действительно тоже очень маловероятно, — но то, что она мне надоела, или что я бы ее уже прямо на следующий день выгнал, или что она меня предала, как вообще женщина может предать мужчину, — это целиком и полностью неверно. Вы, служанки, привыкли подглядывать в замочную скважину, и отсюда у вас такой образ мышления: из какой-нибудь мелочи, которую вы действительно видите, вы делаете столь же гран-

диозные, сколь и неверные выводы о целом. И из этого следует, что я, например, знаю в данном случае намного меньше, чем ты. Я далеко не так точно, как ты, могу объяснить, почему Фрида меня оставила. Наиболее вероятным объяснением мне кажется то, которое вскользь и ты затронула, но не использовала: что я ею пренебрегал. Это, к сожалению, правда, я ею пренебрегал, но на то были особые причины, которые сюда не относятся; я был бы счастлив, если бы она ко мне вернулась, но я бы тут же снова начал ею пренебрегать. Это уж так. Когда она была со мной, я все время проводил в этих высмеянных тобой хождениях; теперь, когда ее нет, я почти ничего не делаю, я чувствую усталость, мне чем дальше, тем меньше вообще хочется что-то делать. Не посоветуешь ли ты мне что-нибудь, Пепи?

— Посоветую, — вдруг оживившись и схватив К. за плечи, откликнулась Пепи. — Нас обоих предали, давай останемся вместе. Пойдем со мной вниз, к девушкам!

— До тех пор, пока ты жалуешься на предательство, — сказал К., — мы с тобой не договоримся. Тебе все время хочется быть преданной, потому что тебе это льстит и потому что тебе приятно жалеть себя. А правда заключается в том, что ты

этой должности не соответствуешь. Насколько очевидно должно быть это несоответствие, если даже я, самый, по твоему мнению, невежественный, его вижу. Ты хорошая девушка, Пепи, но это не так-то просто понять: я, например, вначале посчитал тебя заносчивой и жестокой, но ты не такая, просто эта должность сбивает тебя с толку, потому что ты ей не соответствуешь. Я не хочу сказать, что эта должность для тебя слишком высокая, это ведь совсем не какая-то исключительная должность, возможно, она, если вдуматься, несколько более почетна, чем твоя прежняя, но в целом разница невелика, скорее они обе похожи так, что и не различишь; пожалуй, можно даже утверждать, что место горничной следовало бы предпочесть этой пивной, ведь там постоянно находишься среди секретарей, а здесь, даже учитывая то, что в комнате для постояльцев случается обслуживать и начальников, все же приходится путаться и с самым низким сбродом, например со мной, я ведь по закону даже не имею права нигде находиться, кроме как именно здесь, в пивной, и разве возможность со мной пообщаться — такой уж ни с чем не сравнимый почет? Ну, тебе кажется, что это так, и, возможно, у тебя есть для этого основания, но именно поэто-

му ты и не соответствуешь. Это такое же место, как и всякое другое, но для тебя это — царство небесное, и по этой причине ты хватаешься за все с преувеличенным рвением, украшаешь себя так, как, по твоему мнению, украшены ангелы (а они в действительности не такие), дрожишь за это место, тебе кажется, что тебя все время преследуют, своим чрезмерным дружелюбием ты стараешься привлечь к себе всех, кто, по твоему мнению, мог бы тебя поддержать, но этим только беспокоишь и отталкиваешь их, потому что в трактире они хотят иметь покой, а не добавлять к своим заботам еще заботы служанки из пивной. Возможно даже, что после ухода Фриды никто из высоких гостей этого события, в сущности, не заметил, но сегодня они об этом знают и действительно очень хотят Фриду, потому что ведь Фрида, наверное, делала все совершенно иначе. Какой бы она ни была в остальном и что бы она ни говорила про свою должность, на службе она была многоопытна, холодна и строга, ты же сама это подчеркивала, не сумев, впрочем, ничего извлечь для себя из этого урока. Ты когда-нибудь обращала внимание на ее взгляд? Ведь это был взгляд совсем не служанки в пивной, это был уже почти взгляд хозяйки. Она видела всех, но при

этом видела и каждого в отдельности, и взгляд, который приходился на долю каждого, был еще достаточно силен, чтобы подчинить его. Что из того, что она немного худа, немного старовата, что можно вообразить себе более густые волосы, — все это мелочи в сравнении с тем, чем она была в действительности, и как раз тот, кому такие недостатки мешали, только показывал этим, что у него не хватает соображения на большее. Кламма в этом, конечно, не упрекнешь, и только твой ошибочный взгляд на вещи — ты девушка молодая и неопытная — мешает тебе поверить в любовь Кламма к Фриде. Кламм кажется тебе недостижимым — и правильно кажется, — и поэтому ты полагаешь, что и Фрида не могла подступиться к Кламму; ты ошибаешься. Я, даже не имея несомненных доказательств, поверил бы одним Фридиным словам об этом. Каким бы неправдоподобным это тебе ни казалось и как бы ни было тебе трудно связать это с твоими представлениями о мире, и о характере чиновников, и об изысканности, и о воздействии женской красоты, — это тем не менее правда; так же, как мы сидим здесь рядом и я беру твою руку в свои, так, наверное, сидели рядом, словно это самое обычное, само собой разумеющееся дело, и Кламм

с Фридой; и он добровольно спускался вниз, даже торопился сойти, и никто не караулил его в коридоре и не бросал ради этого своей работы. Кламм сам должен был побеспокоиться, чтобы сойти вниз, и огрехи в одежде Фриды, от которых ты бы пришла в ужас, ему нисколько не мешали. Она не хочет ей верить! Ты даже не понимаешь, как ты себя этим выдаешь, как ты именно этим показываешь свою неопытность! Даже тот, кто вообще ничего не знал бы о ее связи с Кламмом, должен был бы по ее характеру понять, что его сформировал кто-то повыше, чем ты и я, и весь этот деревенский люд, и что ее разговоры выходят за рамки тех шуток, которые приняты между посетителями и кельнершами и, кажется, составляют цель твоей жизни. Но я несправедлив к тебе. Ты ведь сама очень хорошо понимаешь превосходство Фриды, замечаешь ее умение наблюдать, ее решительность, ее влияние на людей, а вот истолковываешь все неверно; ведь ты считаешь, что все это она эгоистично употребляет только для своей пользы и во зло тебе или даже — как оружие против тебя. Нет, Пепи, даже имей она такие стрелы, она бы не стала пускать их на такое маленькое расстояние. Эгоистична? Скорее можно было бы сказать, что она, пожертвовав

тем, что имела, и тем, чего могла ожидать, дала нам обоим возможность проявить себя на более высоких постах, но что мы оба ее разочаровали и просто-таки вынудили снова сюда вернуться. Я не знаю, так ли это, и моя вина мне тоже совершенно не ясна, но когда я сравниваю себя с тобой, мне чудится что-то в этом роде; словно бы мы оба слишком сильно, слишком шумно, слишком по-детски и неопытно старались, плача, царапаясь и цепляясь, вытребовать то, что с Фридиным, например, спокойствием и Фридиной деловитостью можно было бы получить легко и незаметно — так ребенок цепляется за скатерть, но ничего этим не достигает, а только сбрасывает все с роскошного стола, и ему никогда уже ничего оттуда не достанется, — я не знаю, так ли это, но то, что это больше похоже на правду, чем твои рассказы, это я знаю.

— Ну да, — сказала Пепи, — ты влюблен во Фриду, потому что она от тебя сбежала, ее нетрудно любить, когда ее нет. Ну пусть будет как ты хочешь и пусть ты во всем прав, даже в том, что надо мной насмехаешься, — но что ты собираешься делать теперь? Фрида от тебя ушла, надежды, что она к тебе вернется, ни по моему объяснению, ни по твоему у тебя нет, и даже если

она вернется, пока что тебе все равно где-то нужно жить; сейчас холодно, а у тебя нет ни работы, ни ночлега, — пойдем к нам, мои подруги тебе понравятся, мы постараемся, чтобы тебе было уютно, ты будешь помогать нам в работе, нам одним она в самом деле слишком тяжела, и мы, девушки, уже не будем предоставлены только сами себе, и не будем ночью мучиться от страха. Пойдем к нам! Мои подруги тоже знают Фриду, мы будем рассказывать про нее истории, пока тебе от этого тошно не станет. Идем, ну! У нас и карточки Фридины есть, и мы тебе их покажем. Тогда Фрида была еще невзрачнее, чем теперь, ты вряд ли даже ее узнаешь — разве что по глазам, они у нее уже тогда были хищные. Ну так что, ты идешь?

— А разве это разрешается? Вчера вон уже был здоровенный скандал из-за того, что меня поймали в вашем коридоре.

— Это из-за того, что тебя поймали, а если ты будешь у нас, тебя не поймают. Никто не будет о тебе знать, только мы трое. Ах, это будет весело. Мне уже жизнь там кажется намного легче, чем еще несколько минут назад. Может быть, я тогда совсем не так много теряю из-за того, что должна отсюда уйти. Знаешь, мы и втроем там

не скучали: приходится подслащивать себе эту горькую жизнь, нам ведь уже в юности несладко пришлось, так что мы втроем держимся друг за друга: мы живем так славно, как только можно там жить, особенно Генриетта тебе понравится, но и Эмилия тоже, я им о тебе уже рассказывала; там такие истории слушаются с недоверием, как будто в самом деле за стенами этой комнаты ничего произойти не может; там тепло и тесно, и мы прижимаемся друг к другу еще теснее, — нет, мы не опротивели друг другу, хотя мы предоставлены только сами себе, напротив, когда я вспоминаю о моих подругах, я почти готова снова туда вернуться: почему я должна пойти дальше их? Ведь как раз потому мы и держались друг за друга, что у всех нас троих одинаково не было будущего, и вот я все-таки пробилась и отдалилась от них. Правда, я их не забыла, и это у меня была первейшая забота: как бы мне для них что-нибудь сделать; мое собственное положение было еще ненадежно (насколько оно было ненадежно, я себе даже не представляла), а я уже заводила разговоры с хозяином про Генриетту и Эмилию. Насчет Генриетты хозяин не так чтоб очень упрямился, а вот с Эмилией, которая намного старше нас, ей примерно столько

же, сколько Фриде, не было никакой надежды. Но представь себе, они же совершенно не хотят уходить оттуда; они знают, что жизнь, которую они там ведут, — жалкая жизнь, но они уже покорились, добрые души; мне кажется, когда мы прощались, они плакали больше всего от тоски, что я должна покинуть нашу общую комнату, идти на холод (нам там кажется, что за стенами нашей комнаты везде холод) и в больших чужих залах драться с большими чужими людьми за право тянуть свою лямку, а ведь я это прекрасно делала и раньше в нашем общем хозяйстве. Они, скорей всего, нисколько не удивятся, когда я теперь снова вернусь, и только за компанию немного поплачут со мной и погорюют о моей судьбе. Но потом они увидят тебя и поймут, как это все-таки хорошо, что я уходила. Они будут счастливы, что у нас теперь появится мужчина, помощник и защитник, а оттого, что все должно оставаться в тайне, и оттого, что эта тайна свяжет нас еще теснее, чем раньше, они будут просто в восторге. Идем, о пожалуйста, идем к нам! У тебя же не будет никаких обязательств, ты не будешь навсегда связан с нашей комнатой, как мы. Если потом наступит весна и ты найдешь себе приют где-то в другом месте, и у нас тебе больше не бу-

дет нравиться, ты ведь сможешь уйти, — только тайну ты, разумеется, и тогда должен будешь сохранять и уже не выдавать нас, потому что иначе это будет наш последний час в господском трактире, и во всем остальном тебе, пока ты будешь у нас, тоже, конечно, придется быть осторожным, не появляться в таких местах, которые мы не посчитаем безопасными, и вообще слушаться наших советов, это единственное, что тебя будет связывать, но ведь ты и сам должен быть в этом заинтересован не меньше нас, в остальном же ты совершенно свободен, а работа, которую мы тебе определим, не будет слишком тяжелой, этого можешь не бояться. Ну что, идешь?

— А сколько еще до весны? — спросил К.

— До весны? — повторила Пепи. — Зима у нас долгая… очень долгая у нас зима и однообразная. Но мы внизу на это не жалуемся, от зимы мы защищены. Ну, когда-то приходят и весна, и лето, и тоже, наверное, длятся сколько положено, но сейчас, когда о них вспоминаешь, весна и лето кажутся такими короткими, словно они длились чуть больше двух дней, и даже в эти дни, даже в самый распрекрасный день вдруг возьмет да и пойдет иногда снег.

Дверь неожиданно открылась. Пепи вздрог-

нула: в своих мыслях она унеслась слишком далеко от пивной, но это была не Фрида, это была хозяйка. Она изобразила удивление по поводу того, что К. все еще здесь. К., извинившись, объяснил, что он ждал хозяйку, и по ходу объяснения поблагодарил ее за то, что ему было позволено здесь переночевать. Хозяйка не понимала, для чего это К. ее ждал. К. сказал, что у него сложилось впечатление, будто хозяйка хочет еще с ним поговорить, он просит прощения, если он ошибся, впрочем, ему теперь так и так пора идти, он слишком надолго оставил без присмотра школу, где он сторож, все это из-за вчерашнего вызова, у него еще слишком мало опыта в этих делах, он доставил вчера госпоже хозяйке такие неприятности, этого, безусловно, больше не повторится. И он поклонился, собираясь идти. Хозяйка смотрела на него так, словно она о чем-то мечтала, и этот взгляд удерживал К. дольше, чем он хотел. Вдобавок она еще слегка усмехнулась, и только удивление на лице К. заставило ее в некотором роде проснуться; казалось, она ждала какого-то ответа на свою усмешку и только теперь, когда его не последовало, очнулась.

— Вчера ты, кажется, имел дерзость сказать что-то о моем платье.

К. не помнил.

— Ты не помнишь? Значит, дерзость у нас потом оборачивается трусостью.

К. извинился, сославшись на свою вчерашнюю усталость, очень может быть, что вчера он что-то и наплел, во всяком случае, вспомнить он уже не может. Да и что он там мог сказать о платье госпожи хозяйки? Что оно такое красивое, каких он еще никогда не видел. Но крайней мере, он еще не видел, чтобы хозяйки в таких платьях работали.

— Замолчи! — быстро сказала хозяйка. — Я не желаю больше слышать от тебя ни слова о платьях. Не твое дело рассуждать о моих платьях. Я запрещаю тебе это раз и навсегда.

К. еще раз поклонился и пошел к двери.

— И что это вообще должно означать, — крикнула хозяйка ему вслед, — что ты еще не видел, чтобы в таких платьях хозяйки работали? Что это за бессмысленное замечание? Это же совершенно бессмысленно. Что ты хочешь этим сказать?

К. повернулся и попросил хозяйку не волноваться. Разумеется, замечание бессмысленное. Он же вообще ничего не смыслит в платьях. Ему в его положении всякое незалатанное и чистое платье уже кажется дорогим. Он просто удивился,

когда госпожа хозяйка появилась там в коридоре ночью, среди всех этих полуодетых мужчин в таком красивом вечернем платье, больше ничего.

— Ну, — сказала хозяйка, — кажется, ты наконец вспомнил свое вчерашнее замечание. И дополнил его новой глупостью. Что ты ничего не смыслишь в платьях, это верно. А раз так, то прекрати — я тебя серьезно об этом прошу — прекрати высказывать свои суждения о том, какие платья — дорогие, какие — неуместные, вечерние и тому подобное… И вообще, — при этих словах она словно бы вздрогнула от холода, — тебе нет никакого дела до моих платьев, слышишь?

К. снова хотел молча повернуться, и она спросила:

— Откуда только ты взял свои познания о платьях?

К. пожал плечами, у него не было познаний.

— У тебя их нет, — сказала хозяйка. — Так нечего и делать вид, что есть. Идем сейчас в контору, я тебе там кое-что покажу, тогда, я надеюсь, ты оставишь свои дерзости навсегда.

Она пошла вперед и скрылась за дверью; Пепи кинулась к К. якобы для того, чтобы получить деньги по счету; они быстро договорились, это было очень легко, поскольку К. знал тот двор,

ворота из которого вели на боковую улицу; возле ворот была маленькая дверка — за ней примерно через час будет стоять Пепи и на троекратный стук ее откроет.

Хозяйская контора помещалась напротив пивной, нужно было только пересечь коридор; хозяйка уже была в конторе, зажгла свет и с нетерпением ждала К. Но возникла новая помеха: в коридоре ждал Герштеккер, ему надо было о чем-то поговорить с К. Отвязаться от него было нелегко, даже хозяйка пришла К. на помощь и сделала Герштеккеру внушение за его назойливость. Дверь уже была закрыта, а из коридора все еще доносились возгласы Герштеккера:

— Куда же? Куда же? — и слова противно смешивались со вздохами и кашлем.

Маленькая комната была чересчур жарко натоплена; вдоль ее коротких стен помещались конторка и железная касса, вдоль длинных стояли большой ящик и оттоманка. Больше всего места занимал ящик: он не только загораживал всю длинную стену, но еще из-за своей глубины очень суживал комнату; чтобы полностью его открыть, нужно было отодвинуть три сдвижные дверцы. Хозяйка жестом предложила К. сесть на оттоманку, а сама уселась на вертящееся кресло

у конторки.

— Ты — что, когда-то учился на портного? — спросила хозяйка.

— Нет, никогда, — ответил К.

— Ну а кто ты, собственно, такой?

— Землемер.

— Ну и что это такое?

К. разъяснил, его разъяснение нагнало на хозяйку зевоту.

— Ты не говоришь правду. Ну почему ты не говоришь правду?

— Ты тоже не говоришь.

— Я? Ты, кажется, опять начинаешь дерзить? А если и не говорю, разве я должна перед тобой отчитываться? И где это я не говорю правду?

— Ты не только хозяйка, как ты это изображаешь.

— Скажите на милость! Сплошные открытия! Ну кто же я еще? Но твои дерзости поистине уже переходят всякие границы.

— Я не знаю, кто ты еще, я только вижу, что ты — хозяйка, но при этом носишь платья, которые хозяйке не подходят, и к тому же — такие, каких никто больше, насколько я знаю, здесь в деревне не носит.

— Ну наконец дошли до главного. Ты же не

способен промолчать, ты, может быть, даже не дерзкий, просто ты — как ребенок, который знает какую-то глупость и ничто не может его заставить о ней промолчать. Ну говори уже! Что это такое особенное в моих платьях?

— Ты будешь сердиться, если я это скажу.

— Нет, я буду над этим смеяться, потому что это все равно будет детский лепет. Ну так что — эти платья?

— Тебе хочется знать. Ну, они из хорошего материала, просто дорогого, но — старомодные, перегружены отделкой, не раз перешиты, поношены и не соответствуют ни твоим годам, ни твоей фигуре, ни твоему положению. Мне это бросилось в глаза сразу, как только я тебя в первый раз увидел, это было с неделю назад здесь, в коридоре.

— Ну слава богу, дожили! Старомодные, перегруженные и что там еще? И где ты только всему этому научился?

— Я это и так вижу, для этого обучения не требуется.

— Ты это видишь — и все. Тебе не надо ни у кого спрашивать, ты и так знаешь, чего требует мода. Тогда мне без тебя будет просто не обойтись, потому что красивые платья, что ни говори, — моя

слабость. А что ты скажешь на то, что у меня весь этот шкаф наполнен платьями?

Она рывком сдвинула дверцы в сторону, там вплотную друг к другу, заполняя всю ширину и глубину шкафа, висели платья, в основном темные, серые, коричневые, черные; все были тщательно развешаны и расправлены.

— Вот мои платья, все — старомодные и перегруженные, как ты считаешь. Но это только те платья, для которых у меня не хватило места наверху, в моей комнате, там у меня еще два полных шкафа; два шкафа, каждый почти такого же размера, как этот. Удивлен?

— Нет, я ожидал чего-то в этом роде, я же говорил, что ты не только хозяйка, ты метишь на что-то другое.

— Я мечу только на то, чтобы красиво одеваться, а ты или дурак, или ребенок, или очень злобный, опасный человек. Убирайся, ну, убирайся, я тебе говорю!

К. был уже в коридоре, и Герштеккер уже снова держал его за рукав, когда хозяйка крикнула ему вслед:

— Завтра я получаю новое платье, — возможно, я за тобой пришлю.

Герштеккер сердито замахал рукой, словно

хотел издали заставить умолкнуть мешавшую ему хозяйку, и предложил К. пойти с ним. Объясниться подробнее он пока что не хотел, на слова К. о том, что ему надо теперь идти в школу, внимания почти не обратил. Только когда К. начал сопротивляться и его стало труднее тащить, Герштеккер сказал, что К. нечего беспокоиться, он получит у него все, что ему нужно, и от места школьного сторожа он может отказаться, и, в конце концов, что же он не идет, ведь он ждет его тут целый день, и его мать даже не знает, где он. Слегка поддаваясь, К. спросил, за что тот хочет дать ему жилье и стол. Герштеккер скороговоркой ответил, что К. будет помогать ему ходить за лошадьми, ему нужен помощник, у него самого сейчас другие дела, но теперь пусть К. не упирается так и не создает ему ненужных трудностей. Если он хочет, чтобы ему платили, он и платить ему будет. Но тут К. встал окончательно, и с места его было не сдвинуть. Он же ничего не смыслит в лошадях. Да и не нужно этого, нетерпеливо сказал Герштеккер и от досады сложил руки, словно умоляя К. пойти с ним.

— Я знаю, почему ты хочешь взять меня с собой, — сказал наконец К.

Герштеккеру было все равно, что там К. знает.

— Потому что ты думаешь, что я могу чего-то добиться для тебя у Эрлангера.

— Конечно, — сказал Герштеккер, — иначе на что бы ты мне сдался?

Рассмеявшись, К. позволил Герштеккеру взять себя под руку и увести в темноту.

Хижину Герштеккера тускло освещали только огонь в очаге и огарок свечки, стоявший в стенной нише; возле свечки кто-то сидел, пригнувшись под косо выступающими стропилами кровли, и читал книгу. Это была мать Герштеккера. Она протянула К. дрожащую руку и пригласила его сесть рядом; говорила она с трудом и трудно было ее понять, но то, что она сказала — — —

1921–1922